Дом

Художественная литература 2026

Дом

Часть первая

Глава первая

1

Пес лежал в воротах сарая – передние лапы вытянуты, уши торчком и глаза – угли раскаленные: так и сверлят, так и буравят баранью тушку, над которой в глубине сарая хлопотал хозяин. Спина и шея у Михаила взмокли: нет ничего хуже обдирать сопревшее межножье да седловину. Кожа тут прикипела намертво, каждый сантиметр прорезать надо. А кроме того, мухи, оводы окаянные – поедом едят, глаза слепят. Зато уж когда все это прошел да миновал подбрюшье – одно удовольствие: нож в балку над головой и давай-давай орудовать одними руками…

Снятую, вывернутую наизнанку овчину – ни единого пореза, блеск работа он собрал в большой, расползающийся под руками ком, отложил в сторону, затем, неторопливо повертывая подвешенного на распялке барана, хозяйским, оценивающим взглядом обвел его тугие, белые от сала бока.

– А барька-то ничего, а?

Не жена ответила – пес клацнул голодными зубами. Он вырубил хвост, не глядя бросил Лыску и опять залюбовался забитой животиной.

– Баран-то, говорю, подходящий. Чуешь?

– До осени подождал бы, еще подходящей был.

– До осени! Может, еще до зимы, скажешь?

– Да как! Кто это под нож скотину в такую жару пущает?

– А братья приедут, чего на стол подашь? Банки?

Закипая злостью, Михаил одним взмахом ножа – сверху донизу – распустил брюшину. Горячие, дымящиеся внутренности лавой хлынули на свежую, вновь подостланную солому.

– Воды!

За стеной тяжело, всей коровьей утробой вздохнула Звездоня – замаялась, бедная, от жары, – взвизгнул нетерпеливо Лыско. А хозяйка, его помощница? Михаил круто повел потной головой и вдруг размяк, разъехался в улыбке: белые подколенки жены, склонившейся над ведром, увидел. Загоревшийся глаз сам собою зашарил по затемненным закрайкам сарая и уперся в дальний угол, заваленный травой. Травка мяконькая, свеженькая – час какой назад в огороде накосил…

– Куда лить-то? Чего молчишь?

– Погоди маленько… Перекур надо…

– Перекур? Это барана-то с перекуром резать?

– А чего? Передохнуть завсегда полезно… – Михаил хохотнул и остальное досказал взглядом.

Раиса попятилась к двери, за которой томилась корова, с неподдельным ужасом замахала обеими руками:

– Ты в эту Москву съездил… рехнулся…

– Дура пекашинская! С тобой и пошутить нельзя!

Михаил забегал, заметался по сараю, наткнулся на пса и со всего маху закатил пинок: не лезь на глаза, когда не просят!

2

Круто забирал июль.

Мясо, пока рубил да солил, кое-где прихватило жаром. Но еще больше удивил Михаила погреб. Весной снег набивал – ступой толок да утрамбовывал, и вот за какой-то месяц сел на добрый метр, так что, когда он стал опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку.

На улице Михаил разделся до пояса, с наслаждением поплескался водой из ушата (не нагрелась еще, в тени стояла), затем, войдя в кухню, переоделся. Рабочие парусиновые штаны, измазанные свежей кровью, вынес в кладовку и, натягивая на себя домашние брючонки, легкие, вьетнамского подела, довольно улыбнулся: месяца не гулял в столице, а поправился – насилу застегнул верхнюю пуговицу.

Дрова в печи уже прогорели, малиновые отсветы полыхали в окне напротив, но где хозяйка? Собирается она варить-печь? Для мух выставила на стол печень и почки?

Михаил заглянул на одну половину – на всю катушку радио, заглянул на другую – и у него дыбом встала бровь: Раиса давила кровать.

– Это еще что за новая мода – с утра на вылежке?

Взвыли, стоном простонали пружины – Раиса рывком отвернулась к стене: разговаривать с тобой не хочу. Он не стал больше сорить словами. Подошел, сгреб жену за кофту на груди, повернул к себе. лицом. Холодом, стужей крещенской дохнуло на него от серых немигающих глаз. А ведь было время лето жило в этих глазах. Круглый год, всю зиму. И, помнится, покойный Федор Капитонович, провожая их в день свадьбы, так и сказал: "Не дочерь – лето ты уводишь из моего дома".

Нелады у них, конечно, бывали и раньше – как всю жизнь проживешь гладко? – но чтобы сиверко задул на месяцы – нет, этого еще не бывало. Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная. Из-за Варвары, а точнее сказать, из-за столбика, который он поставил весной на ее могиле. Забыта могила. Дунярка, Варварина наследница, каждое лето приезжает в Пекашино, по два, по три месяца живет в теткином доме со своим выводком (девятерых отгрохала, рекорд по сельсовету держит), а чтобы осиротевшую могилу кое-как оприютить – нет, подожди, тетушка, поважнее дела есть. И вот он ждал-ждал, когда племянница о покойнице вспомнит (самый захудалый столбик на всем кладбище), да и не выдержал: весной, когда Раиса как-то уехала в район в больницу, и поставил пирамидку. Узнала. Кто-то брякнул из дорогих землячков.

– Мясо-то, говорю, само в печь залезет, але соседей позвать?

– Отстань! Видеть не могу я это мясо, а не то что варить.

– Больно заелась, вот что. Старики-то не зря, видно, посты ране устраивали.

Раиса – не сразу – сказала:

– Может, мне в больницу, в район съездить?

– Тебе в больницу? Зачем?

– Зачем, зачем… Зачем бабы в больницу ездят…

Какое-то время он озадаченно, выпучив глаза, смотрел на раздобревшую, вошедшую в полную бабью силу жену – какая еще ей больница? – и вдруг все понял.

– Дак это ты… – Дух захватило у него от радости. – Давай, давай! Солдаты надоть. За мир будем бороться.

– Весело, ох как весело! Только зубы и скалить. Девки обе невесты, а матерь с брюшиной переваливается. Что о нас подумают?

– А это уж ихнее дело! Пущай что хотят, то и думают, – отчета давать не собираюсь. Сказано тебе было: до тех пор рожать будешь, покамест парня не родишь. И нечего бочку взад-вперед перекатывать.

Больше Раиса не перечила. Но, вставая с кровати, все-таки кусанула:

– Парни-то ноне тоже не золото. Не дай Бог как ваш Федор, по тюрьмам смалу пошел.

– Ладно! Хозяйка! Гости приедут, а у тебя и на стол подать нечего.

– Што, я ведь не спала, не гуляла. Рабочий человек…

И это камешек в его огород. Тебе ли, мол, укорять меня? Целый месяц по городам шатался, бездельничал, а я-то всю жизнь без передышки на маслозаводе ломлю. И где-то в глубине души признавая правоту жены, Михаил примирительно сказал:

– Гостей, думаю, звать не будем. Разве что Калину Ивановича… – Он помолчал немного, хрустнул пальцами. – А с той как будем? Сразу сказать але как?

– Папа, папа, автобус не в час, а в два будет! – В спальню, вся запыхавшись, влетела Анка, худущая, длинноногая и зеленые глаза навыкате, как у козы.

– Ты бы не автобус караулила, а за землянкой сбегала. Чем людей-то угощать будешь?

– Сбегаю. А тебе в контору велели.

– Кто? Управляющий?

– Ага. Пущай, говорит, отец сейчас же идет, к сену ехать надо.

– К сену… Он, поди, опять хочет запереть меня на Верхнюю Синельгу. Дудки! Я тридцать лет

комаров кормил на этой Верхней Синельге, а теперь пущай другие покормят.

Михаил перевел взгляд на Раису расчесывавшую волосы перед зеркалом.

Как в чащобу, как в бурелом вламывалась гребнем – треск стоял в комнате, вот какая грива у сорокалетней бабы!

Расчесала, завила в тугой узел на затылке, накрепко зашпилила.

Тут у ей сидит главная-то злость, гроза-то подумал Михаил и спросил:

– Дак как, говорю, будем с той? Чего удила закусила? Сестра ведь первый спрос у братьев об ней будет.

Раиса – дурь нашла – так и вышла из спальни не сказав ни слова.

3

До прихода почтового автобуса оставалось часа полтора, не меньше, и что было делать, за что взяться? Расколоть дрова, напиленные еще до поездки в Москву, отметать навоз у коровы, грабли, косы достать с подволоки да хоть пыль с них стереть, обручи на рассохшейся кадке набить… Уйма всяких дел скопилась по дому!

Михаил отправился под угор, на свой покос. Вот о чем надо было позаботиться в первую очередь. С кормами в совхозе, как и раньше, в колхозное время, было туговато. Прошка-ветеринар каждую весну строчил акты об авитаминозе с летальным исходом (в Пекашине все знали эти мудреные слова), и вот те совхозники, у кого еще водились коровенки и овцы, добрую половину своих приусадебных участков засевали горохом, викой и овсом, а то и просто запускали под траву.

Целый месяц Михаил не был на своем пряслинском угоре (так ныне зовут угор против его нового дома) и как вышел к амбару да глянул перед собой так и забыл про все на свете. Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу (первый раз в жизни не видел, как одевалось подгорье зеленью), а за лугом поля, Пинега, играющая мелкой серебристой рябью, а за Пинегой прибрежный песок-желтяк, белые развалины монастыря, красная щелья и леса, леса – синие, бескрайние, до самого неба…

В Москве чего только он не видел, куда только его не таскала Татьяна: и на выставку народного хозяйства, и в Кремль, и даже в Большой театр, куда и иностранцам-то не всегда ход есть, а нет, все не то, все ерунда по сравнению с этой вот доморощенной красотой, с этой ширью да с этими просторами.

И он снова и снова делал заход глазами, жадно ловил, вдыхал травяной ветер, а потом не выдержал и безрассудно, как молодой конь, со всех ног ринулся под угор. А под угором он отбросил в сторону топор и – хрен с вами, дивитесь, люди! – начал кататься по траве.

И еще одно мальчишество: не дорогой, не тропинкой пошел, а лугом, целиной – пускай потом косарь клянет все на свете. Шел, срывал на ходу борщевки, грыз их сладкие стебли и ногами, коленями переговаривался с разомлевшими на солнце травами…

Под полоем, возле сельповского склада, кто-то косил на лошадях – так и вспыхивала на солнце белая голова.

Это Михаила немало удивило. Почему на лошадях? Почему не на тракторе? Слава Богу, хватает нынче железа в деревне. А кроме того, что за болван этот косильщик? Есть у него хоть одна извилина в башке? В самую жару на самое пекло вылез – неужели нельзя сообразить, что лошадям сейчас легче под горой, возле озерины? Нет, будь у него время, он бы не поленился – растолковал этому сукину сыну сенную политграмоту!

Травяное поле у Михаила было на старых капустниках, напротив его старого дома, и он еще издали увидел: хорошо уродился горох. Ни одной проплешины, ни одной прели.

Изгородь – от совхозных коней, – как он вскоре убедился, обоняя вокруг поле, тоже неплохо сохранилась. Нужно было заменить лишь кое-где подгнившие колья.

За делом, за работой, по которой он порядком истосковался в Москве, Михаил и не заметил, как подъехал косильщик. Увидел, когда тот его окликнул.

– Дядя Миша, задымить е?

– Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Племянничек выискался!

Но черта с два смутишь Борьку! Сверкнул на солнце белыми жерновами – не рот, а целая мельница, вывернул:

– А чего? Сам же в позапрошлом годе сказал: зови дядей Мишей. Не помнишь, на Октябрьской супротив школы пьяный встретился?

Михаил не помнил. Но, может, и говорил. Находила на него иной раз блажь – комок к горлу подступал, когда встречал Егоршина отпрыска: вроде и ничего общего с отцом – коренастый, весь как веревка, как узловатая сосна, свит из мускулов, глаза круглые, рысьи, – но ему вдруг приходил на память Егорша, ихняя дружба-товарищество, и срывались, срывались с губ непрошеные слова. Но это случалось с ним редко, только в пьяную минуту, а в обычное время он видеть не мог это отродье. Потому что как забыть? Не успел откочевать в том памятном пятидесятом году Егорша из района, как начала пухнуть Нюрка Яковлева, а потом – нате – получайте Бориса Егоровича, новоиспеченного братца Васи.

Борька подошел развалистой походочкой, с ухмылкой, закурил – как откажешь? – но когда, выпустив дым изо рта, чисто по-отцовски цыкнул слюной сквозь зубы, Михаил заорал как под ножом:

– Ты в городу вырос, что ли? Какого дьявола мучишь лошадей? Вишь ведь, они все в мыле!

Борька с показным интересом посмотрел на луг, пожал плечами – вроде как не понял, о чем речь, – и тогда Михаил уже совсем вышел из себя:

– Я говорю, есть, нет у тебя башка на плечах? Почему в такое пекло не от горы косишь? Не видал, как люди делают?

– Да будет тебе разоряться-то! Теперека не старые времена всем-то командовать.

– Что?

– Не демократия, говорю, колхозьска, – без малейшей задержки выпалил Борька. Знал, гад, как отец, знал нужные слова и, как отец, умел сказать их к месту. – Есть у нас начальников-то. Немало. Деньги за это получают.

– А раз начальник не видит – делай что хочу?

Борька примирительно ухмыльнулся:

– Да хватит, говорю, честных-то тружников калить. Этих одров, – он кивнул на блестевших на солнце запаренных лошадей, – все равно осенью на колбасу погонят. Ты бы чем подрастающему поколению разгон давать, сестре своей приструнку дал.

– Это какую же приструнку? Насчет дома? – Михаил слышал от людей: подала Борькина мать заявление в сельсовет – требует своей доли в ставровском доме.

– А чего? Я сын родной, а какие ейные права? Она теперека сбоку припека…

У Михаила заходили глаза, запрыгали губы – какими бы поувесистее словами оглушить этого гаденыша, чтобы у него раз и навсегда отбить охоту заводить разговор насчет ставровского дома? И вдруг, глянув в сторону своего дома, увидел на угоре двух мужиков с вьющейся вокруг них, как белый мотылек, Анкой. Братья, братья приехали! Петр и Григорий…

И тогда все разом вылетело из головы: и ставровский дом, и изгородь, и Борька, – и он со всех ног бросился навстречу уже сбегавшим с угора своим дорогим двойнятам.

Глава вторая

1

– Так, так, браташи! Собрались, значит, к брату-колхознику? Нет, ребята, теперь не к колхознику надо говорить. К совхознику. Кончилась колхозная жистянка… Долгонько, долгонько собирались. Когда в последний раз виделись? Семь лет назад, когда матерь хоронили? Так?

– Так.

– Да, – вздохнул Михаил, – не пришлось покойнице пожить в новом доме. И вслед за тем горделивым взглядом обвел горницу, или гостиную, как сказали бы в городе.

Все новенькое, все блестит: сервант полированный с золотыми рифлеными скобками, полнехонький всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на окнах, ковер с красными розами во всю стену – подарок Раисе от Татьяны… В общем, обстановочка – в городе не у каждого. И он подивился, покосившись на братьев. Пестрые застиранные ковбоечки, в каких у них на работу ходят, парусиновые туфельки… А насчет барахлишка и подавно говорить нечего. С рюкзачками, с котомочками заявились. Да у них сейчас в Пекашине самая распоследняя сопля без чемодана шагу не ступит!

– Давай, – Михаил поднял стопку, – со свиданьицем! – И предупредил, с подмигом кивая на стол: – Это мы так покудова, для разминки, как говорится, а основное-то у нас вечером будет…

Петр выпил – всю, до дна стопку осушил, – а Григорий только виновато улыбнулся.

– Ну нет, так у нас не пойдет. Да ты откуда такой взялся? К старшему брату в гости приехал але в монастырь?

– Ему нельзя, – сказал Петр.

– Знаю. А у него у самого-то язык есть?

И опять ни слова, опять кроткая, виноватая улыбка обмыла льняное лицо Григория.

А в общем-то, с Григорием ясно. Все такой же двойняшка. Худущий, насквозь просвечивает. Просто святой какой-то, хоть на божницу ставь вполне за икону сойдет.

А вот Петр… К Петру не знаешь как и подобраться, за что уцепиться. Как речной камень-голыш, который со всех сторон водой обточило. Или это все оттого, что бороду отпустил? Бородка аккуратненькая, с рыжим подпалом, как у царя Николашки, которого в семнадцатом году сковырнули. Татьянин муж деньги старые собирает, так он, Михаил, насмотрелся на этого бывшего царя.

– Ты это бородой-то обзавелся, чтобы от брата отгородиться? по-доброму пошутил Михаил. – Ну правильно. А то ведь, бывало, не то что чужие, я, родной брат, не каждый раз угадаю, кто из вас Петька, кто Гришка. Ей-богу!

– А я сразу угадала, который дядя Гриша, – сказала Анка.

– Как?

– Тетя Лиза сказывала.

Михаил не стал уточнять у дочери, что сказывала тетя Лиза. С него довольно и того, что произошло с братьями при одном упоминании имени сестры. Оба вдруг ожили, оба вдруг глазами в него. И было, было у него искушение рубануть со всего плеча, ведь все равно придется говорить, но вместо этого он закричал на весь дом:

– Эй ты там! Уснула?

И тут с кухни наконец пожаловала Раиса, прямая, статная, и принарядилась – уважила гостей. Но голову от миски с мясом отвернула видно, и в самом деле понесла.

Михаил, довольный, заржал.

– Предлагаю выпить за будущего солдата!

– За кого? За солдата? – переспросил Петр.

– Чуваки! У нас со старухой на эту пятилетку твердое задание наследника!

– Не плети чего не надо! При ком язык-то распускаешь?

Михаил смущенно крякнул, поглядел на младшую дочь, пристроившуюся возле дяди Гриши, сразу, с первой минуты к нему присосалась, дал команду – на улицу.

Когда закрылась за Анкой дверь, притворно вздохнул:

– Вот так и живем, браташи. Совсем заездила супружница.

– Тебя заездишь! Ты в эту Москву слетал – совсем ошалел.

– Да, ребята, слетал. Повидал белый свет! – Михаил встал, принес из спальни увесистый альбом в дорогих бархатных корках, с золочеными буквами, трахнул по столу. – Вот мое пребывание в

столице нашей родины. Татьяна тут все моменты зафотографировала.

Карточек было много. Михаил с сестрой, Михаил с зятем, Михаил со сватом, то есть со свекром Татьяны… Само собой, был увековечен Михаил в пестрой толпе и у ленинского Мавзолея с двумя замершими у дверей часовыми-гвардейцами, и возле знаменитых фонтанов на выставке, и возле царь-пушки.

– Да, ребята, золотой билет вытащила наша Татьяна. Я три недели у ей пожил – ну, скажу, в коммунизме побрал. Ей-богу. Без пивка да без водочки за стол не саживался. Дача двухэтажная, квартира пять комнат, машина, прислуга… Помните, как, бывало, Татьяна Ивановна зимой за хлев босиком бегала вместе с вами? А теперь – подай, поднеси. Да на блюдечке… В газетах-то читаете? "Высоких гостей на Внуковском аэродроме встречали товарищи… маршалы, а также деятели культуры и другие представители общественности столицы…" Ну дак в этих "других представителях" и наша Татьяна. Два раза при мне на этот Внуковский аэродром каталась. Со свекром.

– Со свекром? – удивилась Раиса. – Пошто со свекром-то? Разве мужика у ей нету?

Михаил насмешливо постучал кулаком по столу.

– Темнота пекашинская! Мужик-от у ей есть, и мужик – душа-человек, видела ведь, чего спрашиваешь? Да на этот аэродром не за душу пускают. Говорю, Борис Павлович, свекор ейный, шишка большая, всема каменными памятниками заправляет, а ему положено с супругой. Ну а он как человек вдовый Татьяну за собой волокет. Дошло теперь?

– Я не знаю, что за такой муж, – не унималась Раиса, – жену одну отпущает…

– Да не одну, с отцом! Чем слушаешь-то? Хороший старикан. Меня все кумом называл. "Ну как, кум, твердо решил: никуда не годится шампань?" Подшучивал, сам только шампанское примает. А у меня дак с этой шампани брюхо, ребята, пучит, пьешь-пьешь его – все без толку. Да я и клоповник этот, коньяк, не больно уважаю. Я пивко да водочку лучше всего. А муж у Татьяны, тот только шипучую водичку. Ни грамма спиртного. – Михаил покачал головой. – Вот человек для меня загадка! Не видали его? Хрен его знает, как вам сказать… Сказать чтобы больно умен, ума палата… Летом, видали, по деревням ездят-шныряют – прялки, ложки, туеса, всякое старье собирают? Дак он из тех самых старьевщиков… Иконы особенно уважает.

– И что он с этими иконами делат? – спросила Раиса. – Молится?

– Ну, он молится-то, положим, на другие иконы. Представляете, – Михаил игриво подмигнул братьям, – на каждой стене Татьяна. И в нарядах и без нарядов. По-всякому… В умывальнике, и в том Татьяна… На белом кафеле эдакая картиночка…

– Ну, хорошему, хорошему научит племянниц тетушка.

– А не возражаю. Хорошо бы хоть одна пошла в тетушку. Вера и Лариса у меня ведь в Москву уехали, – пояснил Михаил братьям. – Отец из Москвы, а дочери в Москву. Вот так ноне у Пряслиных.

Хоть какое бы впечатление! Хоть бы один вопрос! Как там Татьяна? Что? Девка, прямо скажем, на небо залезла. Гордиться такой сестрой надо, Бога молить за нее. А брат ихний почти целый месяц в Москве выжил – это как? Тоже неинтересно? Правда, с одной стороны, такое безмолвие близнят льстило ему. Года годами, образование образованием, а не забывайся, кто говорит. Брат отец. А с другой стороны, где они сидят? На встретинах или на бывалошном

колхозном собрании, на котором районные уполномоченные выколачивают дополнительные налоги или заем? Да, там боялись рот раскрыть, потому что, что бы ты ни сказал – против, за, – все худо, за все взыск: либо от начальства, либо от своего брата-колхозника…

А-а, догадался вдруг Михаил, дак это вот что у них на уме… И больше уж не церемонился. Стиснул челюсти, процедил сквозь зубы:

– Сестры, о которой вы тут про себя вздыхаете, у меня больше нету. Скоро два года как к дому своему близко не подпускаю.

Григорий зажмурился – с детства от всех страхов закрытыми глазами спасался, – а у Петра будто лоб распахали – такими морщинами пошла кожа.

– Да разве вам она не писала? – спросил донельзя удивленный Михаил.

– Ну и ну, вот это терпенье, – по-бабьи запричитала Раиса. – Тут не то что люди – кусты-то все придивились.

– В общем, так. – Михаил налил водки в стакан с краями вровень, залпом выпил. – Вася потонул четырнадцатого октября, а пятнадцатого февраля помирать стану, не забуду этот день: "Михаил, у тебя сестра с брюхом…" Понимаете?

– Беда, беда! – снова запричитала Раиса. – Как Пекашино на свете стоит, такого сраму не бывало. Кошка и та, когда котят порушат, сколько времени ходит, стонет, места прибрать не может, а тут одной рукой гроб с сыном в могилу опускаю, а другой за мужика имаюсь…

По худому, нездоровому лицу Григория текли слезы, Петр закаменел только борода на щеках вздрагивает, – а на самого Михаила такая вдруг тоска навалилась, что хоть вой. Застолье не ладилось. Сидели, молчали, как на похоронах. Будто и не братья родные после долгой разлуки встретились. И Раиса тоже в рот воды набрала. В другой раз треск – уши затыкай, а тут глаза округлила – столбняк нашел.

Наконец Михаила осенило:

– А знаете что? Дом-то мы новый еще ведь и не посмотрели! Ну и ну, ну и ну! Сидим, всякую муть разводим, а про само-то главное и позабыли.

2

Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню. Причем что удивительно! На зады, на пески, к болоту все качнулись: там вода рядом, там промышленность вся пекашинская – пилорама, мельница, машинный парк, мастерские. Смотришь, скорее что-нибудь перепадет. Ну а Михаил плюнул на все эти расчеты – на пустырь, на самый угор, против Петра Житова выпер.

Зимой, правда, когда снеги да метели, до полудня иной раз откапываешься, да зато весной – красота. Пинега в разливе, белый монастырь за рекой, пароходы двинские, как лебеди, из-за мыса выплывают… А что это за праздник, когда птица перелетная через тебя валом валит! Домой уходить не хочется. Так бы, кажись, и стоял всю ночь с задранной кверху головой…

Григорий – чистый ребенок, – едва спустились с крыльца, ульнул глазами в скворешню – как раз в это время какой-то оживленный разговор у родителей начался: не то выясняли, как воспитывать детей, не то была какая-то семейная размолвка.

Благодушно настроенный Михаил не стал, однако, выговаривать брату дескать, брось ты эту ерундовину, – он сам любил говорливых скворчишек, а только легонько похлопал того по плечу: потом, потом птички. Найдется кое-что и позанятнее их.

Осмотр дома начали с хозяйственных пристроек, а точнее сказать – с комбината бытового обслуживания. Все под одной крышей: погреб, мастерская, баня.

Петр Житов такое придумал. От него – кто с руками – переняли. В погребе задерживаться не стали – чего тут интересного? Только разве что стены еще свежие, не успели потемнеть, смолкой кое-где посверкивает, а все остальное известно: кастрюли, ведра, кадки, капканы на деревянных крюках, сетки…

Другое дело – мастерская. Вот тут было на что подивиться. Инструмента всякого – столярного, плотницкого, кузнечного – навалом. Одних стамесок целый взвод. Во фрунт, навытяжку, как солдаты стальные, выстроились во всю переднюю стенку. Да и все остальное – долота, сверла, напарьи, фуганки, рубанки – все было в блеске. Михаил любил инструмент, с ранних лет, как стал за хозяина, начал собирать. И в Москве, например, в какой магазин с Татьяной ни зайдут, первым делом: а где тут железо рабочее?

Петра заинтересовал старенький, с деревянной колодкой рубанок.

– Что, узнал?

– Да вроде знакомый.

– Вроде… Степана Андреяновича заведенье. Тут много кое-чего от старика. Ладно, – Михаил пренебрежительно махнул рукой, – все эти рубанки-фуганки ерунда. Сейчас этим не удивишь. А вот я вам одну штуковину покажу – это да!

Он взял со столярного верстака увесистую ржавую железяку с отверстием, покачал на ладони.

– Ну-ко давай, инженера. Что это за зверь? По вашей части.

Петр снисходительно пожал плечами: чего, мол, морочить голову? Металлом! И Григорий в ту же дуду.

– Эх вы, чуваки, чуваки!.. Металлом. Да этот металлом – всю Пинегу перерыть – днем с огнем не сыщешь. Топор. Первостатейный. Литой, не кованый. Вот какой это металлом. Одна тысяча девятьсот шестого года рождения. Смотрите, клеймо квадратное и двуглавый орел. При царе при Николашке делан. А заточен-то как – видите? С одной стороны. Как стамеска. Вот погодите, топорище сделаю да ржавчину отдеру – вся деревня ко мне посыплет. А в руки-то он как ко мне попал, знаете? Охо-хо! У Татьяниной приятельницы подобрал. Орехи грецкие колотит. Это на таком-то золоте!

Тут Михаил на всякий случай выглянул за двери, нет ли поблизости жены, и заулюлюкал:

– Ну, я вам скажу, популярность у Пряслина в столице была! У Иосифа да у Татьяны друзья все художники, скульптора… Ну, которые статуи делают. И вот все: я хочу нарисовать, я хочу человека труда, рабочего да колхозника, чтобы по самому высокому разряду… А одна лахудра, – Михаил захохотал во всю свою зубастую пасть, – на ногу мою обзарилась. Ей-богу! Вот надоть ей моя нога, да и все. Ступня, лапа по-нашему, какой-то там подъем-взъем. Дескать, всю жизнь такую ногу ищу, не могу найти. Понимаете? "Да сходи ты к ей, – говорит Татьяна, – она ведь теперь спать не будет из-за твоей ноги. Все они чокнутые…" Ладно, поехали в один

распрекрасный день. Хрен с вами, все равно делать нечего. Татьяна повезла в своей машинке. Заходим – тоже мастерская называется: статуев этих – навалом. Головы, груди бабьи, шкилет… Это у их первое дело – шкилет, ну как болванка вроде, чтобы сверку делать, когда кого лепишь. Ладно. Попили кофею, коньячку выпили – вкусно, шкилет тебе из угла своими зубками белыми улыбается… Татьяна на уход, а мы за дело. Я туфлю это сымаю, ногу достаю, раз она без ей жить не может, штанину до колена закатываю, а она: нет, нет, пожалуйста, чистую натуру. Как чистую? Да я разве грязный? Кажинный день три раза купаюсь на даче у Татьяны, под душем брызгаюсь – куда еще чище? А оказывается, чистая натура это сымай штаны да рубаху…

Михаил вовремя остановился, потому что разве с его двойнятами про такие вещи говорить? Хрен знет что за народ! За тридцать давно перевалило, а чуть начни немного про эту самую "чистую натуру" – и глаза на сторону…

3

В баню заходить не стали. Баню без веника разве оценишь? И в дровяник не заглядывали – тут техника недалеко шагнула: все тот же колун с расшлепанным обухом да чурбан сосновый, сук на суку. Прошли прямо к въездным воротам. Михаил уж сколько раз сегодня проходил мимо этих ворот, а вот подошел к ним сейчас, и опять душа на небе.

Чудо-ворота! Широкие, на два створа – на любой машине въезжай, столбы на века – из лиственницы, и цвет красный. Как Первомай, как Октябрьская революция. И вот все, кто ни едет, кто ни идет – чужие, свои, пекашинцы, все пялят глаза. Останавливаются. Потому что нет таких ворот ни у кого по всей Пинеге.

И Раиса, которая букой смотрела, когда он их ставил ("На что время тратишь?"), теперь прикусила язык.

– А в музыку-то мою поиграли? – Михаил с силой брякнул кованым кольцом у калитки сбоку и на какое-то мгновенье блаженно закрыл глаза: такой гремучий, такой чистый звон раскатился вокруг. – Это чтобы без доклада не входить. В городе в звонок звонят, а мы – хуже?

В это время еще одно кольцо забренькало – у соседей. Калина Иванович из дому вышел – с котомкой, с черным, продымленным чайником, а следом за ним сама.

– Знаете, нет, кто это? – быстрым шепотом спросил Михаил у братьев. Не знаете? Да это же Калина Иванович! Дунаев!

– Дунаев? Тот самый Дунаев?

– Да, да, тот самый!

– Это о котором статья-то нынешней зимой в "Правде Севера" была? – Петр все еще не мог поверить, чтобы такая знаменитость у брата под самым под боком жила.

– Статья!.. Одна, что ли, о нем статья была? Шутите: комиссар гражданской войны! Самого Ленина видал…

Котомка была явно не по старику – его качнуло, обнесло, и Михаил задорно крикнул Евдокии, обхватившей мужа:

– Держи, держи крепче! Чего ворон считаешь?

– Замолчи, к лешакам! Без тебя тошно.

– Видали, видали, какой голосок! Зря, думаете, Дунька-угар прозвали.

Михаил потащил братьев на соседнее подворье. Прямо через воротца в старой изгороди. С Евдокией – просто. Что ни ляпнул, что ни брякнул, и ладно. Все прошла, все вызнала, где ни бывала, кого и чего ни видала ничего не пристало, ничего не прилипло. Как была баба деревенская, такой и осталась. Даже одежду и ту на деревенский пошиб носила: сарафан, какой сейчас и на самой старорежимной старушонке не всегда увидишь, пояс узорчатый, домашнего плетенья, безрукава… Зато уж с Калиной Ивановичем будь начеку. Вроде бы старичонко, сушина наскрозь просушенная, вроде бы ветошь, как все в его возрасте, да вдруг так сказанет, такую породу выкажет – сразу по стойке «смирно» уши поставишь. И сейчас, когда Михаил все стариковские ранги братьям назвал, ему особенно хотелось показать, что он на равных с Калиной Ивановичем.

– Куда это навострил лыжи? – с ходу закричал он старику. – Не на Марьюшу?

– Да, имею такое намеренье.

– Погодь до завтра. Праздник сегодня. Посидели бы вечерком, у меня братья приехали.

Тут Калина Иванович полез за очками – худо видел, а охоч был до свежих людей.

Очки у Калины Ивановича были дешевенькие, железные, с ниточной окруткой над переносьем, но когда он их надел, сразу другой вид стал. Важность какая-то вроде появилась.

– Очень приятно, очень приятно, молодые люди. – И за руку с обоими.

– А раз приятно, дак оставайся до утра, – опять начал урезонивать старика Михаил. – Завтра вместе поедем.

Калина Иванович не очень решительно поглядел на жену.

У той фарами заполыхали синие глазища.

– Не поглядывай, не поглядывай! Какие нам праздники? Мы из Москвы чемоданами добро не возим.

– Во, во дает! – рассмеялся Михаил и подмигнул братьям.

– Не скаль, не скаль зубы-то! Вишь ведь разъехался! – Евдокия кивнула на усадьбу Михаила. – Не боишься, как раскулачат?

– Не раскулачат, – ловко, без всякой натуги отшутился Михаил. – Сейчас не старые времена – бедность не в почете. На изобилие курс взят. Я в Москве был – знаешь, как там живут? У нашей Татьяны, к примеру, в хозяйстве сто сорок голов лошадиное стадо.

– Плети! С коих это пор в городах лошадей стали разводить?

– Чего плети-то! Две машины – одна у свекра, другая у ей с мужем. Каждая по семьдесят кобыл. Считай, сколько будет.

Больше Евдокия не слушала. Стащила с мужа котомку, взяла у него из рук чайник, косу, обернутую в мешковину, и на дорогу – саженными шагами работящей крестьянки.

Калина Иванович еще хорохорился: дескать, надеюсь, молодые люди, увидимся, потолкуем, – а старыми-то руками уже шарил по стене возле крыльца – своего помощника искал.

Михаил подал старику легкий осиновый батожок – тот на сей раз стоял за кадкой с водой – и, провожая его задумчивым взглядом, сказал:

– Вот такая-то, ребята, жистянка. Сегодня мы верхом на ей, а завтра она на нас. Н-да…

4

Лысько развалился посреди заулка, или двора, как теперь больше говорят: ничего не вижу, ничего не слышу. Хоть все понесите из дому. И клочья линялой шерсти по всему заулку. Вот пошла собака! И надо бы, надо проучить подлюгу, двинуть разок как следует – не забывайся, да Михаил и так чувствовал себя виноватым перед псом: давеча в сарае налетел – расплачивайся пес за то, что хозяин с бабой совладать не может.

– Ну что будем делать-то? Снова за стол але экскурсию продолжим?

На Григория он не взглянул – давно понял, в чьих руках завод, но и Петр – где его предложенья?

– А не принять ли нам, ребята, душ изнутри, а? Шагайте в мастерскую, я моменталом.

Михаил сбегал на погреб, принес две холодненькие, запотелые бутылки московского пивка – специально для Калины Ивановича берег, – разлил по стаканам. Его дрожь сладкая пробрала, едва обмочил пересохшие губы в холодной резвой пене, а как Петр и Григорий? А Петр и Григорий, ему показалось, и не заметили, что пиво московское пьют.

– У меня это заведенье хитрое, ребята. – Он обвел хмельным глазом мастерскую. – Когда работаю, когда процедуры принимаю. Неясно выражаюсь? Чуваки! Население-то у меня какое? Женское. Ну и насчет там всякого матерхата не больно разойдешься. А здесь стены крепкие, кати – выдержат.

Михаил от души рассмеялся – ловко закрутил – и вдруг полез за койку, вытащил оттуда полено, плашку березовую.

– Ну-ко скажите – в институтах учились, – с чем это едят-кушают? Почему хозяин его берегет? Эх вы, инженера! Спальное полено. И это непонятно? А домто я как строил – вы подумали? Людей брал только на окладное да на верхние венцы, а тут все сам. Капиталов-то, сами знаете, у меня – не у Ротшильда. Да еще колхозная работа целый день. И вот по утрам топориком махал, до работы. А чтобы не проспать, полешко под голову. Так новый-то дом мы строили… Так…

Петр и Григорий на этот раз сделали одолжение – раздвинули губы. Но только губы. А где глаза? Видят они его своими глазами?

Не хотелось бы, вот так не хотелось бы вправлять мозги гостям, тем более в первый день, а с другой стороны, что это такое? Побасенки он им рассказывает?

– Между протчим, – начал чеканить Михаил и вдруг с остервенением сплюнул: двадцать лет нет Егорши в Пекашине, а ему все еще отрыгивается это его дурацкое словцо, да и многие другие, замечал он, выговаривают его, как Егорша.

В заулке лениво рявкнул пес – не иначе как Раиса пинком угостила. Точно: послышался плеск воды, ведро грязное опрокинула в помойку.

– Ладно, идите. Все равно с вами каши не сваришь, раз у вас в башке дорогая сестрица засела. Да у меня к восьми как из пушки. Понятно?

Глава третья

1

О приезде братьев Лиза узнала еще вечор от Анки. Та прибежала к тетке никакие запреты ей родительские не указ, – как только пришла телеграмма.

А сегодня Анка еще два раза прибегала и все, все рассказала: и как отец встретил братьев, и чем угощал, и какие разговоры вел за столом. И все-таки вот как у нее были натянуты нервы – выстрелом прогремела железная щеколда в старых воротцах на задворках.

Какое-то время не дыша она глядела в конец заулка на голубой проем между стареньким овечьим хлевом и избой, где вот-вот должны появиться братья, и не выдержала – перемахнула за изгородь (луковую грядку под окошками полола) и так вот босая, растрепанная, с перепачканными землей руками, вся насквозь пропахшая травой, солнцем, так вот и повисла у них на шее. Отрезвление наступило, когда перешагнули за порог избы: в два голоса ревела ходуном ходившая зыбка, завешенная старыми цветастыми платьишками.

– Да, вот так, братья дорогие, – сказала Лиза, – не хватило духу написать, а теперь судите сами. Все на виду.

Григорий, заплакал как маленький ребенок. Навзрыд. А Петр? А Петр что скажет? Он какой приговор вынесет?

Петр сказал:

– Мы не судьи тебе, сестра, а братья.

И тут Лиза уже сама зарыдала, как малый ребенок. Господи, сколько было передумано-перегадано, Как она с братьями встретится, как в глаза им посмотрит, какие слова скажет, и вот – "мы не судьи тебе, сестра, а братья"…

Вмиг воспрянула духом, вмиг все закипело в руках: ревунов своих утихомирила, самовар наставила, стол накрыла… А потом увидела – Петр и Григорий перед Васиной карточкой стоят, и опять все померкло в глазах.

– Нету, нету у меня Васеньки… А я вишь вот что натворила-наделала. Вот Михаил-от и отвернулся от меня. Он ведь Васю-то пуще дочерей своих, пуще всего на свете жалел да любил. Все, бывало, как выпьет: "Вот моя смена на земле!" А как беда-то эта случилась, трое суток не смыкал глаз, трое суток рыскал по реке да искал Васино тело…

Петр и Григорий давно уже все знали про смерть племянника, не было письма, в котором Лиза не вспомнила бы сына, но разве есть предел материнскому горю? И, давясь слезами, вместе с братьями глядя на дорогую карточку под стеклом, в черной рамочке, она стала рассказывать:

– У меня тогда как чуяло сердце. С самого утра места прибрать не могу. Коров на скотном дою – ну колотит всю, зуб на зуб не попадат. Где, думаю, у меня парень-то? Который день рекрутит

– хоть бы ладно все. Прибежала домой, а парень с ребятами да с девками за реку собирается. В Водяны. Там тоже молодежь в армию провожают. Руками обхватила: не езди, Бога ради, не езди! Река не встала, лед несет… А он эдак меня одной рукой отпихивает – что ты, мати, солдата не пущу, да еще вот эдак себя в грудь: "Советским танкистам никакие преграды не страшны". Гордился, что в танкисты взяли. Одного со всего Пекашина… Любка, Любка Филипетуха во всем виновата. Она вздумала на реке шалить, задом вертеть… Все выплыли, все спаслись. И Вася было выплыл, да услыхал – Любка кричит: "Помогите!" – на яму вместе с лодкой понесло, ну и опять в ледяную воду… Кинулся за своей смертью…

– Что теперь растравлять себя, сестра! Чем поможешь?

– Не буду, не буду, Петя! – Лиза скорехонько вытерла глаза, заулыбалась сквозь слезы. – Я все про себя да про себя. Вы-то как живете? На вас-то дайте досыта насмотреться. Ну, Петя, Петя, совсем мужик стал. А я, бывало, все боялась: о, хоть бы у нас двойнята-то выросли! А ты, Григорий, я не знаю, – от тебя все войной пахнет. Сейчас кабыть у нас не по карточкам хлеб – можно бы и досыта исть, думаю…

Сели за стол, за радостно клокочущий, распевшийся на всю избу самовар Лиза терпеть не могла электрических чайников, которые теперь были в моде: мертвый чай.

– Ну, братья дорогие, – Лиза высоко подняла сполна налитую рюмку, спасибо, что не погнушались худой сестры… Не дивитесь, не дивитесь – за стопку взялась. С радости! А вообще-то… Страсть отчаянный народ пошел. И я, ребята, отчаянной стала. Не отталкиваю рюмку, нет. Ладно, – вдруг разудало, бесшабашно махнула рукой, – хоть Раисье теперь будет что говорить. Топчет меня, поносит на каждом шагу. Я и сука, я и тварь бездушная, я и сына своего не любила… А я, когда Вася нарушился, замертво лежала, в петлю едва не залезла – вот истинный Бог. А спросите меня, как, какой дорогой на скотный двор ходила, – не скажу. Ничего не помнила, ничего не видела. Ну, я себя не защищаю, не оправдываю. Двадцать лет без мужика жила – худого слова никто не скажет. А тут отбило ум, отшибло память; Вот он, Михаил-то, и "нету у меня сестры"…

Тут Петр опять попытался остановить ее, но разве могла она молчать?

– Нет, нет, ребята! Не хочу, чтобы вы от других узнали, всякой небыли наслушались. Сама расскажу. С Михаила Ивановича, с братца родного, все началось, вот как все было-то. Он привел ко мне постояльца на постой: "Сестра, пусти, все тебе повеселее будет". А какое мне веселье, когда я только что сына схоронила? Говорю, не помню, какой дорогой на коровник ходила. И постояльца этого, уйди он от меня через день, через неделю, тоже не запомнила бы. Я уж когда его разглядела-то? Когда он начал разговаривать меня. Человек, вижу, немолодой, из офицеров (какие-то военные тогда у нас стояли), и забота… Я сроду такой заботы о себе не видала. Приду с коровника – дрова наколоты, вода наношена, самовар на столе – с ходу садись за стол. И вот слово за слово, разговор за разговором… Не знаю, не знаю, как ума лишилась. А когда опомнилась – об одном думушка: как помереть, как себя нарушить. Анфиса Петровна поперек встала: "Сама как знаешь, что хошь, говорит, с собой делай, а у ребенка не смей жизнь отнимать". Вот так и обзавелась Надеждой да Михаилом…

Лиза заставила себя взглянуть на примолкших братьев.

– Раисья, сказывают, из-за этого Михаила пуще всего рвет и мечет. Думает, это я нарочно, чтобы брата разжалобить, чтобы к нему на шею сесть. А у меня и в думушках ничего такого не было, пластом лежала. Анфиса Петровна и в сельсовете записывала. Пришла: "Не знаю, так, нет сделала: Михаилом парня назвала. Охота, говорит, чтобы еще один Михаил в Пекашине

вырос…" Вот ведь как дело-то было. Дак при чем тут я? Не переписывать же мне было идти.

– Не горюй, сестра! Без детей тоже не жизнь.

– Да это так, так, Петя, – с живостью ухватилась за слова брата Лиза. Все-таки у меня опять какая-то забота, верно? Только срам, срам, ребята! Коровы-то все придивились, не то что люди. А Павел-то Кузьмич, офицер-то мой, где, спросите? Отпустила я его, ребята, на все четыре стороны отпустила, алиментов даже не потребовала. Что же, у него жена, у него дети, дочь-невеста. Узнал, что я в тягости, насмерть перепугался. "Ну, говорит, теперь я погиб. И дома узнают – жизни не будет, и со службы попрут". Ну, я подумала-подумала: да иди ты с Богом. Чего, думаю, всех разорять, всем мучиться, раз сама виновата…

Все. Распустилась, вздохнула всей грудью, даже голову от облегчения откинула.

Нет, нет, она не сидела с опущенной головой, она и раньше, до этого, жадными глазами вглядывалась в родных братьев. А как же не вглядываться столько годов не видела! Но только сейчас, только в эту минуту, когда она вся сполна выговорилась, когда сполна очистилась сама, только в эту минуту она увидела братьев такими, какие они есть.

Увидела и ужаснулась.

– Ты что, сестра? – спросил Петр.

– Ничего, ничего. Это я от радости, от радости…

А уж какая там радость… То есть радость была, и радость великая братья приехали, братья родные у нее в гостях. Но как же она сразу-то не увидела, не распознала беду?

Все считала, все думала: Григорий у них болен, Григорий разнесчастный человек. Да так оно и было: на всю жизнь, до скончания дней своих инвалид что же еще страшнее? И худущий – страсть. Как льдинка весенняя – вот-вот растает…

Но Григорий-то болен, а Петр еще больше болен – вот что сейчас вдруг поняла Лиза. Но она не дала ходу своим думам. Увидела – Петр и Григорий водят глазами по избе, по некрашеному полу, по неоклеенным бревенчатым стенам со старыми сучьями и щелями, сказала:

– Что, ребята, насмотрелись у брата богатства – глаза режет моя голь? Не от бедности, не от бедности это. Нашла бы я денег-то и пол чтобы покрасить, и стены в обои взять, да я, ребята, так рассудила: ничего не менять. От тати карточки не осталось, тогда моды не было сниматься, дак пущай дом заместо карточки будет. Так я рассудила.

2

Гости были самые дорогие, самые желанные. За все эти два года, что не заглядывал к ней старший брат, а может и больше (Михаил все-таки под боком живет), у нее не было в доме таких гостей. И она – сама чувствовала – вся сияла, вся лучилась от счастья, от радости, и это счастье, эта ее радость мало-помалу стали передаваться и Петру – о Григории говорить нечего: от того в ночи свет. Сперва разгладились на лбу морщины, приобмякли, распустились губы, потом снял туфли, а потом и верхнюю рубаху долой: дома…

Но окончательно доконал ее Петр, когда вдруг поднялся с лавки (она и лавки в избе, заведенные Степаном Андреяновичем, сохранила) и направился к зыбке.

Она вся замерла: что-то сейчас будет?

А Петр подошел к зыбке, раздвинул старые платьишки, сказал:

– Ну, долго вы еще, сони, будете скрываться от дядей?

Григорий завсхлипывал – верно, и он не ожидал такого от брата, – а сама Лиза, чувствуя, что вот-вот расплачется от радости, выбежала в сени... Когда она, виновато горбясь, вернулась в избу, малые двойнята были на полу и их забавлял Григорий ("Коза-коза..."), а Петр сидел у раскрытого окошка и, похоже, смотрел на зеленое подгорье, на старую развесистую лиственницу.

– Татьяна-то тебе пишет?

Заговорил сразу, с прежней хмурью на лбу – отвык, видно, за эти годы сердце настежь держать.

– Какие мне письма от Татьяны. – Лиза заняла свое хозяйкино место сбоку заснувшего самовара. – Хорошо хоть от брата не отвернулась.

Некоторое время, покачивая головой, она старательно разглаживала на колене платье, а потом вдруг слезы к горлу подступили – опять навзрыд:

– Кабы вы от меня отвернулись, все бы мне не так обидно было. Не много я вас тешила – бывало, разве чаем когда напою да сухарь суну, а ведь ей-то я поделала добра, послужила... Михаил – десятилетку кончила: как хошь, девка, учить дальше не могу, сама видишь, какие у колхозника доходы. А я: нет, нет! Хоть одного Пряслина да выучим в институте. И уж я, ребята, – с места мне не сойти – все, все, что у меня было, ей отдавала. Деньги велики ли студентам платят, ладно – овцу одну выкормлю, другую выкормлю, луку на лесопункт свезу, продам: учись, девка! Покудова жива, не будешь мереть с голоду. Але платье, одежу взять. Все твое, что в дому есть. В самое раздетое, в самое безлопотинное время как картиночка ходила. Думаю, я никакой молодости не видела, пущай хоть она покрасуется. Але на каникулы-то летом приедет! "Сестра, я у тебя буду жить. Там, у Михаила, и без меня негде повернуться". Живи, живи, девка. Передние избы раскрою, как барыня, как принцесса из одной горницы в другую похаживает... Все позабыто, все не в счет. Вишь, сестра опозорила ей, в Москве ей мои дети жить мешают... Ладно, – махнула рукой Лиза. – Чего это мы кости родной сестре перемываем? То и ладно, то и хорошо, что высоко взлетела. Радоваться надо, а не скулить. – И заговорила уже с восхищением: – Ну бес, ну бес девка! Со счастьем родилась, да ведь надо было это счастье-то выждать. До двадцати восьми годков сидела в девках, ждала, пока цыганкино гаданье исполнится.

– Какое гаданье?

– Да разве вы не помните? Цыгане тут раз зиму жили, у Семеновны покойной в дому стояли. Нет, это, наверно, уж после вас, когда вы в город уехали. Ничего люди, хоть и говорят, что вор на воре, а у нас лучинки не тронули. Старуха у них была, Максимиха, старая такая, вся седая, нос крючком. Вот она и нагадала нам с Татьяной. Мне сразу сказала: тебе, говорит, век горевать, век куковать. Так оно и вышло: век не мужья жена, не законная вдова. А у Татьяны ручку-то взяла, аж прослезилась даже. Ей-богу. Вот, говорит, у кого рука-то из золота чистого отлита. Высоко, говорит, взлетишь, высокого лету птица, на самой Москве гнездо совьешь... И вот ведь какая стойка, какая выдержка у человека! До двадцати восьми годов не потеряла головы, не свернула в сторону. А уж женихов-то у ей было! Косяки. Стаи. Сами знаете, в маму красой, не я, страховидина. Девки все глаза проплакали, на корню засохли, а эта не знает, как от них отделаться. Один другого лучше! Иван Спиридонович, комсомолом всем в районе

командовал, директор школы Олег Окимович, Вася Черемный, инженер леспромхоза… Да всех и не перечислить. А на этого ейного москвича, когда он в Пекашине объявился, надо правду говорить, я и смотрела-то через раз. Лысый, плешь на голове, как яичушко из утиного гнезда выглядывает, в очках, занимается – не во всяком месте и скажешь: по чердакам да по клетям пыль глотает, старье бывалошное собирает. Да разве сравнишь его с теми? А моя Татьяна, гляжу, сразу вцепилась, сразу в горницы повела, в сарафан старинный вынарядилась, ленту в косу заплела. А через неделю-две – провожать своего Иосифа поехала – письмо с дороги: сестра, кончилась моя девичья жизнь, я взамуж выхожу…

Лиза перевела дух, посмотрела на братьев и закончила назидательно:

– Да, вот так надо добывать счастье-то. А что мы? Живем – куда поволокло, потащило, и ладно…

3

Им не дали наговориться досыта, обсказать-обкатать все семейные дела. Повалили бабы – одна за другой.

Сперва соседка Дарья, жена Софрона Мудрого (эта неслышно, как мышь, вошла, вся выгорела, вся высохла от рака), потом Маня-коротышка, потом Александра Баева, Оксинья-жаровня, Фекола – два уха. И удивляться не приходилось: в деревне всегда на свежего человека как на огонек бегут, а у Лизы еще вдобавок с незапамятных времен вдовы солдатские, да старушонки престарелые, да всякая пришлая нероботь вроде Зины-тунеядки, высланной из Ленинграда за «хорошую» жизнь, коротали время. В замешательство всех привела Анфиса Петровна. Анфиса Петровна редко когда заулок своего дома переступает, а зимой в последние годы месяцами в районной больнице лежала: тяжело выходила война. Но подкосила-то ее, сокрушила напрочь даже и не война, а смерть мужа. В пятьдесят четвертом году, вскоре после смерти Сталина, Фокин, тогдашний первый секретарь райкома, добился: с Лукашина скостили шесть лет, подчистую все неправедные грехи сняли. И вот какая судьба у человека! Через все ужасы, через блокаду прошел, пуля немецкая не взяла, все несправедливости, все понапраслины от своих вынес, а от ножа бандитского не уберегся. И когда? Когда уж в руках бумаги об освобождении держал.

Зашел Иван Дмитриевич напоследок в барак проститься со своими товарищами, с которыми три года за проволокой мыкал. А там, в бараке, шпана, уркачи чего-то не поделили, своего шпаненка учат: волосы заживо огнем бреют. И дьявол бы с ним, с проклятым, пускай бы зажарили, одним гадом на земле меньше бы стало: распоследний паскуда во всем лагере был. Так потом писал Анфисе Петровне товарищ Ивана Дмитриевича. Нет, не смейте над человеком издеваться! Ну и сунул один нож Ивану Дмитриевичу под левую лопатку, намертво уложил…

Анфиса Петровна, переступив за порог, долго переводила дух – вся задохлась, пока шла, а потом, когда увидела – Петр и Григорий во все глаза на нее смотрят, сказала:

– Что, ребята, такая ягода стала – не узнать? Лиза, не дожидаясь, что ответят братья, живехонько замахала руками:

– Не говори, не говори чего не надо! Не узнать… Это они не ждали тебя, врасплох – много ли ты по гостям-то ходишь? Не наш брат…

Улыбаясь, всем лицом своим, всем видом своим выказывая радость – она и в самом деле радехонька была: первый человек в Пекашине была для нее Анфиса Петровна, – Лиза подхватила ее под руку, усадила на самое почетное место в избе, а в душе-то, конечно, была

согласна с братьями. Голову взмылило, взбелило, как лен на осеннем лугу, располнела, раздалась, ноги как колодки, – что осталось от прежней Анфисы Петровны? Разве что только глаза. Все такие же черные, властные, председательские глаза, как говаривали иной раз бабы. От чая гостьи все как одна наотрез отказались – только что, мол, дома сидели-наливались, – и Лиза стала угощать их вином: к початой бутылке, из которой отпила с братом, выставила еще «малыша» – всю наличность, какая имелась в доме.

– У-у, праздник-от, праздник-от у нас, бабы! – загудели старухи.

– Вот это встретины дак встретины!

– Ну, здорово жить, гости дорогие! Вот какие вот умники-разумники все у Пряслиных! У нас и на работу и с работы с рылом мокрым идут, земле кланяются, а тут сколько лет с сестрой не виделись – как стеклышки!

В общем, начали гладью – на все лады расхваливали Петра и Григория, а кончили, как это часто и бывает, когда вина мало, гадью: того же Петра да Григория шерстить стали – почему не женаты.

– Да отстаньте вы к лешому! – с ухмылкой ответила за них Фекола – два уха. – Женилка, скажите, еще не выросла.

– Это в тридцать-то шесть лет не выросла? – заохала и замотала головой Маня-коротышка. Нарочно замотала, чтобы масла в огонь подлить. – Да когда же она вырастет-то?

– Ладно, монахи, бывало, до ста жили и не грешили.

– Да пошто не грешили-то? В Пекашине все от монахов, вся порода наша монашья – разве ты не слыхала, Уля?

– А у меня Иван третей раз женился, – сказала Александра Баева. (От нее-то уж Лиза не ожидала таких речей. Неуж вино заговорило?) – Третей раз девку взял. Мама, говорит, те, говорит, были до меня откупорены, а я, говорит, из чужой посуды пить-исть не жалаю…

Первой встала Дарья Софрона Мудрого: человеку, может, двух месяцев жить на этом свете не осталось – неуж такие глупости слушать? А потом вскоре поднялась и Анфиса Петровна. Лиза проводила ее до задних воротец, а когда вернулась в избу, бабы уж сменили пластинку – по Анфисе Петровне прокатывались. И пуще всех Манякоротышка:

– Эдак, эдак она голову-то несет! Мы не люди – сидеть с вам не желам…

– Да, да, – поддакивала ей Фекола, – полегче бы нос-от задирать надо. Не шибко от нас ушла. Тридцать пять монет пензия – тоже не гора золота.

– И Родион не в больших перьях! У меня Октябрина до самого высокого образованья дошла, да я разве чего говорю? А у ей за рулем сидит, керосинкой правит – мало ноне таких?

Петр, сидя на отшибе, у рукомойника, во все глаза смотрел на сестру: не понимал, что все это значит. Не понимал, как можно так об Анфисе Петровне говорить. А Григорий по голубиной кротости своей даже и взглянуть не решался: голову опустил и только что не плакал. И Лиза подбирала, подыскивала в своем уме слова (как бы помягче, побезобиднее сказать старухам) и не нашла подходящих слов.

Сердце закипело – на кого руку подняли! – рубанула сплеча:

– Ну вот что, гости дорогие! Кого хошь задевайте, об кого хошь зубы точите, а чтобы в моем доме слова худого об Анфисе Петровне не было!

– Да что она, святая? – фыркнула Маня.

– Святая! – еще непримиримее отрубила Лиза. – Да еще святая-то какая!

Глава четвертая

1

На могилы ходят с утра – испокон веку так заведено у людей, – но Петру, вскоре после того как они опять остались одни (все на свой счет приняли ее перебранку с Маней), вздумалось идти сегодня, и Лиза не стала противиться. Ребят оставить было с кем – как раз в это время прибежала Анка новое платье показывать (отец семь платьев от тетки из Москвы привез), – а то, что они придут на кладбище не рано, кто упрекнет их? Степан Андреянович? Мать? Вася? Лиза надела праздничное платье, туфли на полувысоком каблуке, а когда вышли на улицу, под руки подхватила Петра и Григория и не боковиной, не закрайкой – серединой потопала: пущай все знают, пущай все видят, как ее братья почитают. Но напрасно предавалась она этим суетным мечтам и желаниям: одни ребятишки малые гонялись на великах по улице, а взрослых, ни трезвых, ни пьяных, не было – ни единой души не попалось на глаза вплоть до магазина. На работе еще? Или все – похоронили наконец Петра и Павла? Петров день – 12 июля – из века в век поперек горла у страды стоит. Люди только выедут на пожню, успеют-нет наладить косы – домой: праздник справлять. И Лиза была согласна, когда три года назад на Пинеге ввели день березки, приуроченный к последнему воскресенью июня. Ввели для того, чтобы задавить им старый праздник. Так нет же! Березку отпраздновали, а подошел Петр – и опять гульба. Первого пьяного они увидели возле ларька рядом с сельповским магазином. Кругом пустые ящики, бутылки, чураки, бревешки лощеные – не пустует кафе «ветродуй», как называют это место в Пекашине, завсегда тут кто-нибудь с бутылкой расправляется или отлеживается, а сейчас кто тут на карачках ползал? Евсей Мошкин.

Рубаха на груди расстегнута, медный крест на шее болтается и на две ноги один растоптанный валенок – не иначе как второй потерял.

– Так, так ноне, – скорбно вздохнула Лиза, – весь спился. Марфа Репишная совсем из ума выжила – в срубец старика загнала, знаете, хлевок такой у ей на задах, картошку преже хранили. За грехи. И все староверское дело в свои руки забрала. А старушонки, те жалеют Евсея Тихоновича, не почитают Марфу… Не глядите, не глядите в его сторону, – зашептала она братьям. – Причепится еще, кто рад с пьяным.

Однако не сделали они после этого и пяти шагов, как Лиза первая повернула к старику.

– Ой, ой, срамник! – начала она с ходу отчитывать его. – И не стыдно тебе, так налакался. Посмотри-ко, самых зарезных пьяниц сегодня не видко, а ты, старый человек, какой пример подаешь.

– А я только пригубился маленько, рот сполоснул.

– Пригубился! Шайку але ушат выжорал.

Евсей сел на землю, довольнехонько засмеялся.

– Все знает, все понимает у вас сестра. Ничего не скроешь. Верно, я посуды-то сегодня опорожнил немало.

– Зачем?

– А не знаю, не знаю, девка… – И вдруг заплакал, зарыдал, как малый ребенок. – К тебе, вишь вот, приехали, прилетели… А я один как перст на всем свете… Ко мне никто не приедет, никто не прилетит…

– Давай дак сколько можно убиваться-то, – начала вразумлять старика Лиза. – Не одного тебя война осиротила. Пройди по деревне-то. На каком дому звезды нету…

– Верно, верно то говоришь. У меня две звезды, два покойника, а в Водянах у старушки Марьи Павловны в два раза больше – четыре красных отметины на углу… Ну я грешен, грешен, ребята, – снова навзрыд зарыдал старик. – У других-то хоть при жизни жизнь была, а моим ребятам, моим Ганьке да Олеше, и при жизни ходу не было… Из-за меня. Я им всю жизнь загородил…

Тут на какое-то мгновенье замешкалась даже находчивая Лиза: нечем было утешить старика, потому что чего тень на плетень наводить – из-за отца, из-за его упрямства столько мук, столько голода и холода приняли его сыновья.

– Пойдем-ко лучше домой, Евсей Тихонович, – сказал Петр и стал поднимать старика.

– Помнит, помнит меня! – опять чисто по-детски, бурно возрадовался Евсей. – Евсей Тихонович… А нет, – он топнул ногой в валенке, – к вам пойдем! Вот мое слово. Раз Евсей Тихонович, то и угощенье как Евсею Тихоновичу.

– Нет, к нам не пойдем! – сказала Лиза. – Тверезой будешь – в любой час, в любую минуту приходи, а пьяному у меня делать нечего.

– И не пустишь? – спросил Евсей.

– И не пущу! – без всякой заминки ответила Лиза.

Старик пришел в восторг:

– Ну, ну, как мне по уму да по сердцу это! Не пущу… А ты думаешь, я не помню твоего добра-то? Я вернулся, ребятушки, оттуда, не будем говорить откуда (ноне все позабыто, на всем крест), – меня двоюродная сестрица Марфа Павловна и на порог не пущает: я на радостях – снова дома – бутылку в сельпо опорожнил. "Десять ден тебе епитимья. Вода да хлеб, а местожительство срубец на задах…" И вот вскорости после того тебя, Лизавета Ивановна, встречаю. Помнишь, какие слова мне сказала?

– Где помнить-то? – искренне удивилась Лиза, – У меня язык без костей сколько я слов-то за день намелю?

– А я помню. – Евсей всхлипнул. – Иду опять же с сельпа, хлебца буханочка под мышкой, а навстречу ты. Увидала меня, возле лужи у сельсовета маюсь, сапожонки что решето, как бы, думаю, исхитриться с ногой сухой пройти. Увидала: "Чего ходишь как трубочист, людей пугаешь? Пришел бы ко мне, у меня баня сегодня, хоть вымылся бы…" А я, правда, правда, ребята, как трубочист. Может, два месяца в бане не был, а весна, солнышко, землица уже дух дала… Ну я тогда уревелся от радости, всю ночь плакал, в слезах едва не утонул…

– Надо было не слезы лить, а в бане вымыться, – наставительно сказала Лиза и улыбнулась.

Тут на дорогу из седловины от совхозной конторы вылетел запыленный грузовик, и Лиза замахала рукой: сюда, сюда давай! Машина подъехала.

Из кабины выскочил смазливый черноглазый паренек, туго перетянутый в поясе и сразу видно – форсун: темные волосы по самой последней моде, до плеч, и на промасленном мизинце красное пластмассовое кольцо в виде гайки.

– Чего, мама Лиза?

– Куда едешь-то? В какую сторону?

– На склад, – парень махнул в сторону реки, – за грузом.

– Ну дак по дороге, – сказала Лиза и кивнула на Евсея, которого поддерживал Петр. – Отвези сперва этот груз.

Старик заупрямился. Нет, нет, не поеду домой! Сегодня праздник, законно гуляю. Но разве с Лизой много наговоришь?

– Будет тебе смешить людей-то! – строго прикрикнула. – Хоть бы вечером вылез, все куда ни шло, а то на-ко, молодец выискался – середь бела дня кренделя выписывать. Вези! – сказала она шоферу.

И вот живо раскрыли задний борт у грузовика, живо притихшего, присмиревшего старика ввалили в кузов, и машина тронулась.

Петр, когда немного стих рев мотора, полюбопытствовал:

– Это еще что за сынок у тебя объявился?

И тут Лиза удивилась так, что даже остановилась:

– Как?! Да разве вы не узнали? Да это же Родька Анфисы Петровны! Всю жизнь меня мамой Лизой зовет. У Анфисы Петровны, когда Ивана Дмитриевича забрали, молоко начисто пропало, я полгода его своей грудью кормила. Вот он и зовет меня мамой Лизой.

2

Сперва невольно, еще загодя начали мягчить шаг, сбавлять голоса, потом пригасили глаза, лица, а потом, когда с проезжей дороги свернули на широкую светлую просеку, густо усыпанную старыми сосновыми шишками, – тут не часто, разве что с домовиной, проезжает машина – они и вовсе присмирели. Густым смоляным духом да застойным жаром, скопившимся меж соснами за день, встретило их кладбище. И еще что бросалось сразу же в глаза – добротность и нарядность могил.

Раньше, бывало, какой жердяной обрубок в наскоро нарытый песчаный холмик воткнут – и ладно: не до покойников, живым бы выжить. А теперь соревнование: кто лучше могилу уделает, кто кого перешибет. И вот крашеный столбик со светлой планкой из нержавейки да деревянная оградка – это самое малое… А шик – пирамидка из мраморной крошки, привезенная из города, поролоновый венок с фоткой да железная оградка на цементной подушке. Лиза первая нарушила молчание. Заговорила резко, с возмущением:

– Я не знаю, что с народом деется, с ума все посходили. Преже дома жилого не огораживали, замка знамом не знали, а теперека и дома жилые под забор и покойников загородили. Срам. Старик какой – Трофим Михайлович але Софрон Мудрый захотели друг к дружке сходить, словом перекинуться – не пройти. Трактором, бульдозером не смять эти железные ограды, а где уж покойнику через их лазать…

Уже когда подходили к своим могилам, Лиза вдруг, неожиданно для Петра и Григория, свернула в сторону, к могиле под рябиновым кустом. Пирамидка на могиле из горевшей на вечернем солнце нержавейки с выпуклой пятиконечной звездой в левом углу не очень отличалась от тех надгробий, которые попадались им доселе, но что они прочитали на пирамидке?

ЛУКАШИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

1904-1954

Петр, оглядевшись вокруг, спросил:

– Когда же это прах-то Ивана Дмитриевича перевезли?

– Не перевозили. Ничего там нету, – кивнула Лиза на уже обросший розовым иван-чаем бугор. – Ины беда как ругают Анфису Петровну: слыхано ли, говорят, на пустом месте могилу заводить? А я дак нисколешенько не осуждаю. Везде земля одинакова, везде от нашего брата ничего не останется, а тут хоть когда она сходит, поговорит с ним, горе выплачет. В городах памятники ставят, а Иван Дмитриевич не заслужил? Признано: зазря пострадал, а нет, все на памяти Ивана Дмитриевича лагерная проволока висит…

У давно осевших и давно затравеневших могилок Степана Андреяновича и Макаровны Лиза стояла молча, с виновато опущенной головой. В прошлом году какие-то волосатые дикари из города, туристами называются, ослепили на них столбики – с мясом выдрали медные позеленелые крестики, и она до сих пор не собралась со временем, чтобы вернуть им былой вид.

Ни единого слова, ни единого оха не обронила она и на могиле сына – при виде светловолосого, улыбающегося ей с застекленной карточки Васи она всегда каменела, – зато уж когда подошла да припала к высокому, заново подрытому весной и плотно обложенному дерниной холмику матери, дала волю своим чувствам.

Смерть матери была на ее совести.

Семь лет назад 15 сентября справляли поминки по Ивану Дмитриевичу. Михаила да Лизу Анфиса Петровна позвала первыми – дороже всякой родни были для нее Пряслины. Ну а как с коровами? Кто коров вместо Лизы поедет доить на Марьюшу? Поехала мать. И вот только отъехали от деревни версты две грузовик слетел с моста. Семь доярок да два пастуха были в кузове – и хоть бы кого ушибло, кого царапнуло, а Анну Пряслину насмерть – виском о конец гнилой мостовины ударилась…

– Ой да ту родимая наша мамонька… Ой да ту чуешь, нет, кто пришел-то к тебе да приехал… Ой да уж любимые твои да сыночки… По шажкам, по голосу ты их да признала…

– Будет, будет, сестра, – начал успокаивать Лизу Петр, и она еще пуще заголосила, запричитала. И тут Григорию вдруг стало худо – он кулем свалился сестре на ноги.

– Петя, Петя, что с ним? – закричала перепуганная насмерть Лиза.

– А больно нежные… Без фокусов не можем…

– Да какие же это фокусы? Что ты такое говоришь? – Григорий забился в судорогах, у него закатились глаза, пена выступила на посинелых губах…

Лиза наконец совладала с собой, кинулась на помощь Петру, который расстегивал у брата ворот рубахи.

– Голову, голову держи! Чтобы он голову не расшиб!

Сколько времени продолжалась эта пытка? Сколько ломало и выворачивало Григория? Час? Десять минут? Два часа? И когда он наконец пришел в себя, Лиза опять начала соображать.

– Может, мне за фершалицей да за конем сбегать? – сказала она.

– Не надо, – буркнул Петр. – Первый раз, что ли?

Бледного, обмякшего Григория кое-как подняли на ноги, повели домой. Повели, понятно, задворьем, по загуменью, по-за баням – кто же такую беду напоказ выставляет.

3

У людей начиналось гулянье – старый Петр опять верх взял.

Сперва завысказывались старухи пенсионерки – свои, старинные песни завели. Эти теперь кажинный праздник открывают – хватает времени! Потом затрещали, зафыркали мотоциклы – молодежь на железных коней села, – а потом заревела и Пинега.

Даровой гость – вроде старушонок и всякой пожилой ветоши, отпускники, студенты – прибыл в Пекашино еще днем на почтовом автобусе, на машинах, водой – у кого теперь лодки с подвесным мотором нет? А в вечерний час Пинегу начали распахивать моторки и лодки тех, кто днем работал на сенокосе, в лесу.

По пекашинскому лугу пестрым валом покатил народ, розовомехие гармошки запылали на вечернем солнце…

Долго сидела Лиза у раскрытого окошка, долго вслушивалась в рев и шум расходившейся деревни и мысленно представляла себе, как веселятся сейчас на широком пустыре у нового клуба пекашинцы. Компаньями, семьями, родами. Было, было времечко. И еще недавно было, когда и она не была обойдена этими радостями – в обнимку с братом, с невесткой выходила на люди. А теперь вот сидит одна-одинешенька и, "как серая кукушечка" оплакивает былые дни.

Но радости праздничные – Бог с ними, можно и без радостей прожить. А что же это с Григорием-то делается? Когда, с каких пор у него падучая? Не шел у нее с ума и Петр. Брат родной сознанье потерял, замертво пал на Землю – да тут дерево застонет. Камень зарыдает. А Петр ведь не охнул, слова доброго Григорию не сказал. Ни на кладбище, ни тогда, когда уходил к Михаилу.

Горе горькое, отчаянье душило Лизу.

Михаил с ней не разговаривает, Татьяна ее не признает, Федор из тюрьмы не вылезает, а теперь, оказывается, еще и у Петра с Григорием нелады. Да что же это у них делается-то?

Она прикидывала так, прикидывала эдак, да так ни в чем и не разобравшись, начала закрывать окно – комары застонали вокруг…

Григорий, слава Богу, – его положили в сени на старую деревянную койку Степана Андреяновича, там поспокойнее и попрохладнее было – заснул, она это по ровному дыханию поняла, и Лиза, сразу с облегчением вздохнув, пошла за дровами на улицу.

Белая ночь плыла над Пекашином, над старой ставровской лиственницей, которая зеленой колокольней возвышалась на угоре. Лиза ступила с крыльца босой, разогретой в избяном тепле ногой на пылающий от ночной росы лужок, сделала какой-то шаг и – Михаил. Как в сказке, как во сне из-за угла избы выскочил в синей домашней майке, в растоптанных тапках на босу ногу.

И тут ей вмиг все стало ясно: прощение принес. Сидели-сидели с Петром за столом, разговаривали да вдруг одумался: что же это, Петька, я с сестрой-то родной делаю, за что казню? А дальше – известно: никому ни слова – к ней.

– Где те?

Не слова – плеть хлестнула ее наотмашь, но она де могла сразу погасить улыбку. Она улыбалась. Улыбалась от радости, от счастья, оттого, что впервые за полтора года вот так близко, лицом к лицу, а не издали, не украдкой видит родного брата.

За считанные мгновенья, за какие-то доли секунды отметила для себя и разросшуюся на висках изморозь, и незнакомую раньше мясистую тяжесть в упрямом, начисто выбритом по случаю праздника подбородке, и новые морщины на крепком, чуть скошенном лбу.

– А-а, улыбаешься! Весело? Ребят на меня натравила и рада?

– Брат, брат, опомнись!..

Это не она, не Лиза закричала. Это закричал Петр, который, к счастью или к несчастью, в эту минуту вбежал в заулок с поля.

– Дак ты вот как на меня! Плевать? Позорить на всю деревню?

– Я без сестры не пойду, – сказал Петр.

– Чего, чего?

– Без сестры, говорю, не пойду.

– Не пойдешь? Ко мне не пойдешь? – Михаил вскинул кулачищи: гора пошла на Петра.

И вот тут Лиза опомнилась. Кинулась, наперерез кинулась Михаилу, чтобы своим телом закрыть Петра. Уж лучше пускай ее ударит, чем брата. Но еще раньше, чем она успела встать между братьями, сзади плеснулся какой-то детский, щемящий вскрик.

Лиза и Михаил – оба вдруг – обернулись. На крыльце стоял Григорий весь белый-белый и весь в слезах…

Глава пятая

1

От ставровской лиственницы до Пинеги рукой подать: под угор спустился, перемахнул узкую луговину в белых ромашках – и вот прибрежный ивняк, пестрый галечник, раскаленный на солнце.

А Петр выбежал на луговинку, глянул на широкий голубой разлив пекашинского луга слева и вдруг порысил туда, к родному печищу, – захотелось к Пинеге сбежать той самой тропинкой, по которой бегал в детстве.

Луг был скошен, сладко, до головокружения сладко пахло свежим сеном, но где же люди? Неужели какой-то десяток белых бабьих платков, затерявшихся на Монастырском клину, это и есть "все сеноставы?

Ему не хотелось сейчас встречаться с пекашинскими бабами. Начнут пытать, выспрашивать про Михаила, про Лизу – ловчить? Ужом извиваться? И он решил дать крюк. Но там, на Монастырском клину, казалось, только этого и ждали. Закричали в один голос:

– К нам, к нам давай! А потом со смехом:

– Девки, девки, держите его!

И вот уж две резвые девчушки, бойко выкидывая коленки из-под цветастых платьишек, кинулись наперехват его. И он уступил.

Пекашинские бабы, а вернее сказать, старухи, похоже, не узнали его.

– Да вы кого, девки, привели-то? – с деланным ужасом на лице заголосила подслеповатая, высокая и сухая, как Жердь, Ульяна. – Ведь это мужик-от чужой.

– А нам все равно, скажите, девки, хоть свой, хоть чужой: не проходи мимо! А нет – бутылку ставь!

– Околей ты со своей бутылкой! – На Маню-коротышку – это она отпечатала – обрушились все разом.

– Бутылка-то вишь до чего довела. Страда, а у нас вся деревня в лежку.

– Так, так ноне. Одни двадцатирублевки выползли да сколько школьниц прихватили с собой, а остальная публика с Петрова дня не может прийти в себя.

– Застонали! – огрызнулась Маня-коротышка. – Кто вас гнал? Лежали бы на печи да плевали в кирпичи.

– Да как на печи-то улежишь, когда сено тебе из-под горы глаза колет?

Из-за спины Ульяны высунулась Парасковья-пятница. Петр даже ахнул про себя: сколько же ей сейчас лет? Еще в войну была старухой.

– Ты откуда, молодец, будешь-то? Из каких кра-ев-местов? У вас там поменьше нашего пьют? Ульяна – всю жизнь скоморох – захохотала:

– Да это наш мужик-от, Фадеевна! Анны Пряслиной сын.

– Что ты, что ты, Уля! – заахали и заохали старухи. – Ты вот сразу узнала, а у нас глаза, как ворота полые, – ничего не задерживается.

Начались, как и ожидал Петр, расспросы: где живешь? где служишь? надолго ли приехал? у кого остановился – у брата или у сестры? И даже те, что были вчера на встретинах, выспрашивали.

Школьницы быстро отвалили в сторону – чего тут интересного? – а затем вскоре и старухи оставили его в покое: кончился перекур.

Парасковья-пятница побрела к сенному валку, одной рукой держась за Ульяну. Переставлять потихоньку свои старые ноги вслед за граблями – это она еще кое-как могла, а ходить по земле просто, ни на что и ни на кого не опираясь, уже не могла.

Близко, совсем близко было пряслинское печище, уже, казалось Петру, он и тропинку свою, натоптанную с детства, различает в пестрой чаще разнотравья – луг там был еще не выкошен, – но он посмотрел опять на Парасковью-пятницу, на ее черные старые руки, ярко горевшие на солнце, – старухи уже взялись за грабли – и ему расхотелось купаться.

2

Ветер рыскал по лугу, выпущенную рубаху вздувало пузырем, и все-таки пот лил с лица: старухи разошлись – на глазах росли сенные валы. А копнить кто? Он да Маня-коротышка.

Помощь Петру пришла от кого? От сестры.

Прибежала – глаза зеленые блестят, сарафан морошковый колоколом – сама удаль спустилась на луг.

– Вот как, вот как она! Как на праздник вышла! – одобрительно закивали, зашамкали беззубыми ртами старухи, со всех сторон разглядывая нарядную, сверкающую на солнце Лизу.

– Дак ведь праздник сегодня и есть! – с задором ответила Лиза. – Когда домашний сенокос в тягость был?

– Так, так, девка! – опять с одобрением закивали старухи. – Это мы все обасурманились – кто в чем пришел, а родители-то наши блюли обычаи.

Но не только, как догадывался Петр, дело было в следовании обычаям: своим праздничным видом, своей разудалой беззаботностью Лиза хотела еще заткнуть всем рот насчет вчерашнего. Дескать, не шепчитесь, не мозольте языки. Ничего вчера у Пряслиных не случилось, никакого скандала не было иначе я разве была бы такая бесшабашная?

– А как же дети? – спросил Петр.

– А дети не золото – не украдут!

И опять ответ Лизы пришелся старухам по душе:

– Верно, верно, Лизка! Смалу не испотешишь – человек вырастет.

Старуху любили Лизу, просто на глазах у Петра стали жаться к ней, и он не понимал, как мог Михаил отвернуться от сестры. И из-за чего?

Но еще удивительнее было для Петра то, что Лиза оправдывала старшего брата. Утром она битый час ему за завтраком втолковывала: дескать, пустяки все это. Разве не знаешь Михаила? Всегда кипяток, был, всегда без углей закипал. А тут ждал-ждал вас в гости, барана зарезал,

может, еще люди, Раиса подначивает – как все это стерпеть?

– Еще, еще один помощник идет! – радостно завизжали девчонки.

Петр – он укладывал очередную охапку сена в копну – глянул на пекашинскую гору. Оттуда спускался мужчина – рукава белой рубахи закатаны по локоть, тяжелые сапоги мечут жар – так и вспыхивает на солнце подбитая железными гвоздями подошва.

– Завсегда вот так, дьявол! – хмуро заметила Лиза. – Как праздник, так и сапоги. Умираю, горю на работе!

– Кто это?

– Кто? Управляющий наш. Антон Таборский. Помнишь, бывало, на сплаве Таборский был? Младший брат его.

Таборский еще издали, от озерины, высоко вскинув кулак, одобрительно загоготал:

– Хорошо! Гул, ол райт, товарищи старухи! Есть еще порох в пороховницах!

– Чего старух-то подзадориваешь? Старухи-то работают.

– Где твои механизаторы, рожи бессовестные? На какой работе убиваются?

– Старухи-то вымрут – на ком поедешь? Таборский ни секунды не раздумывал:

– На роботе!

– На ком, на ком?

– На роботе, говорю. Ученым человек такой заказан. Железный. Чтобы в любой момент работал и чтобы пить, исть не просил. И чтобы без этого… Таборский ловко, как фокусник, щелкнул ниже подбородка.

И вот уж старухи – ох русский человек! – отмякли:

– Да уж так, так, железного надоть, раз живые робить не хотят.

– А коровы-то как? Может, и коров железных наделаете?

– Не, коровы будут обыкновенные, только другой породы. Медвежатницы!

– Медвежатницы?!

– Да. Чтобы зимой лапу сосали, сена не просили.

– Ох, ох, вралина! – застонали старухи. – Как тебя и земля-то терпит.

С Петром Таборский поздоровался за руку и сразу по-свойски, как с давнишним приятелем:

– Приехал, говоришь, крепить смычку города с деревней? Давай-давай. А меня помнишь? Что? Не помнишь, как один моряк тебя с братом на моторке в город вез? Ну и ну! Вы еще, кажись, в ФЗУ опаздывали.

У Петра по-хорошему, по-доброму защекотало в горле. Было такое дело, точно. Они прибежали

с Григорием в райцентре на пристань – парохода нет и неизвестно, когда будет. И вот в это самое время в старую ожидалку, где торговали проездными билетами, ввалился" подвыпивший морячок с веселыми и наглыми глазами: "Что за слезы на берегу в мирное время!" Куда-то сходил, с кем-то поговорил – раздобыл моторку. И их с Григорием взял.

– То-то! – сказал довольно Таборский. – Взаимовыручка – закон жизни. Я и Михаилу, брательнику твоему, немало добра делал.

– Делал волк добро корове! – сердито фыркнула Лиза.

Таборский, однако, и бровью не повел на это, зычно, во все горло объявил:

– Час – перекур, пять минут – работа! Есть возражения?

Долгонькими оказались эти пять минут. Тридцать одну копну накопнили Таборский тоже бегал, как застоявшийся жеребец. И, наверно, еще бы погребли, да тут неожиданно из накатившейся тучи хлобыстнул дождь.

3

Девочошки первыми очухались – с криком, с визгом кинулись в гору, за ними, охая и крякая, посеменили старушонки, Антон Таборский показал свою прыть…

А им что делать? Домой далеко – через весь луг бежать надо, к чужим людям в мокрой одежде не хочется. Петр крикнул:

– Чего ж мы ворон считаем? Давай на старое пепелище!

Воды в тучке хватило ровно настолько, чтобы отбить гребь да вспарить их, потому что едва они поднялись в гору, как дождь перестал и опять брызнуло солнце.

Петр с головы до ног закурился паром.

Прижимая к груди скинутые по дороге туфли, он подошел к разлившейся на дороге перед домом луже, песчаный бережок которой уже крестила своей грамоткой шустрая трясогузочка, попробовал ногой воду и вдруг, как в детстве обмирая от страха – такая бездонная глубь с белыми облаками открылась ему, ступил в нее.

– Что, Петя, знакомая водичка?

– Ага, – сказал Петр и рассмеялся.

Сдал, очень сдал старый пряслинский дом. Сгорбился, осел, крыша проросла зеленым мохом, жалкими, такими невзрачными были зарадужелые околенки, через которые они когда-то смотрели на белый свет. Видно, и вправду сказано у людей: нежилой дом что неработающий человек – живо на кладбище запросится. Или он у них и раньше такой был? Ключ от дома нашли в прежнем тайничке, в выемке бревна за крыльцом.

И вот вороном прокаркали на заржавелых петлях ворота, затхлый запах сенцов дохнул в лицо. Не привыкшие к сутемени глаза не сразу различили черные, забусевшие на полках крынки и горшки, покосившуюся, в три ступеньки лесенку, ведущую на поветь, домашнюю мельницу в темном углу…

Страшно подойти сейчас к этим тяжеленным, кое-как отесанным камням с деревянным

держаком, который так отполирован руками, что и сейчас еще светится в темноте. Но эти уродливые камни жизнь давали им, Пряслиным.

Чего-чего только не перетирали, не перемалывали на них! Мох, солому, мякину, сосновую заболонь, а когда, случалось, зерно мололи – праздник. Всей семьей, всем скопом стояли в сенях – ничего не хотели упускать от настоящего хлеба, даже запах…

Да не снится ли ему все это? Неужели все это было наяву?

Двери в избу осели – пришлось с силой, рывком тащить на себя. И опять все на грани небывальщины. Семь с половиной шагов в длину, пять шагов в ширину – как могла тут размещаться вся их многодетная орава?

Осторожно, вполноги ступая по старым, рассохшимся половицам, Петр обошел избу и опять вернулся к порогу, встал под полатями.

Бывало, только Михаил играл полатницами, а теперь и он, Петр, доставал их головой.

– Не забыл, Петя, свою спаленку?

Он только улыбнулся в ответ сестре. Как забудешь, когда доски эти на всю жизнь вросли в твои бока, в твои ребра!

До пятнадцати лет они с Григорием не знали, что такое постель. И может быть, самой большой диковинкой для них в ремесленном училище была кроватьотдельная, железная (Михаил спал на деревянной!), с матрацем, с одеялом, с двумя белоснежными простынями. И, помнится, они с Григорием, ложась первый раз в эту царскую постель, начали было снимать простыни прикоснуться было страшно к ним, а не то что лечь.

Они присели к столу, маленькому, низенькому, застланному все той же знакомой, старенькой, совсем вылинявшей клеенкой, истертой на углах, с заплатами, подшитыми разными нитками, и опять Петр с удивлением подумал: как же за этой колымагой рассаживалась вся их многодетная, вечно голодная семья?

– Михаил заходит сюда? – На глаза Петру попалась с детства памятная консервная банка с окурками.

– Заходит. Это вот он курил. А иной раз и с бутылкой посидит. Немало тут пережито.

Петр посмотрел в окошко – кто-то с треском на мотоцикле мимо прокатил.

– А что у него за отношения с управляющим?

– С Таборским-то? А никаких отношений нету – одна война.

– Н-да… – Петр натужно улыбнулся. – А я думал, он только с сестрой да с братьями воюет.

– Братья да сестра свои люди, Петя: рано-поздно разберемся. А вот с Таборским с этим я не знаю, как они и разойдутся. Таборский плут, ловкач, каких свет не видал, и кругом себя жуликов развел. А Михаил, сам знаешь, какой у нас. Как топор, прямой. Вот у них и война.

– И давно?

– Война-то? Да еще в колхозе цапались. Бывало, ни одно собранье не проходит, чтобы они на

горло друг дружке не наступали. Ну, раньше хоть народ голос за Михаила подаст…

– А теперь?

– А теперь совхоз у нас. Кончились собранья. Вся власть у Таборского. Лиза старательно разгладила руками складку на старенькой клеенке. – Да и Михаила не больно любят…

– Кого не любят? Михаила?

– А кого же больше?

Петр выпрямился:

– Да за что?

– А за работу. Больно на работу жаден. Житья людям не дает.

Петр не сводил с сестры глаз. Первый раз в жизни он слышит такое: человека за работу не любят. Да где? В Пекашине!

– Так, так, Петя! Третий, год сено в одиночку ставит. Бывало, сенокос начнется – все хотят под руку Михаила, отбою нету, а теперь не больно. Теперь-с кем угодно, только не с Михаилом.

– Да почему? – Петр все еще не мог ничего понять.

– А потому что народ другой стал. Не хотим рвать себя как преже, все легкую жизнь ищут. Раньше ведь как робили? До упаду. Руки грабли не держат веревкой к рукам привяжи да греби. А теперь как в городе: семь часиков на лугу потыркались – к избе. А нет – плати втридорога. Ну, а Михаил известно: сам убьюсь и другим передыху не дам. Страда! Страдный день зиму кормит – не теперь сказано. Вот и – не хотим с Пряслиным! Вот и ни он с людями, ни люди с ним. – Лиза помолчала и закончила: – Так, так теперь у нас… Раньше людей работа мучила, а теперь люди работу мучают.

Руки ее опять беспокойно начали разглаживать складки на старенькой клеенке, губы она тоже словно разглаживала, то и дело покусывая их белыми крепкими зубами – явный признак, что хочет что-то сказать. И наконец она оторвала от стола глаза, сказала:

– Ты бы, Петя, уступил немножко, а?

– Кому уступил? – не понял Петр.

– Кому, кому… – рассердилась на его непонятливость Лиза (тоже знакомая привычка). – Не Таборскому же! Сходил бы денька на два, на три на Марьюшу… Знаешь, как бы он обрадовался…

Надо кричать, надо орать, надо кулаками дубасить по столу, потому что ведь это же уму непостижимо! Михаил ее топчет, Михаил ее на порог к себе не пускает, а у нее только одно на уме – Михаил, она только о Михаиле и убивается… Но разве мог он поднять голос на сестру?

Лиза всхлипнула:

– Я не знаю, что у нас делается. Михаил врозь, Татьяна – вознеслась высоко – разговаривать не хочет, Федор из тюрем не выходит, вы с Григорием…

– Да что мы с Григорием? – Петр подскочил на лавке – не помогли зароки.

– Да ведь он боится тебя… Слово боится сказать при тебе. И ты иной раз глянешь на него…

– Выдумывай!

– Какие вы, бывало, дружные да добрые были… Все вдвоем, все вместях… Вам и сны-то, бывало, одинаковые снились…

И опять Петр против собственной воли сорвался на крик:

– Дак по-твоему нам всю жизнь двойнятами жить? Всю жизнь друг друга за ручку водить?

Он схватился за голову. Старая деревянная кровать, полати, черный посудный шкафчик, покосившийся печной брус, на котором он вдруг увидел карандашные отметки и зарубки – летопись возмужания пряслинской семьи, которую когда-то вела Лиза, – все, все с укором смотрело на него.

– Ну я же тебе писал… Григорий болен… Понимаешь? Душевное расстройство… Психика… Медицина не может ничего поделать… Понимаешь? Петр махнул рукой. – В общем, не беспокойся: брата не брошу.

– А свою-то жизнь устраивать ты думаешь?

– А чего ее устраивать? Образование подходящее, работа, как говорится, не пыльная…

– Ох, Петя, Петя… Да какая же это жизнь – до тридцати шести лет не женат! Бабы-то вот и чешут языками… – Лиза грустно покачала головой. – Не пойму я, не пойму, что у вас деется. Ну, Григорий – больной человек, ладно. А ты-то, ты-то чего? Война когда кончилась, а у тебя все жизни нету…

Петр встал.

– Пойдем, Ивановна! Засиделись мы с тобой малость.

Сказал – и самому противно стало от фальшивого наигрыша, от той неискренности, которой он ответил на участие и беспокойство сестры.

4

В тот день вечером Лиза еще раз пыталась вызвать Петра на откровенный разговор. Провожая на ночь в передок – в просторные горницы, в которых он теперь разживался, – она как бы невзначай спросила:

– Одному-то в двух избах не скучно?

– А чего скучать-то?

– Я думаю, всю жизнь вдвоем, а теперь один…

– Ерунда! – опять, как давеча, отшутился Петр. – В мои годы пора уже и без подпорок жить.

А войдя в избу, он пал, не раздеваясь, на разостланную прямо на полу постель и долго лежал недвижно.

Все верно, все правильно: снились им в детстве одинаковые сны, жить друг без друга не могли. Да и только ли в детстве? Когда в армии разлучили их – в разные части направили, чтобы не путать друг с другом, – они, к потехе и забаве начальства, плакали от отчаянья.

Но верно и другое – неприязнь, ненависть к брату, которая все чаще и чаще стала накатывать на него. Потому что из-за кого у него вся жизнь вразлом? Кто виноват, что у него не было молодости?

Ох это вечернее образование, будь оно трижды проклято! Шесть лет на износ, шесть лет беспрерывной каторги! Восемь часов у станка, четыре часа лекций и семинаров в институте. А подготовка к занятиям дома? А экзамены, зачеты? А сколько времени уходит на всякие разъезды, мотания по библиотекам, читальням? Экономишь часы и минуты на всем: на сне, на отдыхе (ни единого выходного за все шесть лет!), на еде (чего где на ходу схватишь, и ладно), даже на бане экономишь…

Григорий первый не выдержал – упал в обморок прямо на улице. Но и тогда они не сдались. Старший брат наказал учиться – какой может быть разговор! Только теперь они порешили так: сперва выучиться Петру, и обязательно на дневном, а Григорию – вторым заходом.

Петр выучился, получил диплом инженера. А Григорий… А Григорий к тому времени стал инвалидом. По две смены вкалывал он, чтобы мог спокойно учиться брат. И кончилось все это в конце концов катастрофой.

В тот день, когда Григорий попал в больницу, Петр, сидя у его изголовья, дал себе слово: до тех пор не жениться, до тех пор не знать радостей в жизни, пока не выздоровеет брат.

Пять лет он держал свое слово, пять лет ни на один день не расставался с братом, даже когда его в деревню посылали на сезонные работы, брал с собой Григория. Ну а потом как землетрясение, как извержение вулкана: какой-то внезапный взрыв ненависти к брату, да такой силы, что Петру самому страшно стало…

Белая ночь плыла за окнами. Красные отсветы вечерней зари пылали на известке печного кожуха. Петр присел на постели. Сходить объяснить сестре все как есть?

Но что объяснить? Как вывернуть перед сестрой свое сердце, когда ему самому страшно заглянуть в него?

Глава шестая

1

Мост за Нижнюю Синельгу наконец-то сделали. Капитально. Из добротного соснового бруса, еще свежего, не успевшего потемнеть, на высоких быках, с железными ледорезами – никакой паводок не своротит.

Но куда девалась Марьюша? Где знаменитые марьюшские луга?

Бывало, из ельника выйдешь – море травяное без конца без края и ветер волнами ходит по тому морю. А сейчас Петр водил глазами в одну сторону, в другую и ничего не видел, кроме кустарника. Все заросло. Прежние просторы да ширь оставались лишь в небе. И там, в сияющей голубизне, на головокружительных высотах, совсем как прежде, ходил коршун. Величаво, по своим извечным птичьим законам, без всякой земной суеты и спешки.

Мотаниху – старую, доколхозных времен избушку, которую Петр знал с малых лет, – он едва и разыскал в этом царстве ольхи, березы и ивняка. Да и то с помощью Лыска – тот вдруг с лаем выскочил из кустарника.

Михаил – он обедал – до того удивился, что даже привстал:

– Ты? Какими ветрами?

– Хочу внести свой вклад в подъем сельского хозяйства.

Шутка была принята, а о том, что они еще позавчера едва не разодрались, виду не подали друг другу.

Петр, сбросив с себя рюкзак, первым делом подал брату письмо от дочерей.

– Давай-давай! Почитаем... "Здравствуй, папа..." Так, это ясно. Во! Михаил поднял палец, и улыбка во всю ряху. – "Тетя Таня нас встретила на аэродроме на машине..." Н-да, можно, думаю, так ездить в столицу нашей родины... "А завтра, папа, мы с тетей Таней пойдем в театр..."

Письмо было коротенькое, на одном листке из школьной тетрадки, и Михаил с сожалением отложил его в сторону, затем снова требовательный взгляд: еще что скажешь?

Петр не сразу сказал:

– Сестру в сельсовет вызывали... Анна Яковлева заявление подала. Требует раздела ставровского дома, поскольку у нее сын от Егорши...

Михаил молча допил чай, встал.

– Ну, это меня не касается.

– Почему не касается? О ком я говорю? О сестре, нет?

– Нету у меня сестры! Сколько раз одно и то же талдычить?

Михаил схватил стоявшую у стены избы косу-литовку, сунул за голенище кирзового сапога брусок в черемуховой обвязке, пошел. Но вдруг круто обернулся, заорал благим матом:

– Ты племянника сколько раз в жизни видел? "Здравствуй, Вася, и прощай..." А я вот с эдаких пор, с эдаких пор его на своих руках... В шесть лет на сенокос повез... – И тут Михаил вдруг всхлипнул.

Петр отвернулся. Он в жизни своей не видел плачущим старшего брата.

2

И вскоре все, все стало так, как было прежде, как двадцать пять лет назад. Михаил – злость из себя выметывал – махал косой, ничего не видя и не слыша вокруг. А он, совсем-совсем как в детстве, старался угодить ему работой.

Петру не привыкать было к косьбе. Редкое лето не посылали его в подшефный колхоз от завода, и по сравнению с другими – нечего прибедняться он был на все руки, его так и называли на заводе "наш колхозник", но что такое тамошняя косьба? Гимнастика на вольном

воздухе, упражнение с палкой среди благоухающих цветов.

А тут… А тут не человек – бык, танк прет впереди тебя! Без передышки, без роздыху.

Петр ругал, пушил себя: зачем ему это? Зачем устраивать добровольную каторгу? Ведь глупо же это, чистейший вздор – тягаться жеребенку с конем-ломовиком!

Да, да! Природа добрую половину того материала, который был отпущен на ихнюю семью, ухлопала на Михаила… Но какой-то бес вселился в него. Не отстать! Сдохнуть, а не отстать!

В пятидесятом году они с Григорием, два глупеньких желторотых дурачка, дали тягу из ФЗУ. За четыреста верст. Чтобы посмотреть на щенка, на песика, которого завел дома Михаил, – Татьяна только и писала в письмах об этом песике.

До райцентра добрались хорошо. На пароходе. Зайцами. А от райцентра сорок верст пришлось топать на своих. И вот когда дотащились до Нижней Синельги, свалились. У самого моста. До того выбились из сил (за весь день несколько репок съели), даже на мост заползти не смогли – прямо на мокрую землю пали. Помогли им телеграфные столбы. Как-то все-таки поднялись они на ноги, захватились за руки и побрели, цепляясь глазами за белевшие в осенней темноте новехонькие, недавно поставленные столбы вдоль дороги.

И вот Петр вспомнил сейчас этот свой крестный путь в осенней ночи и обоими глазами вцепился в кумачово-красную, колесом выгнутую шею брата.

Пот заливал ему глаза, временами шея брата уплывала, будто ныряла в воду, в красный туман, но, как только проходило это полуобморочное состояние, он опять вскакивал глазами на крутой загривок брата…

Михаил первый опомнился:

– Ну и дурак же ты, Петруха, а еще институт кончал! Так ведь недолго и копыта откинуть. Я – что! Мне все едино: хоть с косой, хоть без косы по лугу расхаживать.

Петр не мог говорить. Он еле-еле доволок ноги до тенистой березы, под которой расположился на перекур Михаил.

Сладко опахнуло папиросным дымком, мокрая, разгоряченная спина просто прилипла к прохладному стволу березы. Голос брата благостно рокотал под самым ухом…

Проснулся он от суматошного крика:

– Петро, Петро, вставай! Проспали мы с тобой, парень!

И Петр попервости так было и подумал: проспали. А потом, поднимаясь на ноги, глянул случайно влево, туда, где только что сидел брат, и три папиросных окурка насчитал на примятой траве.

Кровь кинулась ему в лицо, и он вдруг почувствовал себя совсем-совсем маленьким, беспомощным ребятенком, которого по-прежнему опекает и выручает на каждом шагу старший брат.

Косить стало легче. Ветерок заходил по лугу. Начало перекрывать солнце.

– Может, к избе пойдешь але по Марьюше пройдешься? – то и дело, оглядываясь назад, говорил

Михаил и при этом широко, по-доброму скалил свой белый зубастый рот, ярко сверкающий на солнце. – Экзамен сдал – чего еще?

Не ругали Пряслиных за работу. И в ФЗУ, и в армии, и в институте, и на заводе – везде Петр получал благодарности да грамоты. И все-таки – вот какая власть была над ним старшего брата – ни одна премия, ни одна награда не доставила ему столько радости, столько счастья, как эта нынешняя, скупо, как бы между прочим брошенная похвала.

3

Вечер. Костер. Туман бродит вокруг костра…

Знакомая картина. Редкое лето не бываешь в этой живой картине. Но почему здесь, на Марьюше, все иначе? Почему на Марьюше сильнее пахнет трава? Почему такую радость вызывает обыкновенное кваканье лягушки за избой? Почему дым костра так непонятно сладок?

Михаил, весь малиновый от огня, приложил ко рту сложенные ковшом руки, раскатисто крикнул:

– Эхе-хей!

И тотчас взметнулись в ответ голоса – в одном углу, в другом, в третьем… Вся вечерняя Марьюша пришла в движение.

– Ничего музыка?

Петр заставил себя привстать с бревна. Окрест по вечерним, облитым жарким закатом кустарникам вздымались белые дымы.

– Кто это?

– Единоличники! – Михаил захохотал: понравилась собственная острота. Нет, верно, верно, Петро. Все разбрелись по норам. Каждый свил себе гнездо. Кто в старой избенке, кто в шалаше.

– А почему?

– Почему разбрелись-то? А потому что хорошо робим. Бывало, ты много видал куста на Марьюше? А сейчас ведь еле небо видно. С косилкой не развернешься. Вот и хлопаем вручную. А раз вручную – чего скопом-то жить?

– Н-да, шагаем… – покачал головой Петр.

– Я думал раньше – только у нас такой бардак. П-мое! В Архангельске на аэродроме разговорились – мужик из Новгородской области. "Что ты, говорит, у нас на тракторе еще кое-как до деревни доберешься, а чтобы на машине, на грузовике – лучше и не думай". Куда это мы, Петро, идем, а? – Не дожидаясь ответа, Михаил махнул рукой. – Ну, с тобой, я вижу, каши не сваришь. Может, Калину Ивановича проведаем? – Он указал рукой на небольшой огонек, призывно мигавший в конце свежей просеки, прорубленной через чащу кустарника. – Это я вечор коридор-то сделал. Человеку за восемьдесят – сам знаешь. А когда он у тебя на прицеле, поспокойнее. Верно?

У Петра глаза слипались от усталости, и у него одно было желание сейчас – как бы поскорее добраться до избы, до нар, застланных свежим сеном.

Глава седьмая

Из жития Евдокии-великомученицы

Избенка у Калины Ивановича не лучше и не хуже Мотанихи. Того же доколхозного образца: когда каменку затопишь, из всех щелей и пазов дым. Но местом повеселее – на угорышке, на веретейке, возле озерины, в которой и вечером и утром покрякивает утка: толсто карася. В солнечный день с угорышка глянешь – медью выстлано замшелое дно.

И еще была знаменита эти изба своим шатром – высокой раскидистой елью, которая тут с незапамятных времен стоит, может еще со времен Петра Великого, а может, и того раньше. И с незапамятных времен из колена в колено пекашинцы кромсали эту ель ножом и топором: хотелось хоть какой-либо зарубкой буквой, крестом – зацепиться за ее могучий ствол. И все зря, все впустую. Не терпело гордое дерево человеческого насилия. Все порезы, все порубы заливало белой серой. И подпись Михаила – еще мальчишкой в сорок третьем году размахнулся – тоже не избежала общей участи.

Дунаевы, когда они с Петром подошли к ихнему жилью, чаевничали. Под этой самой вековечной елью, возле потрескивающего огонька и под музыку: Калина Иванович по слабости зрения худо мог читать газеты и вот, как только выдавалась свободная минута, крутил малюсенький приемничек, который ему подарил райвоенкомат к пятидесятилетию советской власти.

– Привет стахановцам!

Калина Иванович в ответ на приветствие гостеприимно закивал и выключил свое окно в большой мир, как он называл приемничек, а Евдокия, злющая-презлющая, только стеганула их своими синими разъяренными глазищами. Понять ее было нетрудно: пришла на гребь, шесть верст прошастала по песчаной дороге, а тут непогодь, дождь – как не вскипеть.

Михаил и Петр, на ходу отряхиваясь, нырнули под смолистые, разогретые костром лапы – под елью никакой дождь не страшен, – присели на корточки возле огня.

– Чего молчишь? Привет, говорю, стахановцам!

– Ты-то настаханил, а мы-то чего?

Зарод за избой, на который кивнула Евдокия, был только начат, от силы три копны уложено – видать, с меткой разобрались как раз перед дождем. Но Михаил, вместо того чтобы посочувствовать, опять ковырнул хозяйку:

– Это Бог-то знаешь за что тебя наказывает? За то, что не с того конца начала.

– Пошто не с того-то? С какого надо?

– С бутылки. Ноне с бутылки дело начинают.

Не слова – булыжники посыпались на голову Михаила: лешаки, сволочи, пьяницы проклятые!.. Всю Россию пропили… И все в таком духе.

Он поднял притворно руки, потянул Петра к скамейке: садись, мол, теперь не скоро кончит.

Скамейка – толстое суковатое бревно на чурках – до лоска надраена мужицкими задами, и вокруг окурков горы: не обходит старика народ стороной.

Калина Иванович, как бы извиняясь за суровый прием жены, предложил гостям по стакану горячего чая и даже пошутил слегка:

– Поскольку ничего более существенного предложить не могу… Жена строгий карантин ввела… На период сеноуборочной…

– Ладно, не тебе по вину горевать. Попил на своем веку!

Калина Иванович смущенно кашлянул.

– Не кашляй, не кашляй! Кой черт, разве неправду говорю?

– Я полагаю, молодым людям неинтересно по нашим задворкам лазать…

– Неинтересно? Вот как! Неинтересно? А у меня эти задворки – жизнь!

– Брось, брось, Савельевна! Знаем твою жизнь. Весь век комиссаришь…

– Я-то комиссарю?

Михаил живо подмигнул Петру (тот, конечно, глазами влип в старика): подожди, мол, то ли еще будет. И точно, Евдокия завелась мгновенно:

– Я весь век комиссарю? Это я-то? Да я всю жизнь ломлю как проклятая! Шестнадцати лет замуж выскочила – чего понимала?

– Да уж чего надо понимала, думаю, раз выскочила…

– Не плети! Он с гражданской приехал – весь в скрипучих ремнях, штаны красные… Как сатана повертывается. Жар за версту. А я что – сопля еще зеленая. Облапошил.

Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия и ему рот заткнула. И тогда Михаил заговорил уже на серьезе:

– Ты характеристику дай, а лаять-то у меня и Лыско умеет.

– Характеристиков-то у его ящик полон, в каждой газете к каждому празднику пишут, а я про жизнь сказываю.

– Но, но! – Михаил даже брови свел. – Про жизнь… А один человек целый монастырь взял – это тебе не жизнь?

Петр вопросительно поглядел на Калину Ивановича, на него, Михаила, видно, не очень-то знал эту историю, – и Михаил решил свое слово сказать, а то Евдокия – вожжа под хвост попала – все в одну кучу смешает, из ангела черта сделает.

– В гражданскую, в одна тысяча девятьсот двадцатом дело было. Отступали наши. А в монастыре рота караульная восстала. Пулеметы, пушки на стены выкатили – ну нет ходу. А сзади, понятно, беляки, интервенты. Три раза наши на приступ ходили, да разве пробьешь

стены каменные? А Калина Иванович пробил. Один. Ночью в монастырь через стену залез – и в келью, где этот заправила, ну, главарь ихний, в архиерейских пуховиках разлегся… Понял? Наган в спину: иди, сволочь, открывай ворота! Вот так, таким манером был взят монастырь, А ты говоришь – облапошил, – Михаил строго, без шутки поглядел на Евдокию. – Да за такого облапошельщика любая пойдет!

– Ладно, – сказала Евдокия, – и я не из последних была. Косяками парни бегали – кого хошь спроси, скажут.

И это так, можно поверить. Старуха по годам, когда уж на седьмой десяток перевалило, а какая баба в Пекашине, ежели хочет, чтобы на нее посмотрели, о празднике рядом с нею станет? Высокая, рослая, румяная, зубы – как белые жернова, ну а глаза, когда без грозы, – небеса на землю спустились. Только редко, минутами у Евдокии бывает синь небесная в глазах, а то все молоньи, все разряды, как будто внутри у нее постоянно землетрясенье клокочет, вулкан бушует.

Вот и сейчас – долго ли держала язык на привязи? Загремела, загрохотала – все перестали вмиг слышать: и дождь, и потрескиванье огня, и кваканье лягушек– разорались проклятые, не иначе как сырость накличут.

– Облапошил! Как не облапошил. Ну я глупа – велики ли мои тогда годы. Явился как незнамо кто… Как огонь с неба пал. При ордене. Тогда этих орденов, может, на всю Пинегу два-три было. А как речь-то в народном доме заговорил про нову жизнь – у меня и последний ум выскочил. Ну просто сдурела. Делай со мной что хошь, свистни только – как собачка побежу, красу девичью положу… Вот какое затемненье на меня пало! – Евдокия всегда резала правду-матку, всех на чистую воду выводила, но и себя никогда не щадила.

– А может, затемненье-то не только на тебя пало, а может, и на него? плутовато подмигнул Евдокии Михаил: его опять на игривость потянуло.

– Черта на него пало! Кабы пало, разве бы молодую жену в деревне оставил? А то ведь он недельку пожил, ребенка заделал да на города – штанами красными трясти. Не пожимай, не пожимай плечиками! – еще пуще прежнего напустилась на мужа Евдокия. – Пущай знают, какой ты есть. Все всю жизнь: "Дунька-сука! Дунька-угар! Бедный, бедный Калина Иванович, весь век в страданье…" А того не знают, как этот бедный эту самую Дуньку тиранил? Это теперь-то он тихонькой да сладенькой, старичок с божницы, а тогды – ух! Глазами зыр-зыр – мороз у тебя по коже. А хитрости-то, злости-то в ем сколько было! Это ты зачем захомутал меня в шестнадцать-то лет? "Полюбил я навеки, полюбил навсегда…" Как бы не так. Старики были не пристроены, старики да девка – меня черт за вдовца понес (жену-то, бедную, насмерть белые замучили за то, что он монастырь с изменщиками взял), ровно в два раза старше, дочерь на двенадцатом году, мне в сестры годится, вот он и нашел дурочку, на которую все свалить…

Тут Калина Иванович, до сих пор снисходительно, с легкой улыбкой посматривавший на свою распалившуюся жену, поднял голову, повел седой бровью – и права, права Евдокия, подумал Михаил: умел когда-то старик работать глазом. Но разве лошадь, закусившую удила, посреди горы остановишь?

– Да, да! Так говорю. Нашел дуру глупую: сыты, накормлены старики, обмыта дочь и сам гуляй на все четыре стороны! Я год живу, три живу в деревне, убиваюсь, ломлю за троих – здорова была. Муж в год на недельку заглянет, мне и ладно. Думаю, так и надо. Да! Потом та, друга на ухо: "Чего ты, женка, с мужиком нарозь?.. Смотри, Авдотья, наживешь беду". А подите вы к дьяволу! У меня мужик чуть не первый начальник в городе, революции служит, новую жизнь

строит – слушать вас, шептунов, не хочу. Служит он… Строит нову жизнь… Да с кем? Со стервой крашеной, с буржуйкой рыжей! Ох, сколько у меня эта сука-белогвардейка жизни унесла, дак и страсть. Ведро крови выпила…

– Белогвардейка?

Евдокия не раз и не два выворачивала перед Михаилом свое прошлое, но, помнится, про белогвардейку не говорила.

– Ну, ученая, чики-брики, на высоком каблучку. Не деревенская же баба. Да! Не хочу своего серого. Подай мне чистенькую, беленькую. С деколончиком. Ну не то мне сейчас обидно, что он мине изменил да продал – все вы, прохвосты, одинаковы! – а то мне обидно да нож по сердцу, что у меня-то тогда где ум был? Нынче баба-то учуяла: мужик загулял – вмиг оделась, обулась, на самолет, меры принимать. А мне Марья Николая Фалилеевича сказала – начальником милиции в городе служил: "Дуня, говорит, спасай себя и Калину, пока не поздно". Ни с места. Страда! Кто за меня с полей да с пожен убирать будет? Да, вот какая у меня сознательность была. Можно, думаю, с такой сознательностью коммунизм делать… Ладно, с пожнями, с полями рассчиталась, собралась в кои поры в город. Все правда, все как на бумаге. Ничего не соврано. За порог не успела перешагнуть – уборщица, Окулей звали: "Дуня, что ты наделала! Ведь ты разорила себя". А в комнату-то вошла – так и шибануло, так и вывернуло меня наизнанку. Постель не прибрана, в развал, подушка вся в помаде, в краске, деколоном разит… Ну, окошко открыла, сгребла все с кровати – к дьяволу, к лешакам! На полу, на голых досках спять буду, только не в этой грязи. А тут и он, грозный муж, вваливается: "Что делаешь? Кто тебе разрешил тут порядки наводить?" Вот как он меня встретил. Ребенок на кровати – не взглянул даже. "Приехала к законному мужу законная жена".

– Это ты сказала? – Михаил с сочувствием, чуть не с нежностью взглянул на Евдокию.

– Я.

– Вот тебе и серая баба. Нашлась.

– Найдешься, коли за глотку схватят.

Тут свою принципиальность решил показать Петр. Вскочил с бревна и волком на брата – это Петр-то! Как, мол, ты такое терпишь? О таком человеке и так говорят? А чего говорят? Подумаешь, собственная жена кое-какие не очень героические страницы из его автобиографии проявила.

– Сядь! – приказным голосом сказал Михаил. – С тобой, так сказать, опытом жизни старшие поколения делятся, а ты копытом бить.

– Это не опыт, а дурость наша, – тихо заметил Калина Иванович.

– А-а, дурость! У тебя дурость, а у меня от етой дурости жизнь враскат. Ничего, ничего, ноне не с тебя одного позолоту сымают. Сталин уж на что вождь был – и то не смолчали. А тебя-то тогда еще надо было на чистую воду, на прикол взять. Не потерял бы орден, не исключили б из партии.

Петр вытянул шею и глаза колесом: ничего подобного не ждал. И Калину Ивановича зацепило. То сидел все с эдаким умственным видом, чуть ли не с улыбочкой поглядывая на свою разбушевавшуюся жену: пускай, мол, выскажется, душу отведет, раз такие струны в сердце заиграли, – а тут вдруг заводил старой головой. Еще бы! Такими снарядами начали бить.

Правда, Михаилу все это было не внове, он еще и не такие слыхал при своего знатного соседа. Ну а Петр? Как Петра, как молодое поколение – Калина Иванович любил торжественно выражаться – оставить в неясности?

И Калина Иванович дал разъяснение:

– Я тогда действительно в сложный переплет попал. Не разобрался сразу в политической борьбе двадцатых годов – ив результате серьезный срыв в личной жизни…

– Поняли, нет, чего? Запоя не было, ордена не терял, со шлюхой буржуйной не знался – только срыв в личной жизни. Ладно, срыв дак срыв. Только кто тебя из этого срыва выволакивал? Друзья-товарищи? Нет, я – баба серая. Терпела-терпела, ждала-ждала: уймется же дале. Надоест же ему когда-нибудь это винище! Ведь до чего дошло – с подзаборниками спознался, все сапоги, все галифе пропил. Нет, вижу, не дождаться. Во все колокола звонить надо. Пошла до самого высокого начальника в главную партейную контору. Так и так, говорю, человек всю гражданскую войну за советскую власть ломал, сколько крови пролил, белые жену до смерти довели, а тут оступился – все отвернулись. Да разве, говорю, это дело? Шкуры вы, говорю, после этого, а не коммунисты.

– Так и сказала?

– Та-ак. Где, говорю, тут у вас человек человеку брат и друг? А секретарь, хороший, Спиридонов фамилия, из ссыльных в царское время, смеется: "Ладно, говорит, дадим ему путевку в нову жизнь, а тебе спасибо, товарищ Дунаева. Всем бы таких жен иметь…" Да, не вру… Ну, чего там было, давал, нет накачку Спиридонов – не знаю: этот жук некак и скажет. Только на другой день является домой как стеклышко. Трезвый – за каки-то времена! "Все, Дуня, нову жизнь начинаем. В коммуну поедем". Ладно, в коммуну дак в коммуну, а покуда вот тебе мочалка, вот тебе веник– в баню отправляйся. Да! Раз нову жизнь начинать, сперва себя отмой да отпарь, сперва себя в чистоту приведи. А то ведь он, когда запил-то, опять с той сукой буржуйкой связался. И вот как в жизни бывает! Только мы это на нову-то жизнь наладились – она. Прямо в дверях выросла, сука. Как, скажи, чула все. В шляпке. С сумочкой. И деколоном разит – с души воротит. "А, поздравляю, говорит. Опять на деревенщину потянуло". Ну, тут врать не стану. Ногой стоптал: "Это, говорит, не деревенщина, а моя законная жена. А ты, говорит, марш к такой матери! Чтобы духу твоего здесь никогда не было".

Евдокия шумно выдохнула из себя воздух, вытерла лицо клетчатым с головы платком. Щеки у нее пылали. Ничего вполсилы не делала. Всему отдавалась сполна: хоть работе, хоть разговору. Потом глянула по сторонам – и на старика:

– Чего не скажешь? Дождя-то кабыть больше нету?

– Не кипятись, – сказал Михаил. – Первый раз на пожне? Мокрое сено будешь валить в зарод? Давай выкладывай про коммуну.

– А чего про коммуну выкладывать? Где она, коммуна-то? – Евдокия опять поглядела на пожню и то ли от обиды, что нельзя метать – с еловых лап капало, – то ли оттого, что внезапно перед глазами встало прошлое, опять завелась: – Где, говорю, коммуны-то? Людей сбивали-сбивали с толку, сколько денег-то государство свалило, сколько народу-то разорили (мы ведь выкупали дом-от! Да, свой дом выкупали, две тысячи платили) – стоп, поворачивай оглобли. Больно вперед забежали. Не туда заехали. Не туда шаг сделали. А куда? В какую дыру? В лес дремучий. На Кулой, где не то что человек медведь-то не каждый выживет. – Евдокия покачала головой. – Да, через все прошла. Через леса и степи, через пустыни и болота. От жары

погибала, песком засыпало, на Колыме замерзала. Ну а как ехала в коммуну "Северный маяк" – не забыть. Сейчас маячит. Сам поскакал-полетел налегке, прямо из города, на другой же день грехи замаливать, думает, и в коммуну ворота закроют, ежели на день опоздает, а жена домой. Жена вези хлеб да пожитки. Все до нитки приказал: не жалко, не сам наживал. Свекрова, покойница, как услыхала – в коммуну записались (свекра, того уж в живых не было): "Нет, нет, никуда не поеду. Сама не поеду и внучку на муки не дам. На своей печи помирать буду". Братья, суседи меня разговаривать: насмотрелись на эту коммуну, своя за рекой, в монастыре. А я реву да в дорогу собираюсь. У меня мужнин приказ, да. Ладно, собралась, поехала. Осень, грязища, снег над головой ходит. Телегу запрягла, на телегу сани. Впрок, про запас. Думаю, зима застанет – у меня сани есть. Ладно, дождь сверху поливает, корова на веревке, на руках ребенок: на воз не присесть – с лесами вровень хлеба наложено. Кто встретит, кто увидит – крестятся. Думают, грешница какая але чокнулась, с ума сошла. А один старичок, век не забуду, вынес берестышко: "На-ко накройся, бедная. Парня-то нарушишь..." – И Евдокия вдруг отчаянно разрыдалась.

Так всегда. Как только дойдет до сына единственного, убитого на войне в сорок третьем году, так в рев, так в слезы. И тут бесполезны разговоры и уговоры. Жди. Дай выплакаться.

– Вредительство! Самое настоящее вредительство! От неожиданности Евдокия как топором рубанула – Петр вздрогнул. А Калина Иванович, тот гнуть свое. Ангельское терпение было у старика. По часам могла молотить Евдокия молчал. Иногда даже Михаилу казалось – спит старик. Просто с открытыми глазами спит. Но вот разбушевавшаяся Евдокия что-то ляпнула не так, дала перекос насчет политики – и ожил.

– В те времена, – сказал Калина Иванович, – частенько наши неудачи и промахи списывали на вредительство.

– Ничего не списывали. В диком лесу, на глухой реке коммуну затеяли как не вредительство? При мне сколько ни сеяли, сколько ни пахали, не доходило хлеба. Все убивало морозом.

– В смысле практическом, – вынужден был признать Калина Иванович, действительно был допущен некоторый недосмотр. Но у нас мечта была – чтобы все заново. Чтобы именно в диком лесу, в медвежьем царстве зажечь маяк революции...

– Слыхали? Одна баба тоже без броду за реку хотела попасть – что вышло? Ох, да что говорить! – Евдокия махнула рукой. – Собрались портфельщики, всякая нероботь – какая тут жизнь? Хороший хозяин начал обживать новое место – об чем первым делом думает? Как бы мне скотину под крышу подвести да как бы себе како жилье схлопотать. А у них скотина под елкой, сами кто где – кто с коровой вместях, кто в бараке, – красный уголок давай заводить. Да! Чтобы речи где говорить было. Ох и говорили! Ох и говорили. Я уж век в речах живу, век у нас дома люди да народ, а столько за всю жизнь не слыхала. До утра карасий жгут, до утра надрываются. Иван Мартемьянович в кой раз больше не выдержал: "Товарищи коммунары, которые люди днем работают, те по ночам спят. И нам бы спать надо..." Заклевали, затюкали мужика: "Темный... Неграмотный... Сознательности нету... На старину тянешь..." Да, не вру. Я в этот «Маяк» заехала – короба, лукошки одежды, а оттуда вышла в одной рубахе. И та рвана. Все поделила, все отдала.

– Налегке лучше, – пошутил Михаил.

– Да, пожалуй. Мы, как цыгане, как перекати-поле, покатились на юг. На всех стройках побывали, все пятилетки на своих плечах подняли, до самых киргизцев, до границы дошли...

Евдокия опять сняла с головы плат, чтобы вытереть запотевшее лицо, и вдруг вскочила на ноги.

– О, к лешакам вас! Сижу, языком чешу, а того не вижу, что солнышко в спину барабанит.

Калина Иванович не бросился сразу вслед за женой – дал выдержку. Посидел, даже руками поразводил: извините, дескать, такой уж характер, такой уж норов, – и только после этого начал подниматься.

Не ахти какая картина – восьмидесятилетний старик, волокущий свои старые ноги в кирзовых сапожонках по мокрой выкошенной пожне. Но было, было что-то в этом старике. Притягивал он к себе глаза. И не на березы, не на солнце, не на Евдокию, уже орудовавшую вилами у зарода, смотрели сейчас Михаил и Петр, а на старика. На Калину Ивановича.

– А ты знаешь, как Петр Житов его зовет? – вспомнил вдруг Михаил. Эпохой. Бывало, увидит – Калина Иванович под окошками идет, сразу команду: "Тихо! Эпоха проходит мимо".

– Хорошо, что Петр Житов понимает это, – буркнул Петр.

– Ясно. Петр Житов понимает, а брат твой ни бум-бум? Ты чего хочешь? Чтобы я на каждом шагу: герой, герой, на колени падал?.. А этот герой, между прочим, еще исть-пить хочет, и чтобы в избе теплецо зимой было. А кто – ты его дровами выручаешь? А в бане обмыть надо? Вот я этими руками грязь смываю с его героического тела, на полку парю…

Михаил поглядел на отчужденное, закаменевшее лицо брата, хлопнул дружелюбно по плечу:

– Ладно, не считай меня за круглого-то идиота. Я хоть и сижу по самое брюхо в земле, а к небу-то тоже иногда глаза подымаю. Понял?

Глава восьмая

1

Нервная, сеногнойная пошла погода.

С утра жгло, калило, коршуны принимались за работу – красиво, стервецы, вычерчивали свои орбиты в небе, – кошеница начинала сенным духом томить казалось, вот-вот надо браться за грабли. Нет, из-за леса выкатилась тучка одна, другая, дунул, крутанул ветришко, и вот уже залопотали, завсхлипывали березы.

И ведь что удивительно! Кабы так везде, по всем речкам. А то только у них на Марьюше.

Измотанный, издерганный ненастьем Михаил только что не запускал в небо матом: четыре гектара было свалено самолучшей травы – и четыре гектара гнило. Просто на глазах белела выкошенная пожня.

Душу отводили у Калины Ивановича, благо Евдокия из-за козы, сломавшей ногу, в эти дни сидела дома. Игнат Поздеев, Филя-петух, Аркадий Яковлев, Чугаретти – все хорошо знакомые Петру, заметно постаревшие, все, кто сенокосил на Марьюше, сходились под вечер к старику.

Сидели под елью, жгли сигареты и папиросы, ерничали, заводили друг друга, травили анекдоты, иногда слушали «клевету» (Михаил частенько захватывал с собой транзистор), а больше перетряхивали жизнь – и свою пекашинскую, и в масштабах страны, и в масштабах

всего шарика.

Да, и шарика. А что? Газеты читаем, радио слушаем, людей, которые бывали за границей, видали – имеем понятие? А потом, кто мы теперь – ха-ха? Его величество рабочий класс. Гегемон. Хозяин страны. Положено, черт возьми, ворочать мозгой?

Ух и заводились! Ух и вскипали!

Почему, почему, почему… Целый лес «почему»!

Ничего нового для Петра в этих кипениях, пожалуй, не было. Где теперь не говорят об этом! Вся Россия – сплошная политбеседа.

Но Калина Иванович – вот с кого не спускал Петр глаз!

Он ведь раньше думал: комиссары, гражданская война – все это древняя история, обо всем этом только в книжках прочитать можно. И вдруг на тебе живой комиссар. Да где! У них на Марьюше, в сенной избушке. С косой, с граблями в руках.

Распаленные мужики трясли и рвали Калину Ивановича нещадно: дай, ответ. А как давать ответ, когда он сам ни за что ни про что столько лет отстукал в местах не столь отдаленных!

Калина Иванович отвечала моя эпоха, я в ответе. И даже в том, что его самого за проволоку посадили, даже в этом видел собственную вину. Так и сказал:

– Да, в этом вопросе мы недоглядели.

Однажды, когда страсти особенно раскалились, Филя-петух, не без страха поглядывая по сторонам, заметил:

– Вы бы потише маленько, мужики. Вишь ведь, ель-то даже притихла – в жизни никогда такого не слыхала.

– Слыхала, – сказал Калина Иванович. – Тут жаркие разговоры бывали.

– Когда?

– А когда царское правительство политических на Север ссылало. У нас в Пекашине в девятьсот шестом году двадцать пять человек было.

– Это ссыльных-то двадцать пять человек? В Пекашине? – Чугаретти, лицо черное, как у негра, голова седая ежиком, подсел поближе к Калине Ивановичу.

Легкая, чуть приметная улыбка тронула впалый аккуратный рот старика:

– Я тогда еще совсем молодым был, лет семнадцати, и, помню, тоже побаивался.

– Крепко высказывались?

– Крепко. Большой замах был. А зимой, когда их словесные костры разгорались, можно сказать, арктические холода от Пинеги отступали…

2

Ассамблеи под елью – Игната Лоздеева придумка – обычно заканчивались пениями.

Пели про Стеньку Разина, про Ермака, пели старые революционные: "Смело, товарищей, в ногу", "Наш паровоз, вперед лети" и непременно "Ты, конек вороной" – любимую песню Калины Ивановича.

Запевал Игнат Поздеев – у этого зубоскала-пересмешника с длинной, по-мальчишечьи стройной шеей красивый был тенор. Тихо, мягко, откуда-то издалека-далека, будто из самых глубин гражданской войны, выводил:

Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала…

Потом вступали остальные.

Удивительно, что делала с людьми песня!

Еще каких-то десять – пятнадцать минут назад сидели, переругивались, язвили друг друга, а то и кулак увесистый показывали, а тут разом светлели лица, голоса сами собой приходили в согласие, в лад.

Калина Иванович тоже подпевал, хотя его старого, надтреснутого голоса почти не было слышно. Но подпевал, пока дело не доходило до его любимого «Конька». А запевали «Конька» – и он плакал. Плакал беззвучно, по-стариковски, не таясь, не скрывая слез.

И тогда Петр вдруг замолкал и видел только одно лицо – лицо Калины Ивановича, старое, мокрое, озаренное пламенем костров – нынешнего, живого, и тех далеких-далеких, что горят в веках.

3

Часом-двумя позже они лежали в своей избе.

В темном углу у дверей металась малиновая папироска, слова летели оттуда раскаленными ядрами – Михаил всю жизнь прожитую выворачивал наизнанку.

А Петр молчал. Он не мог говорить. Он все еще был в песне, в молодости Калины Ивановича и, как молитву, шептал про себя предсмертные слова юного комсомольца:

Ты, конек вороной, – передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

Калине Ивановичу в гражданскую войну было столько же, сколько ему сейчас, даже меньше, а какие дела творил! На каких крыльях парил! И жалкой и ничтожной представлялась Петру собственная жизнь.

ФЗУ, армия, ученье, работа на заводе… А еще что? Еще чем вспомнить свою молодость? Сверстники ехали на целину, на стройки, шатались по Крайнему Северу, Сибирь собственными ногами мерили, а он, как собака на цепи, возле больного брата…

– Кой черт молчишь? – Михаил заорал уже так, что песок посыпался со старого потолка. – Почему, говорю, после войны людей досыта нельзя было накормить? Боялись, что советский человек вместе с буржуйским хлебом буржуйскую заразу проглотит? Але тебя это не касается?

Ты не голодал?

– Да не в голоде дело! – Петр тоже вспылил.

– Не в голоде? В чем?

– В чем, в чем… В гражданскую войну тоже немало голодали. Четвертушку хлеба получали. А про голод сегодня пели?

– А-а, дак ты вот о чем… – Михаил немного помолчал. – Песни-то мы все умеем петь. А тебя учили, я думаю, не песни петь…

Петр не сумел толком ответить. Он всегда терялся, когда брат взрывался и начинал кричать. Да и в двух словах тут не ответишь. О разном думали они сейчас с братом.

Михаил вскоре захрапел – он не любил неопределенности: говорить так говорить, спать так спать, – а Петр еще долго лежал с открытыми глазами.

Под ухом надоедливо попискивал заблудившийся в темноте комарик, поднять бы руку, прихлопнуть – заворожила песня, околдовали слова:

Он упал возле ног у коня своего
И закрыл свои карие очи.
"Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих".

И он, взрослый человек с залысинами на лбу, с отчетливо наметившейся проталинкой на темени, отчаянно завидовал молодому, безвестному, безымянному пареньку, его славной смерти.

Была белая ночь, когда он вышел из душной избы. Лежавший в сенцах у порога пес вскинул было голову и тотчас опустил: не хозяин.

Он перешагнул за порог. Холодная зернистая роса омыла босые ноги, разгоряченное тело зябко свело от ночной свежести.

Тихо, так тихо, как бывает тихо только в белую ночь.

Избушку Калины Ивановича на том конце просеки из-за тумана не видать. Но сама просека не в тумане. И белые верхушки наспех срубленного Михаилом кустарника горят в алом свете непотухающей зари, как кавалерийские пики…

Да, думал Петр, пройдут года, пройдут века. Будет все та же белая ночь, будет все та же Марьюша, наверняка расчищенная, разделанная, без этого нынешнего позора и запустения, а что останется от них, от людей? О них какую будут петь песню?

4

Сеногной кончился к пятнице. Огнистое светило с самого утра утвердило себя в небе и ни с места. Никаких уступок мокряди.

Сеноставы на Марьюше ожили, а Михаил, тот просто помолодел. Все дни были зарубы поперек лба, а теперь растаяли, смыло потом.

Но вот пошли времена! В субботу – шабаш. До обеда гребли, метали, делали каждый что надо, а с обеда запокрикивали: "Родька, Родька! Где Родька?"

– Да, так у нас ноне, – сказал Михаил. – Сев не сев, страда не страда, а в субботу двенадцать часов пробило – домой. В баню. А в воскресенье, само собой, вылежной.

– Но ведь есть постановление: в страдные дни рабочий день увеличивается, а отгул потом.

– Постановление… Постановление есть, да нынче люди сами постановляют…

Родька, конечно, перво-наперво подкатил к ним. И как подкатил! Напрямик, через ручьи и грязи, где и на телеге-то не скоро проскочишь.

Михаил, когда услыхал надрывный вой и моторные выстрелы рядом в ольшанике, взвыл:

– Ну, сукин сын, завязнет! Придется всей Марьюшей вытаскивать.

Не завяз. Вырвалась из кустов машина – вся по уши в грязи, но с красной победной веточкой смородины на радиаторе.

– Тпру! – закричал Михаил весело. Он любил лихачей.

Родька еще поддал жару: сделал разворот во всю пожню. Перемял, перепутал грязными колесами все несгребенное сено. И Петр подумал: ну, сейчас достанется парню.

Слова не сказал Михаил – только головой покачал.

Родька выскочил из кабины – глаз черный блестит и улыбка во все смуглое запотелое лицо.

– Привет, привет, племянничек! – сказал Михаил, протягивая ему руку, и тоже начал улыбаться. Петра Родька тоже зачислил в свои родственники:

– Как жизнь молодая, дядя Петя? Не свои, чужие слова, даже фамильярные, а Петру было все-таки приятно.

– Ну, чаем тебя напоить, Родион? – спросил Михаил.

– Нет, нет! – Родька замахал обеими руками. – У меня еще сколько объектов! – Затем повертелся-повертелся чертом и вдруг – бутылку. Выхватил неведомо и откуда. Как фокусник. – А это тебе, дядя Миша. Персональный подарочек от меня.

– Ну это ты зря, зря, Родион. Ни к чему, – запротестовал было Михаил, но бутылку в конце концов принял: парень неплохо зарабатывает – не разорится.

Через минуту Родька уже восседал за рулем.

– Собирайтесь! А я моменталом. Через полчаса буду у вас.

– Я, пожалуй, воздержусь, – сказал Михаил. – И без меня полный кузов наберется. А вот его забери. – Михаил с доброй усмешкой кивнул на Петра. Он ведь там, в городе, тоже привык к выходным.

– Ну это как сказать…

– Ладно, ладно, пошутить нельзя. Поезжай. Чего тут париться. Недельку повтыкал – и хватит.

Глава девятая

1

Родька подкатил к самому дому, и Петр, выскочив из кабины, только что не попал в объятия к своим.

Все – сияющая сестра с зареванными двойнятами на руках, кротко и, как всегда, виновато улыбающийся брат, Мурка, молоденькая черная кошка с белыми передними лапками, – все вышли встречать его. Встречать как своего кормильца, как свою опору, и вот когда он почувствовал, что у него есть семья…

– Что долго? Мы ждем-ждем, все глаза проглядели. У нас и баня вся выстыла.

Баня, конечно, не выстыла. Это сестра выговаривала ему по привычке, для порядка, и каменка зарокотала, едва он на нее плеснул.

Он не сразу решился взяться за веник. Прокалило, до самых печенок прожгло за эти дни, и уж чем-чем, а жаром-то он был сыт. Но свежий березовый веничек, загодя замоченный сестрой, был так соблазнителен, такая зеленая, такая пахучая была вода в белом эмалированном тазу, что он невольно протянул руку, махнул веником раз, махнул два – и заработал…

Его шатало, его покачивало, когда он вышел в открытые, без дверей сенцы. Семейка молоденьких рябинок подступала к старенькому, до седловины выбитому ногами порожку, на который он сел. В прогалинах зеленого кружева листвы сверкала далекая, серебром вспыхивающая Пинега, лошадиное хрумканье доносилось снизу, из-под угора, и так славно, так хорошо пахло разогретой на солнце земляникой…

Вдруг какая-то тень пала сверху на Петра. Григорий… Григорий вышел на угор…

Петр, пятясь, отступил в глубь сенцев, потом отыскал в пазу щель, припал к ней глазами, но Григория на угоре уже не было.

Зачем он приходил? Просто так на угор вышел, на реку, на подгорье взглянуть, как принято это в Пекашине? Или его проведать? По нему соскучился?

Когда у Григория начались припадки, врачи у Петра долго допытывались, не было ли у его брата какой-либо травмы черепа, ушиба. "Нет", – ответил Петр.

А сейчас бог знает почему вдруг вспомнил давнишнюю историю. Вскоре после того как они вернулись из армии, они с братом как-то работали в доке на сварке старого суденышка, а точнее на сварке поручней на верхней палубе. Работа, в общем-то, была ерундовая, и они не больно-то беспокоились о технике безопасности. Какую-то дощонку приладили сбоку, и все. И вот вдруг, когда уж поручни были почти сварены, Петр поскользнулся на этой, оледенелой дощонке (осенью дело было, в октябре) и с пятиметровой высоты полетел в ледяную воду. К счастью, все обошлось довольно благополучно, он отделался, как говорится, легким испугом, но когда он стал загребать руками, кого же увидел рядом с собой? Григория. Тот бросился вслед за ним, не раздумывая ни секунды.

Пользы от этого мальчишества, конечно, не было никакой, но сейчас, вспомнив этот случай, Петр вдруг подумал: а не с того ли самого времени началась болезнь у брата?

И еще он подумал сейчас: а сам он, если бы такое случилось с Григорием, сам он смог бы вот так же безрассудно, очертя голову броситься вслед за братом?

Ответа на этот вопрос он в себе не нашел, и тоска, тяжелая тоска навалилась на него, и все сразу вокруг как-то померкло.

2

Три дня разлагался Петр. Ходил на реку, купался, валялся в поле, в тени под старой лиственницей, пробовал читать «роман-газету». Модно, почетно теперь в деревне иметь ее. Как сервант, как приемник, как ковер на стене. И у Михаила скопилась целая стопа пестрых книжек из этой серии. Новеньких, нечитанных! Но и Петр не очень залохматил их за эти дни. Страниц пять первых одолеет, ткнется глазами в середину, в конец – и в сторону. Все вроде бы правильно, речисто, а читать не хочется. И глаз сам собою тянулся к зеленой травинке, щекочущей кончик носа, к трудяге муравью, который для какой-то своей надобности с муравьиной основательностью и дотошностью изучал его морщинистую ладонь, к пузатому, разодетому в золото шмелю, беспечно, как в гамаке, покачивающемуся на белом душистом зонтике морковника.

Но больше всего, лежа вот так в траве под лиственницей, Петр любил смотреть на коня – на это деревянное чудо на крыше ставровского дома.

За эти дни он вдоль и поперек исходил, излазил дом. И его поражала добротность и основательность работы (он сам как-никак плотницкую академию ФЗУ – кончил), поражал лес, из которого выстроен был дом. Отборный. Безболонный. Снаружи немного подгорел, повыветрел – шестьдесят лет все-таки постройке, – а изнутри как новенький. Янтарный. Звоном звенит. И Петр любил, проснувшись поутру (он один спал в передних избах-горницах), подать голос, и голос гулким эхом раскатывался по пустым, ничем не захламленным избам. Эхом. Как по лесу на вечерней и утренней заре. И если бы он не знал вживе Степана Андреяновича, хозяина этого дома, он не задумываясь сказал бы: тут жил богатырь – до того все было крупно, размашисто – поветь, сени, избы. Хоть на тройке разъезжай. И какими скучными, какими неинтересными казались нынешние новые дома – однообразные, предельно утилитарные, напоминающие какие-то раскрашенные вагоны. И, увы, дом Михаила, может быть лучший из всех новых домов, тоже не был исключением.

А может, и в самом деле раньше жили богатыри? – приходило на ум Петру. Ведь чтобы выстроить такие хоромы – название-то какое! – какую душу надо иметь, какую широту натуры, какое безошибочное чувство красоты!

Петр дивился себе. Родился, вырос среди деревянных коней – с редкого пекашинского дома, бывало, не глядит на тебя деревянный конь, – а не замечал, проходил мимо. Мал был? Глуп? Кусок хлеба все заслонял на свете? Или для того, чтобы запело в твоей душе родное дерево, надо вдосталь понюхать железа и камня, подрожать на городских сквозняках?

Он запомнил ту весну, когда Степан Андреянович начал вырубать из матерой, винтом витой лиственницы этого коня, запомнил, как они с братом Григорием ножиками соскребали с комля кусочки розовой ароматной серки (никакая заграничная жевательная резинка не может сравниться с ней!), запомнил то время (они как раз тогда с братом прибежали из училища), когда охлупень с конем, уже готовым, вытесанным, лежал на белых березовых плашках у стены двора.

И вот сколько лет с тех пор прошло? Двадцать? Двадцать два? А конь нисколько не постарел –

ни единой трещины в его необъятной шарообразной груди.

Но невесело, тоскливо смотрит деревянный конь со своей высоты. Отчего? Оттого что остался один во всем Пекашине? Один из всего былого деревянного стада?

Петр решил отстраивать старый пряслинский дом.

3

Лиза, когда он объявил о своем решении, только что не расплакалась от радости: кому не хочется, чтобы родной дом зажил заново. А потом, разве худо запасные стены иметь? Один Бог знает, как у кого сложится жизнь. Может, еще и им с Григорием в Пекашине придется помыкать. А когда стены да крыша наготове, никакой заботушки.

Но, поразмыслив, она покачала головой:

– Нет, не советую, Петя. Там все сгнило, обветшало – ты и отпуска не увидишь с этим домом.

– Увижу! Отпуск у меня большой – за два года.

– Все равно не советую. Надо бревна, надо тес – где возьмешь? А коли охота топориком помахать, поправь лучше мне воротца назади. Который год как собаки лают да по земле волочатся.

Петр тут же на глазах у сестры расправился с воротцами – как новехонькие забегали по толстой смолистой чурке, врытой в землю, – а затем топор на плечо и на родное пепелище.

Осмотр дома – плотницкий – он начал почему-то со двора. Может быть, потому, что чувствовал свою вину перед Звездоней – в прошлый раз, когда были тут с Лизой, даже не вспомнили про свою кормилицу, а уж им ли, Пряслиным, про нее забывать?

Он не спеша, со знанием дела выстукал обушком топора стены двора изнутри и снаружи – вполне терпимы оказались, – затем, чтобы покончить с задней частью дома, поднялся на поветь, где они когда-то в летние ночи спали всей семьей, и там проделал то же самое, затем залез на избу, на чердак и вот тут застрял: на семейный архив Пряслиных наткнулся – целый ворох бумаг и бумажонок, которые сюда сваливали годами.

И чего только не было в этом архиве!

Налоговые извещения и обязательства на мясо, на молоко, на шерсть, на яйца, которые в Пекашине не все даже и в глаза-то видали, потому что сроду кур не было; ихние с Григорием школьные тетради, сшитые из тогдашних толстых, как обертка, газет (да, на газетах писали они свои первые буквы, первые слова); какие-то почти совершенно выцветшие письма, среди которых он напрасно пытался отыскать хотя бы одно фронтовое письмо отца; вдрызг затрепанные и растрепанные книжонки и брошюры тех давних лет и в числе их "Краткий курс истории ВКП(б)" – книга комсомольской молодости Михаила да отчасти и ихней с Григорием…

Долго Петр перебирал все эти бумаги, которые когда-то были ихней жизнью, а потом наконец снова взялся за топор, снова, как дотошный доктор, начал выстукивать и выслушивать каждое бревнышко, каждую доску старого дома.

Работа, что и говорить, предстояла немалая. Крыша выгнила начисто, вся, до единой тесницы. Бревна под окошками – вечно текло на них с рам – тоже пропали. И совершенно заново надо

было набирать сени, крыльцо.

Но не теперь сказано: глаза страшатся, а руки делают. А потом, черт побери, какой он породы? Разве не пряслинской? Разве через такие заломы и завалы ему приходилось проламываться в жизни?

4

Его первая тропа как строителя пролегла к совхозной конторе: пока не обеспечена, как говорится, материальная база, нечего и топор в руки брать.

Однако Таборский, когда он заговорил насчет теса (тес – голова всякой стройке), только заулюлюкал:

– Да ты что? Откуда такой взялся? С лунной тележки свалился? Нет, паря, мы бы теску этого самого сами где купили, да адреса не знаем. А ты с тесом-то чего хочешь робить? Похоронное бюро открываешь? – И опять взрыв крепкого, румяного смеха. – Это у нас Петр Житов придумал. Кредиты выбрал у старух начисто – что делать? Как снова раскарманить? Нашел! Ставь бутылку, а я домовину тебе сделаю, когда Богу душу отдашь. И понимаешь, кое-кто из старушек клюнул: охота полежать в хорошем гробике, золотые руки у мужика.

Таборский покосился прищуренным глазом на солнце, размял затекшие плечи.

– С теском-то, говорю, чего задумал робить? Ежели Лизавета там чего в части ставровского дома собирается колдовать, то мой совет не торопиться.

– Это почему же? Из-за претензий Анны Яковлевой?

– Хотя бы. Бориса ейного видал? Доказательства, как говорится, на лице…

Петр не стал дожидаться, когда Таборский перейдет на жеребятину – у того шало, похабно заиграл глаз.

– Я над своим домом собираюсь поколдовать.

– Это что – старую-то развалюху из пепла подымать? – И Таборский широко зевнул. – Не спал сегодня. Вечор, вишь, браконьеры соблазнили: давай за красненькой погоняемся. А красненькая ноне с высшим образованием – дуриком ее не возьмешь.

Откровенная присказка насчет запретного лова семги – это так, для игры, для щекотки нервов, а что касается существа дела, то тут Петру стало яснее ясного: не будет теса. И не жди. Чего мне надрываться ради какого-то гуся залетного? Какой от тебя толк?

Таборский достал папиросу, вдруг совсем запросто улыбнулся:

– Я все удивляюсь, как ты целую неделю выжил с кипятком и угаром. На здоровье не отразилось?

Петр озадаченно пожал плечами: о чем это он? И тогда довольнехонький Таборский захохотал:

– Как, говорю, целую неделю с братцем своим на Марьюше выжил, да еще Евдокия под боком? У нас их долго никто не выдерживает. Ладно! – с неожиданной решимостью сказал Таборский. – Открою тебе один клад. Поезжай на Сотюгу. Знаешь бывший леспромхоз? Там сейчас, правда, пустошь, гарь – сгорел на хрен поселок. Но ежели как следует пошуровать…

Водяны урвали, много оттуда добра всякого вывезли, это только мы, пекашинцы, – под ногами золото и лень нагнуться…

– И ты думаешь, – вдруг тоже на «ты» перешел Петр, – и тесом там можно разжиться?

– А то! – воскликнул, весь загораясь, Таборский и встал. – Дуй! И учти: тебе первому открываю сотюжский клад. Но насчет транспорта – извини. Договаривайся с шоферней сам. В частном порядке. А я знать ничего не знаю и видеть не вижу. Потому как за использование совхозной тяги не по прямому назначению в период заготовки сочных и консервированных кормов… Дальнейшее содержание приказа Таборский передал жестом, коротко полоснув себя ребром руки по горлу.

Петр не настаивал. Он знал, с детства знал деревенские порядки. И уж за то был благодарен управляющему, что тот подсказал ему, как действовать.

Глава десятая

1

В таежном краю это сплошь и рядом: вырубили, выкосили окрест леса, вытоптали жизнь – и дальше. Если окажется под боком расторопный хозяин из тех же лесных организаций или, скажем, колхоз под рукой, тогда жилье не пропадет, все до последнего бревнышка, до последней доски приберут, а если вокруг на десятки верст лесная нежиль да еще наше расейское бездорожье тогда что делать? Тогда годами, до скончания века стоят мертвые дома и бараки, мокнут под осенними дождями, скрипят, стонут в зимние метели и вьюги, и кустарник, кустарник давит их со всех сторон, карабкается на прогнившие стены и крыши, залезает внутрь.

Сотюгу постигла другая участь – пожар.

Пожар вспыхнул под утро в октябрьские праздники, и, пока подгулявшие накануне люди приходили в себя да раскачивались, поселок сгорел начисто. Только на закрайках остались кое-какие хозяйственные постройки.

Было следствие, было дознание, но виновников не нашли: несчастный случай. Да виновников, как потом говорили, не больно-то и искали. Потому что с этой Сотюгой давно уж не знали, что делать. Леса поблизости не было (на специальном языке это просчеты в определении сырьевой базы предприятия), план не выполнялся годами. А раз план не выполнялся – какая же жизнь и у рабочего люда и у начальства?!

Вид черных развалин, внезапно открывшихся глазам на высокой красной щелье за речкой, недобрым предчувствием сдавил Петру сердце. И даже словоохотливый Родька, всю дорогу развлекавший его всякими россказнями про пекашинское житье-бытье, на какую-то минуту примолк. А потом начался спуск с горы к пересохшей, сверкающей на солнце цветными камешками речонке – мост давно уже унесло весенним паводком, – и Родька опять затараторил.

По черным улицам поселка, уже кое-где заросшим травой и малинником, закрутился как черт.

– Вот! – Остановился возле барака, там, где когда-то неподалеку стояла кузница. – Здесь хоть всю крышу снимай – ничего почти не выгорело. Я уж тут разведку боем сделал. По специальному заданию управляющего.

Барак, в который они вошли, действительно не очень пострадал от огня. Стены изнутри были только закопчены – звонко, как железо, зазвенели под обухом топора.

– А ведь, пожалуй, ты прав! – обрадовался Петр. – Кое-что мы тут найдем!

– Да не кое-что, а что надо! – сказал тоном бывалого человека Родька. Ну а у меня приказ – до телячьего отгона сгонять. Справитесь без меня? Сумеете топором доску оторвать?

– Валяй! Дуй куда надо.

– Ну тогда я моменталом! – И Родька пулей выскочил из обгорелого барака.

2

Была весна, было солнце, и была черемуха. Много черемухи. По всему зеленому мысу, по всей Сотюге кипели белые пахучие кусты. И была еще Зойка с телятами. Телята – молоденькие, голубоглазые, на смешных шатучих ножонках со всех сторон облепили Зойку, и она, смеясь, легонько шлепала их по мокрым розовым мордахам. Серебряное колечко сверкало на руке.

А что, если и ему попробовать наподобие теленка пристроиться? Не убьет же, в конце концов.

Зойка не убила Родьку и даже не оттолкнула. У нее не дрогнуло сердце, что парень на двенадцать лет моложе ее. А что ему дрожать, сердцу-то? У того злыдня вербованного больно дрожало, когда он ее одну с ребенком оставил? А солдат-грузин с черными усиками, которого она поила-кормила два года? Пожалел ее, сдержал свои клятвы? Ну так и от нее пощады не ждите!

Родьке на сей раз неслыханно повезло. Он еще издали, подъезжая к телячьему стану, увидел глухую Матрену, напарницу Зойки, на той стороне Сотюги среди черно-белой россыпи телят, а это значило, что Зойка сейчас одна в избе или около избы.

Все же, подъехав к избе, святой избе, как называли ее пекашинские зубоскалы, потому что она была сложена из останков пекашинской церкви, и с железным лязгом распахнув дверцу кабины, он по привычке, на всякий случай крикнул:

– Эй, выходи, принимай груз!

В малюсеньком, с сенной затычкой окошке бледным пятном всплыло Володино личико, а сама Зойка – ни-ни, ни привета ни ответа.

Родька поглубже натянул на лоб кепчонку, глянул за реку – где Матрена? – зыркнул глазом туда-сюда и вперед, на амбразуру.

– Можно? Не помешаю?

С низкой закоптелой избенке с одним окошечком было сумрачно, но ему сразу бросилась в глаза белая Зойкина нога – на койке у дальней стены лежала, – и больше он уже ничего не видел.

– Зоечка, здравствуй.

– Слыхали. Еще чего?

– Еще… – У Родьки, сам знал, глупо разъехались губы. – Еще… я приехал.

– Ох, какая радость! Сейчас запляшу.

Родька наконец, минуя скамеечку и длинный, на крестовинах стол, сколоченный из нестроганных досок, добрался до Зойкиной кровати, сел на край.

Зойка не пошевелилась.

Она лежала на спине, закинув за голову свои худые, тонкие руки, и серые глаза ее спокойно и хмуро смотрели на него. В общем, все было так, как в прошлый раз.

Управляющий Таборский как-то навеселе, когда они возвращались из района, целую лекцию прочитал ему насчет обхождения с женщинами. "Главное, говорил Таборский, – глазами перебороть бабу. Переглядеть. Понимаешь? А все остальное – как по маслу".

Но как переглядишь Зойку, ежели не то что в глаза – в лицо ей боязно глянуть?

Он ткнулся ей под мышку головой – Зойка любила порыться в его мягкой волнистой волосне. Сперва вроде бы так, нехотя: дерг-подерг, туда-сюда, а потом все глубже, глубже пальцами – и вот уж вцепилась намертво…

– Не лезь, не лезь! Ничего не будет. Тяжелая рука у Зойки, хоть и костлявая. Вроде бы только отмахнулась, а у него слезы из глаз.

Родька нащупал в кармане эту круглую скользкую штуковину, покатал в запотевших пальцах… Эх, была не была! Трусы в карты не играют.

– Зоечка, дай-ко мне сюда твой пальчик.

– Ну еще! Опять ты со своими телячьими нежностями. Может, еще сиси дать?

Он разжал кулак.

Золотой блеск ослепил Зойку, она смешно, как малый ребенок, захлопала донельзя изумленными глазами.

– Золотое? Настоящее?

Ей давно хотелось иметь золотое кольцо, в моде нынче они, и в последний раз она прямо сказала: без кольца больше не заявляйся. Она даже подсказала, где достать его. В городе. Туда ездят все новобрачные.

Догадался-таки.

Зойка сняла с худого длинного пальца свое старое истаявшее, как льдинка, серебряное колечко, надела на него золотое – в самый раз – и эдак красиво, как артистка, откинула в сторону окольцованную руку.

– Володя, иди на улицу. Поиграй.

– Мама, я не хочу.

– Я кому сказала?

Мальчик слез со скамейки, с которой, стоя, смотрел в окошко. Он был такой худенький, такой

крошечный – в Пекашине все звали его карманным Володей, – что некоторое время в избе был слышен только шелест босых ножонок, ступавших по полу, а самого его из-за стола не было видно. Потом вдруг неожиданно, как свеча, вспыхнула светлая головенка в сутемени над порогом.

Он не сказал ни слова. Но перед тем как проскрипеть старой дверью, обернулся, до самых пяток прожег Родьку своими черными сверкающими глазенками.

3

Машина летела как шальная. В ручьях и на поворотах гром раскатывался в башке – железная все-таки крыша над головой! – кустарник зеленым прутьем хлестал в открытые окна с обеих сторон, а он все жал и жал на газ. И так до тех пор, пока за мысом не полыхнула серебряная гладь Михейкина плеса.

Вот тут он затормозил, вылез из кабины и все, все до последней нитки сбросил с себя. Даже плавки красные с фасонистым якорьком и кармашком с «молнией» сбросил. А потом он долго, до полного изнеможения утюжил и молотил воду. Руками, ногами, головой. Терся и брюхом и спиной об илистый песок под развесистой ивой…

От Михейкина плеса дорога покатилась широким открытым наволоком. Травяной ветерок продувал открытую кабину, холодил мокрую голову, и мало-помалу, как дурной сон, начало рассеиваться все то, что недавно было в полутемной избе с низким закоптелым потолком.

А вскоре, когда впереди, лениво переваливаясь, дорогу перебежала большая бурая лосиха с маленьким теленком, у которого задорно блеснуло на солнце желтое копытце, к нему и вовсе вернулось хорошее настроение, и он, снова улыбаясь, игриво переглядываясь со смазливенькими артисточками – вся кабина была заклеена ими, – запел свою любимую "Хотят ли русские войны…".

Глава одиннадцатая

1

У старого пряслинского дома запахло смолистой щепой, белая стружка разлетелась по всему заулку.

Петр пропадал на стройке с раннего утра до поздней ночи. Но вот что значит работка по душе! Повеселел. А раз повеселел Петр, то и Григорий ожил. И тоже нашел себе занятие. Лиза все переживала – куда девать ребятишек, когда начнет снова работать на коровнике, а и зря: Григорий стал за няньку. Просто талант открылся у человека на детей. Миша у нее, у родной матери, сколько недель кис да чах, а дядя живо на ноги поставил.

В общем, тучи да темень вокруг Лизы мало-помалу стало разносить, и она теперь уже по-иному, без прежнего отчаянья взглянула и на свою размолвку с Михаилом и Татьяной.

Но разве для нее солнце?

Не успела обжиться на скотном, заново приладиться к буренкам Таборский. Навалился, как медведь: бери телятник за болотом.

А телятник за болотом это что? Прощай семья, прощай дом! Телята все молодняк (постарше с весны на откорме на Сотюге), каждого чуть ли не с руки поить надо, с каждым за няньку быть.

А корма? А вода? А уборка навоза? Проклянешь все на свете! Это ведь только на бумаге все гладко, все расписано, а на деле-то везде надо свой горб подставлять.

– Нет, нет, – наотрез отрезала она управляющему, – иди и больше не приходи! Мне со своими-то телятами дай Бог управиться, – она кивнула на двойнят, ползающих по полу, – а ты еще такую обузу навязывать!

– Ну тогда хоть на недельку, – стал упрашивать Таборский. – Покамест Тонька с Северодвинска не приедет.

(Да, вот какие пошли ноне работницы! Скотину бросила, а сама в город в загул – на свадьбу к подружке!)

– Не улещай, не улещай! – еще пуще разошлась Лиза. – На недельку! Одна я, что ли, в Пекашине, как банный лист пристал? – И тут она до того распалилась, что просто вытолкала управляющего из дому. А чего церемониться? Ей самой, правда, зла большого не сделал, да зато брату на каждом шагу палки в колеса ставит.

Не помогло.

На другой день утром – она как раз только что с коровника пришла да печь затопляла – снова на порог:

– Пряслина, выйдем на крыльцо.

– Зачем? Чего я не видала на крыльце-то? Но вышла. Как не выйдешь, когда власть к тебе пришла!

– А теперь слушай, – сказал Таборский и кивнул на задворки.

А чего слушать-то? Телята ором орут – за версту слышно.

– Второй день не поены и не кормлены…

– Да мне-то что…

– Я все сказал. Есть совесть – напоишь, а нету – пущай подыхают.

До двенадцати часов дня не выходила Лиза из дому.

А в двенадцать вышла – рев за болотом пуще прежнего – и, что делать, пошла к телятам.

2

Телят она спасла.

Пять часов с Петром, с братом, таскала воду ведрами. По жаре. От колодца, который чуть ли не за версту от телятника. А что же было делать? Машины, как назло, все в разъезде, начальства никакого на месте нету – не смотреть же, как телята подыхают на твоих глазах?

Зато уж вечером, когда она добралась до управляющего, взяла его в работу. Разговаривала – стены конторские тряслись. Водовоза постоянного раз. Для травы специальную машину – два. И чтобы завтра же был загон возле телятника, а то ведь это ужас – телята все лето взаперти. Как в душегубке задыхаются.

И загон назавтра сделали – долго ли вкопать готовые, отлитые из цемента колья да натянуть в три ряда проволоку? И был праздник у телят: первый раз в своей жизни вышли на волю, первый раз на своем веку – увидели солнышко. И Лиза глядела-глядела на разыгравшихся от радости телят да вдруг и расплакалась:

– Ох, ребята, ребята… (Все тут были, все притащились в этот вечер на телятник: Петр, Григорий, Анка с малышами.) Мы вот с вами о телятах хлопочем, скотину из заключения вывели, а где Федор-то наш? Где он-то теперь, бедный?

Григорий – близко, как у нее, слезы – завсхлипывал, а Петр закаменел, слова не нашлось для брата. И она не осуждала его.

Хуже врага, хуже всякой чумы был для ихней семьи Федор. Они, Пряслины, все от мала до велика голодали, последней крохой делились друг с другом, а этот никого и ничего не хотел знать, из горла кусок рвал.

Но пока был дома Михаил, кое-как еще можно было жить. А взяли Михаила в армию – и хоть караул кричи, каждый день жалобы: там у ребятишек хлеб отнял, там у старухи деньги выкрал, там амбар обчистил… А потом надоело, видно, по мелочам промышлять – в склад у реки залез. И тут даже у нее, у Лизы, лопнуло терпенье: судите, хоть в кандалы закуйте дьявола, раз человеком не хочет быть.

С этого времени Федор и пошел по тюрьмам да колониям. И напрасно братья и сестры пытались образумить его: на письма не отвечал, на свидания, когда приезжали к нему, не выходил.

И в конце концов Михаил сказал: хватит больше кланяться! Будем считать, что не было у нас брата. В дурном сне приснился…

3

На другой день за завтраком Лиза опять завела разговор о Федоре – она всю ночь не спала, всю ночь продумала о его злосчастной судьбе:

– Петя, а я ведь насчет Федора писала…

– Чего писала?

– Письмо. Самому главному начальству в Москву. Как-то ночью о Первом мае приснился мне сон – ужасти что за сон. Стою это я у Дуниной ямы, а в яме-то кто? Наш Федор. Ребенок. Барахтается, из последних сил выбивается, к берегу хочет попасть. И вот что, ты думаешь, я делаю? – Лиза тяжело перевела дух. – Отталкиваю, не даю ему на берег выдти. Ей-богу! Я проснулась уревелась. Думаю, да что я за зверь такой – брата родного топлю? Вот тогда я и накатала письмо. Все описала – где чернилом, где слезой. Как в войну жили, как голодали, как робили… Говорю, помогите человеку встать на ноги. Хоть не ради его самого, дак ради отца, убитого на войне, ради мамы-покойницы, которая ведь высохла по нему, глаза проплакала… А потом как-то разговорилась с Анфисой Петровной: не так, говорит, ноне делают. Надоть, говорит, бумагу писать, а не письмо. Надоть, говорит, через прокурора, по всем чтобы законам было…

Петр старательно дожевал кашу, совсем как в детстве облизал ложку, встал. И не велик, не тяжел был человек, разве сравнишь с Михаилом, а заходил по избе – половицы в дрожь.

– Давай, сестра, договоримся раз и навсегда: чтобы об этом бандите больше ни слова.

– Да пошто ты так-то, Петя? Кому бандит, а нам брат.

– Брат? А ты забыла, сколько мы беды с этим братом хлебнули? Корову из-за него продали, Васю без молока оставили… А как Михаил к нему ездил забыла? Из армии, из Заполярья попадал, а он, скотина, даже не вышел к нему… Силой вытащить не могли…

– Да я ведь, Петя, не защищаю его. Я и сама так раньше думала. А тут как Михаил Иванович загородил мне дорогу к своему дому да Татьяна Ивановна отвернулась от меня… Время-то, время-то какое, Петя, было! Война, голод, отца убили… Да кабы другое время было, может, и он другой был.

– Но мы-то не стали бандитами!

– Не знаю, не знаю, Петя. – Лиза смахнула слезу, посмотрела в окошко на детей, игравших у крыльца с дядей, и с мольбой протянула руки. – Петя, Бога ради… Ради отца нашего… ради нашей мамы-покойницы… Напиши письмо Татьяне. Пущай она похлопочет за Федора…

– Нет-нет! – закричал Петр и даже ногой топнул. – Пальцем не пошевелю! Лучше и не проси.

А после полудня, когда пришел со своей стройки, первым делом бросил на стол сложенную вчетверо бумагу.

Лиза с загоревшимися глазами схватила бумагу, развернула – и, как она и догадалась сразу, то было письмо Татьяне насчет Федора.

4

Кажется, никогда в жизни она еще не бегала так быстро, так не спешила. У клуба на Феколу наскочила – даже не оглянулась. А когда влетела на почту да увидела – почтарихи сургучную печать на брезентовый мешок ставят, просто стоном застонала:

– Девки, девки, отправьте мое письмо! Я загадала: ежели сегодня уйдет, судьба повернется лицом и к моему брату.

И упросила, умолила соплюх – открыли мешок.

Повеселевшая, сразу воспрянувшая духом, Лиза вышла на улицу.

Народу возле почты еще прибавилось.

Тут, возле почты, каждый день праздник. Каждый день кого-нибудь встречают да провожают – семьями, компаньями, даже родами.

И первыми на этом празднике были, конечно, старухи. Запрудили танцевальную площадку, задавили бревна на лужку, в затишке развалились. Этим все едино, что свадьба, что похороны – лишь бы время убить, лишь бы языком почесать.

Лизе позарез, сломя голову надо было бежать на телятник, а она стояла приросли ноги к земле. Стояла и вся в какой-то непонятной тревоге и ожидании смотрела на задворки – на сосны, на недавно открытую чайную с большими белыми окошками, из-за которой вот-вот должен вынырнуть почтовый автобус. А когда почтовый автобус, старый, обтрепанный, насквозь пропыленный, подкатил наконец к пестрой шумной толпе, она просто кинулась к

нему.

И кого же она увидела, когда распахнулась дверца? Кто первый спрыгнул с подножки автобуса?

Егорша… Ее бывший муж, от которого двадцать лет не было ни слуху ни духу…

Часть вторая

Глава первая

1

Слухи о новой засухе на юге поползли еще в конце июня: все горит на корню – и хлеб и трава, скотину гонят на север, а потом и вовсе диковинное: Подмосковье горит, сама Москва задыхается от дыма…

Однако Пинежье, далекое приполярное Пинежье, укрывшись за могучим тысячеверстным заслоном тайги, еще долго не знало этой беды.

Ад на Пинеге начался дней десять спустя после Петрова дня, с сухих гроз, когда вдруг по всему району загуляли лесные пожары.

Дым, чад, пыль… Тучи таежного гнуса… Скотина, ревущая от бескормья – вся поскотина выгорела… А жара, а зной, будь они трижды прокляты! Нигде не спасешься, нигде не отсидишься – ни в деревянном, насквозь прокаленном доме, ни в пересохшей реке, где задыхалась последняя рыбешка.

Набожные старухи покаянно шептали:

– За грехи, за грехи наши… За то, что Бога забыли…

А те, кто был помоложе, неграмотнее, те опять толковали про науку, про космос, про то, что человек вторгся в запретные вселенские пределы…

2

Петр Житов томился от другой засухи.

Уж он не поленился, не пожалел себя: все обшарил, все карманы наизнанку вывернул – больше сорока трех копеек не набрал. А что такое сорок три копейки по нынешним временам, когда бутылка самого дешевого винишка, кваса какого-то поганого стоит рубль двадцать! Правда, у него был один резерв корзина пустых «бомб», или «фугасов», темных увесистых бутылок из-под красного «рубина», но что с ним делать, с этим резервом? Мертвый капитал. В сельпо не принимают: не марочный товар. Так что же, бить этот товар? А на заводах, тем временем новые бутылки будем шлепать? Хозяева, мать вашу за ногу.

День пришлось начинать со стакана черного, как деготь, чая.

Когда немного прочистились мозги, Петр Житов хмуро, как старый ворон, высунулся из окошка – нет ли поблизости какой поживы? нельзя ли кому крикнуть: выручай, брат, попавшего в беду?

Но пусто на улице, ничего отрадного на горизонте. Злым раскаленным пауком смотрит из дыма солнце, кумачом горят новые ворота у Мишки Пряслина, а люди… Где люди?

За целый час проковыляла мимо одна душа, да и та из шакальей породы Зина-тунеядка: так и стегала, так и шарила глазищами по окошкам – не подвернется ли пожива?

Петр Житов покатился под откос три года назад, когда умерла Олена. Первое время еще изредка вставал на просушку, и день и неделю держал себя на привязи, а потом оглянулся – чем жить? Дети разлетелись кто куда, жениться второй раз и начинать жизнь заново в пятьдесят лет на одной ноге – э-э, да пропади все пропадом!

Сосновые брусья, заготовленные на прируб к дому новой горницы, пропил, инструмент столярный и слесарный – в загон, мебель и посуду – по соседям, а потом во вкус вошел – объявил войну частной собственности по всем линиям. Все нажитое за долгую жизнь пустил по ветру и докатился до того, что перешел на «аванец».

Под печь, под раму, под крыльцо, под лодку – под все брал пятаки. И даже под гроб. Это уже он придумал нынешней весной, когда сидел на совершеннейшей мели и когда всякие обычные кредиты для него в деревне были закрыты. Вот тогда-то его и осенило.

– Аграфена, хочешь, чтобы тебя в хорошем гробу на кладбище отволокли? начал он прямо, без всякого предисловия, войдя в избу к дряхлой соседке.

– Хочу, Петрышко, как не хочу.

– Тогда давай на бутылку – будет тебе гроб по первой категории. Фирма "Петр Житов" не подведет.

Аграфена выложила на бутылку без всякого торга, а остальной утиль – так Петр Житов крестил старушонок – оказался менее сговорчивым. Нет, нет, гроб надо. Против гроба не возражаем – плохая надея на нынешних сыночков. Да ты только сперва домовинку представь, Петруша, а уж за денежками мы не постоим…

Стакан за стаканом пил Петр Житов дегтярный чай, жег дешевенькие, по доходам, папироски «Волга», а где добыть проклятый рублишко, по-прежнему не знал. Не соображала старая, замшелая башка. Да и трудно ей было соображать, когда на дворе страда и не знаешь, к кому сунуться.

Наконец он начал пристегивать старый протез. Придется, видно, топать на почту да звонить сыну, начальнику лесопункта: "Сынок, отбей отцу хоть гривенник. По случаю засухи".

Случаи – всякие праздники, всякие торжественные даты, перемены в погоде (первый снег, первая стужа, затяжные дожди, весенний разлив) – частенько выручали его.

3

– Ресторан открыт? Принимают старую клиентуру?

Петр Житов не верил своим глазам. Филя-петух, Игнат Поздеев, Аркадий Яковлев… Три заслуженных ветерана сразу. Да как! Один метнул на стол «бомбу», другой «бомбу», а третий даже «коленовал», или "тещины зубы", бутылку водки с устрашающей наклейкой, которая поступила в продажу года два назад.

– Ну, други-товарищи… – Петра Житова прошибло слезой. – Как в цирке.

– Это какой еще цирк? Цирк-то сейчас только начнется. – И с этими словами Игнат Поздеев, великий охотник до всяких забав и потех, распахнул двери.

За порог бойко, хотя и не очень твердо, переступил какой-то худявый, потрепанный мужичешко в капроновой шляпе в частую дырочку, каких навалом в ихнем сельпо.

– Не узнаешь? – Мужичешко подмигнул голубеньким, полинялым, в щелку глазом, и Петру Житову почудилось что-то знакомое в том глазе. Но все остальное…

– Нет, вроде не признаю вашей личности…

– Давай не признаю! – Игнат Поздеев, все еще скаля свои крепкие белые зубы, кинул взгляд туда-сюда. – Где у тебя перископы-то? Вооружись. Может, лучше дело-то пойдет.

Петр Житов – исключительно только ради того, чтобы поддержать игру, надел очки в черной оправе и придал своему и без того страховидному, распухшему от пьянки лицу мрачное выражение.

– Смотрите-ко, смотрите, какой маршал Жуков! – рассмеялся Аркадий. Живьем съест.

Розыгрыш наверняка продолжался бы и дальше, но его оборвал сам мужичешко, который, вдруг вскинув руку к шляпе, по-военному отрапортовал:

– Суханов-Ставров вернулся из дальних странствий. Так сказать, к пекашинским пенатам.

– Егорша?! – Петр Житов опять всхлипнул. Он вообще был слабоват теперь на слезу, а тут чувствительность его обостряли еще эти три бутылки, которыеон не сомневался – были куплены на деньги дальнего гостя.

Первый стакан – иной посуды в питейном деле Петр Житов не признавал выпили, конечно, за блудного сына, за его возвращение в родные края, и тут уж Егорша дал течь:

– Да, други-товарищи, мать-родина, как говорится, за хрип взяла…

– Пора! Ты и так сколько кантовался по чужим краям…

– А ни много ни мало – двадцать лет.

– Что? Двадцать лет дома не был?

– Да скинь ты свою покрышку! – предложил Петр Житов гостю (после стакана вина он опять зрячим стал). – Думаю, у меня уши не отморозишь.

– Да и где находишься? – в тон хозяину поддакнул Аркадий Яковлев. – Не в простой избе, а в ресторане «Улыбка».

Егорша снял шляпу – и – мать честная! – лысый.

– Да ты ведь уезжал от нас – вон какая у тебя пушнина была! Какие тебя ветры-ураганы били?

– За двадцать лет, я думаю, можно… – начал оправдываться смущенный Егорша.

– Под эту самую… под радивацию, наверно, попал? – высказал свое предположение Филя-петух.

– Да, ныне эта радивация много пуху с нашего брата сняла, – сказал Аркадий Яковлев. – Пашка Минин с флота вернулся – в двадцать два года аэродром на голове у парня.

– А я думаю, диагноз проще, – изрек Петр Житов. – В подушках растерял свой пух Ставров. – И первый заржал на всю кухню.

Против такого диагноза Егорша возражать не стал, и разговор на некоторое время принял чисто мужское направление. Везде побывал Егорша, всю Сибирь вдоль и поперек исколесил и бабья всякого перебрал – не пересчитать.

– А сибирячки… они как? Из каких больше нациев? – уточнял вопрос за вопросом Филя (он разволновался так, что заикаться начал).

– А всяких там нациев хватает. И русские, и казахи, и чукчи, и корейцы… Однем словом, мир и дружба, нет войне!

– И ты это… – У Фили голос от зависти задрожал.

– Да, да, это…

Игнат Поздеев хлопнул по плечу примолкшего Филю:

– Вот как надо работать, Филипп! С размахом. А ты ковыряешься всю жизнь в Пекашине да в его окрестностях.

– Надо, скажи, Филя, кому-то и здесь ковыряться. Не все на передовых позициях, – ухмыльнулся Аркадий Яковлев. – А вот ты, Ставров, как на Чукотке вроде был, да?

– Был, – кивнул Егорша.

– А на Магадане этом – чего теперь?

– Как чего? Валютный цех страны.

– Опять, значит, золото добывают?

– А чего же больше? – живо ответил за Егоршу Игнат Поздеев. – Знаешь, теперь сколько этого золота надо? Нахлебников-то у нас – посчитай! Тому помочь надо, этому…

– А верно это, нет, будто японцы через всю Сибирь нефтепровод тянут? Чтобы нашу нефть себе качать?

– А насчет Китая там чего слышно? Правда, нет, вроде как Мао двести миллионов своих китайцев хочет запустить к нам? В плен вроде как бы сдать…

Тут Петр Житов, давно уже озабоченно посматривавший на опустевшие бутылки, раскупорил окно – бесполезно теперь отделять избу от улицы. Накурили так, что из-за дыма дверей не видно.

– Засуха давит все живое, – изрек он с намеком. Приятели его, увлеченные разговором, даже ухом не повели. И тогда он уже открытым текстом сказал:

– Орошение, говорю, кое-какое не мешало бы произвести, поскольку осадков в природе все еще не предвидится…

Егорша без слова выложил на стол два червонца.

Глава вторая

1

Его только что не вытащили из бани.

В кои-то поры выбрался с Марьюши смыть с себя страдный пот (жуть жара, съело кожу), в кои-то поры решил себя побаловать березовым веничком, так нет, не имеешь права. Поля, уборщица, вломилась прямо в сенцы: срочно, сию минуту к управляющему!

И вот что же он увидел, что услыхал, когда переступил за порог совхозной конторы?

– Надоть повысить… Надоть поднять… Надоть мобилизовать…

Суса-балалайка бренчала. А лучше сказать, лайка-балалайка (недотянул тут Петр Житов), потому что с музыкой-то она только кверху, а вниз – с лаем.

Михаил ошалело посмотрел на управляющего, на заседателей (человек одиннадцать томилось в наглухо запечатанном помещении) и – что делать пошел на посадку, благо охотников до его деревянного диванчика возле печки-голландки не было.

На этот дряхлый, жалобно застонавший под ним диванчик он впервые сел еще тридцать лет назад четырнадцатилетним парнишкой, и тогда же, помнится, появилась в ихнем сельсовете Сусанна Обросова. И вот сколько с тех пор воды утекло, сколько всяких перемен произошло в жизни, а Суса как наяривала в свои три струны, так продолжает наяривать и поныне. И все равно ей, дождь ли, мороз на дворе или вот такая страшная сушь, как нынче, – бормочет одно и то же: надоть… надоть… надоть…

Прошлой осенью уж проводили было на пенсию, думали, наконец-то вздохнем – нет, не можем без балалайки: бригадиром по животноводству назначили.

На этот раз Суса бренчала насчет пожаров. Дескать, большое испытание… стихия… и надоть с честью выдержать… показать всему миру, на что способен советский человек…

Ясно, сказал себе Михаил и еще раз недобрым взглядом обвел контору: самонакачка идет. Так нынче. Сперва начальство себя распаляет, себе доказывает: то-то и то-то надо делать, к примеру сев весной провести, корма в страду заготовить, – потом уж выходит на народ.

– На пожар придется ехать, Пряслин, – объявил Таборский, когда кончила Суса. – Сами-то мы покамест не горим, за нас Господь Бог – хорошо молятся старухи, – но у соседей жарко, два очага. – Он поднял со стола бумажку. Согласно этой вот разнарядочке тридцать пять человек от нас требуется. Двадцать пять мы отправили, а где взять остальных?

– Хватает народу-то. – Михаил отер ладонью мокрое лицо. Нет ничего хуже, когда не пропаришься: изойдешь потом. – Я вечор с Марьюши ехал ходуном ходит клуб. Кругом дым, чад, а там как черти скачут.

Таборский ухмыльнулся:

– Эти черти по другому ведомству скачут. Отпускники, студенты. Ты вот в Москве был – много тебя там на работу посылали?

Одобрительный хохоток прошуршал по конторе: ловко причесал управляющий.

– И учти, – строго кивнул Таборский, – не тебя первого посылают. Девятнадцать человек пришлось снять с сенокоса, так чтобы потом не было: Таборский со мной личные счеты сводит.

Михаил вскипел:

– Ты не со мной счеты сводишь! С коровами.

– С коровами?

– А как? Половину людей с пожни снял – что коровы-то зимой жрать будут? Але опять как нонешней весной – десять коров под нож пустим?

– К твоему сведению, Пряслин, нынешняя зимовка по всему району в труднейших условиях проходила. Понятно тебе?

Это уже Пронька-ветеринар, или доктор Скот, как больше зовут его. в Пекашине. Все время, гад, водил носом да кланялся (с утра под парами), а тут только на мозоль наступили – как из автомата прострочил. А раз Пронька отреагировал, то как же Сусе-балалайке не ударить в свои струны? Вместе на тот свет совхозную скотину отправляем, вместе весной акты подписываем.

– Я не знаю, как с тобой и говорить ноне, Пряслин. В Москву съездил никто тебе не указ. Когда же это на пожар отказывались?

– Да я не отказываюсь! С чего ты взяла?

– Нет, отказываешься! – еще раз показал свои зубы Пронька. – Целый час базар устраиваешь.

– Кончать надо с этой колхозной анархией! Раз у человека сознательности нету, дисциплинка есть.

– Ты про колхозную анархию брось! Сознательный выискался! А где этот сознательный был, когда мы тут, в Пекашине, с голоду пухли? Ты когда в колхоз-то вернулся? После пятьдесят шестого, когда на лапу бросать стали?

Афонька-ГСМ, то есть завскладом горюче-смазочных материалов – это он про сознательность завел, – просто завизжал:

– Ты еще молокосос передо мной! У тебя молоко на губах еще не обсохло, когда я на ударных стройках темпы давал.

– Ти-и-хо! – во весь голос рявкнул Таборский, а затем озорновато, с прищуром оглядел всех. – Запомните: нервные клетки, учит медицина, не восстанавливаются. Давай, Пряслин, твое конкретное предложение. А размахивать руками мы все умеем.

Михаил понимал: все равно ему всех не переговорить. Да и кто он, черт тя дери, чтобы разоряться? Управляющий? Бригадир? И он встал.

– Ну вот видишь, – сказал Таборский, – дошло дело до конкретности – ив кусты…

– Да я хоть сейчас, не сходя с места, бригаду составлю!

– Ну-ко, ну-ко, интересно…

– Интересно? – Михаил глянул за окошко – вся деревня в дыму, глянул на ухмыляющегося Таборского (этому свои нервные клетки дороже всего) и вдруг, зло стиснув зубы, начал всех пересчитывать, кто был в конторе.

Одиннадцать человек! Целая бригада. Из одних только заседателей. А ежели еще добавить управляющего, ровнехонько дюжина получится.

2

Сколько раз говорил он себе: спокойно, не заводись! Почаще включай тормозную систему. Сколько раз жена его наставляла, упрашивала: не лезь, не суй нос в каждую дыру! Все равно ихний верх будет. Нет, полез. Не выдержал.

Да и как было выдержать?

Сидят, мудруют, сволочи, как бы кого с сенокоса выцарапать да на пожар запихать, а то, что скотина без корма на зиму останется, на это им наплевать. Вот он и влупил, вот он и врезал. Внес конкретное предложение.

Ух какая тут поднялась пена!

– Безобразие! Подрыв!

– Докуда терпеть будем?

– Выводы, выводы давай!

Пронька-ветеринар надрывается – глаза на лоб вылезли, Устин Морозов кулачищем промасленным размахивает, Афонька-ГСМ слюной брызжет… Ну просто стеной, валом на него пошли. И только одна, может, Соня, агрономша, по молодости лет глотку не драла да еще Таборский ни гугу.

Есть такие: стравят собак и любуются, глядючи со стороны. Так вот и Таборский: развалился поперек стола и чуть ли не ржал от удовольствия…

Вы не вейтеся, черные кудри,

Над моею буйной головой…

Что за дьявол? Почудилось ему, что ли? Кому приспичило в такое время про черные кудри распевать?

Не почудилось. Филя-петух в белой рубахе выписывал восьмерки на горке возле клуба. А где накачался, ломать голову не приходилось. У Петра Житова на Егоршиных встретинах – Михаил еще вечор, когда приехал домой с сенокоса, узнал про возвращение своего бывшего шурина.

Он не закрыл в эту ночь глаз и на полчаса – всю жизнь свою перекатал, перебрал заново. И сегодня утром, когда топил баню, а потом мылся, тоже ни о чем другом думать не мог кроме как о Егорше, о их былой дружбе…

Пожары, видать, совсем близко подошли к Пекашину. От дыма у Михаила першило в горле, слезы накатывались на глаза, а когда он, миновав широкий пустырь, вошел в тесную, плотно заставленную домами улицу, его даже потянуло на кашель.

Он хорошо понимал, из-за чего взъярились его друзья-приятели в кавычках. Он насквозь видел этих прощелыг.

"Анархия… Безобразие… Подрыв…" Как бы не так! На пожар не хочется ехать – вот где собака зарыта. А все эти словеса для дураков, для отвода глаз. Вроде дымовой завесы. Как спелись, сволочи, еще в колхозе, так и продолжают жить стаей. И только наступи одному на хвост – сразу все кидаются.

Да, вздохнул Михаил и кинул беглый косой взгляд на вынырнувший слева аккуратненький домик Петра Житова, веселую жизнь ему теперь устроят. Выждут, устерегут, ущучат. Отыграются! Ежели не на нем самом, так на жене, а ежели не на жене, так на дочерях.

Три года назад – колхоз еще был – он вот так же, как сегодня, сцепился с Пронькой-ветеринаром на правлении. Из-за коровы. Сукин сын подбросил колхозу свое старье якобы на мясо, а взамен отхапал самую дойную буренку. И что же? Анна Евстифеевна, Пронькина жена, учительница, целый год отравляла жизнь его Вере, целый год придиралась по всякому пустяку.

У Петра Житова на крытом крыльце пьяно похохатывали – не иначе как травили анекдоты, – потом кто-то, расчувствовавшись, со слезой в голосе воскликнул:

– Егорша! Друг!..

И эх как захотелось ему сделать разворот да вмазать этому другу! Заодно уж со всеми гадами рассчитаться. За все расплатиться. За Васю. За себя. За Лизку. Да, и за Лизку. От него, от Егорши, все пошло…

3

Раисе не надо было рассказывать, что случилось в совхозной конторе. По его лицу все прочитала.

– Я не знаю, что ты за человек. Думаешь, нет ты в Пекашине жить?

– Ладно, запела! Собирай хлебы – на пожар надо ехать.

– На пожар! – удивилась Раиса. – А сено-то как? Три гектара, говорил, скошено – кто будет за тебя прибирать?

– А это ты уж управляющего спроси. Я тоже хотел бы, между протчим, это знать, – сказал Михаил и зло сплюнул: когда он перестанет с егоршинскими выкрутасами говорить?!

Тут вдруг залаял Лыско – в заулок с косой на плече вползала старая Василиса.

Раиса сердито замахала руками:

– Иди, иди! Не один мужик в деревне. Взяли моду – за всем переться к нам.

В общем-то, верно, подумал Михаил, старушонки, тридцать лет как война кончилась, а все тащатся к нему. Косу наладить, топор на топорище насадить, двери на петлях поднять – все Миша, Миша… Да только как им к другим-то мужикам идти? К другим-то мужикам без трояка

лучше и не показывайся. А много ли у этих старушонок трояков, когда им пенсию отвалили в двадцать рэ? Это за все-то ихние труды!

Он шумел где только мог: опомнитесь! Разве можно на две десятки прожить? Да этих старух за ихнее терпенье и сознательность, за то, что годами задарма вкалывали, надо золотом осыпать. А ежели у государства денег нету – скиньте с каждого работяги по пятерке – я первый на такое дело откликнусь.

– Егоровна! – крикнул Михаил старухе (та уже повернула назад). – Чего губы-то надула? Когда я отказывал тебе?

– Вот как, вот как у нас! Своя коса не строгана, я хоть руками траву рви, а Егоровна – слова не успела сказать – давай…

– Да где твоя коса, где?

Тут Раиса разошлась еще пуще:

– Где коса, где коса?.. Да ты, может, спросишь еще, где твои штаны?

Михаил кинулся в сарай с прошлогодним сеном – там иной раз ставили домашнюю косу, но разве в этом доме бывает когда порядок? Поколесил через весь заулок в раскрытый от жары двор.

Коса была во дворе.

Весь раскаленный, мокрый, он тут же, возле порога начал строгать косу плоским напильником и вот, хрен его знает как это вышло, порезал руку. Среди бела дня. Просто взвыл от боли.

Глава третья

1

Лиза была в смятении.

Кажется, что бы ей теперь Егорша? В сорок ли лет вспоминать про сон, который приснился тебе на заре девичества? А она вспоминала, она только и думала что о Егорше…

Избегая глаз всевидящего и всепонимающего Григория (Петру было не до нее, Петр чуть ли не круглые сутки пропадал на стройке), она каждый день намывала пол в избе, каждый день наряднее, чем обычно, одевалась сама.

Но катились дни, менялись душные, бессонные ночи, а Егорша не показывался.

Встретились они в сельповском магазине.

Раз, придя домой утром с телятника, побежала она в магазин за хлебом и вот только переступила порог, сразу, еще не видя его глазами, почувствовала: тут. Просто подогнулись ноги, перехватило дых.

Говорко, трескуче было в магазине. Старух да всякой нероботи набралось полно. Стояли с ведерками в руках, ждали, когда подвезут совхозное молоко. Ну а тут, когда она вошла, все прикусили язык. Все так и впились в нее глазами: вот потеха-то сейчас будет! Ну-ко, ну-ко, Лизка, дай этому бродяге нахлобучку! Спроси-ко, где пропадал, бегал двадцать лет.

Она повернула голову вправо, к печке, – опять не глядя почувствовала, где он. Улыбнулась во весь свой широченный рот:

– Чего, Егор Матвеевич, не заходишь? Заходи, заходи! Дом-от глаза все проглядел, тебя ожидаючи.

– Жду, гойорит, тебя, заходи… – зашептали старухи в конце магазина.

Она подошла к прилавку без очереди (век бы так все немели от одного ее появления) и – опять с улыбкой – попросила Феню-продавщицу (тоже с раскрытым ртом стояла) дать буханку черного и белого. Потом громко, так, чтобы все до последнего слышали, сказала:

– Да еще бутылку белого дай, Феня! А то гость придет – чем угощать?

Бутылка водки у нее уже стояла дома, еще три дня назад купила, но она не поскупилась – взяла еще одну. Взяла нарочно, чтобы позлить старух, которые и без того теперь будут целыми днями перемывать ей косточки.

2

Егорша заявился по ее следам. Без всякого промедления.

С Григорием – тот сидел на крыльце с близнятами – заговорил с шуткой, с наигрышем, совсем-совсем по-бывалошному:

– Е-мое, какая тут смена растет! А че это они у тебя, нянька хренова, заденками-то суковатые доски строгают? Ты бы их туда, к хлеву, на лужок, на травку, выпустил.

Но за порог избы ступил тихо, оробело, даже как-то потерянно. Зыбки испугался? Всех старая зыбка, баржа эдакая, пугает. Анфиса Петровна уж на что свой человек, а и та каждый раз глазами водит.

– Проходи, проходи! – сказала Лиза. Она уже наливала воду в самовар. Не в чужой дом входишь. Раньше кабыть небоязливый был.

Она, не без натуги конечно, рассмеялась, а потом – знай наших – вытерла руки о полотенце и прямо к нему с рукой.

– Ну, здравствуешь, Егор Матвеевич! С прибытием в родные края.

Было рукопожатие, были какие-то слова, были ки-ванья, но, кажется, только когда сели за стол, она сумела взять себя в руки.

– Што жену-то не привез? Але уж такая красавица – боишься, сглазим?

– А-а, – отмахнулся Егорша и повел глазом в сторону бутылки: не любил, когда словом сорили за столом допрежь дела.

– Наливай, наливай! – закивала живо Лиза. – В своем доме. – А сама опять начала его разглядывать.

Не красит время человека, нет. И она тоже за эти годы не моложе стала. Но как давеча, когда Егорша, входя в избу, снял шляпу, обмерла, так и теперь вся внутренне съежилась: до того ей дико, непривычно было видеть его лысым.

Многое выцвело, размылось в памяти за эти двадцать лет, многое засыпало песком забытья, но Егоршины волосы, Егоршин лен… Ничего в жизни она не любила так, как рыться своей пятерней в его кудрявой голове. И сейчас при одном воспоминании об этом у нее дрожью и жаром налились кончики пальцев.

– О'кей, – сказал Егорша, когда выпили.

– Чего, чего? – не поняла Лиза.

– О'кей, – сказал Егорша, но уже не так уверенно.

Она опять ничего не поняла. Да и так ли уж это было важно? Когда Егорша говорил без присказок да без заковырок?

После второй стопки Егорша сказал:

– Думаю, пекашинцы не пообидятся, запомнят приезд Суханова-Ставрова. Мы тут у Петра Житова, как говорится, дали копоти.

И вдруг прямо у нее на глазах стал охорашиваться: вынул расческу, распушил уцелевший спереди клок, одернул мятый пиджачонко, поправил в грудном кармане карандаш со светлым металлическим наконечником – всегда любил играть в начальников, – а потом уж и вовсе смешно: начал делать какие-то знаки левым глазом.

Она попервости не поняла, даже оглянулась назад, а затем догадалась: да ведь это он обольщает, завораживает ее.

А чем обольщать-то? Чем завораживать-то? Что осталось от прежнего завода?

И вот взглядом ли она выдала себя, сам ли Егорша одумался, но только вдруг скис.

Она налила еще стопку. Не выпил. А потом посмотрел в раскрытое окошко Григорий с малышами все-таки перебрался к хлеву на травку, – обвел дедовскую избу каким-то задумчивым, не своим взглядом и начал вставать.

– Куда спешишь? Каки таки дела в отпуску?

– Да есть кое-какие… – Он по-прежнему не глядел на нее.

– Ну как хочешь. Насилу удерживать не буду. – Лиза тоже поднялась.

Уже когда Егорша был у порога, она спохватилась:

– А дом-то будешь смотреть? Нюрка Яковлева, твоя сударушка, – не могла стерпеть: ущипнула, – избу через сельсовет требует. На Борьку заявление подала.

– Дом твой, чего тут рассусоливать.

– Сколько в Пекашине-то будешь? Захочешь, в любое время живи в передних избах. Татя хоть и отписал мне хоромы, а ты хозяин. Ты его родной внук.

Егорша как-то вяло махнул рукой и вышел.

3

Красное солнце стояло в дымном непроглядном небе, старая лиственница косматилась на угоре, обсыпанная черным вороньем. А по тропинке, по полевой меже шла ее любовь…

И такой жалкой, такой неприкаянной показалась ей эта любовь, что она разревелась.

Не счесть, никакой мерой не вымерить то зло и горе, которое причинил ей Егорша. Одной нынешней обиды вовек не забыть. Сидел, попивал водочку, может, еще на стену, на Васину карточку под стеклом смотрел – и хоть бы заикнулся, хоть бы единое словечушко обронил про сына!

И все-таки, видит Бог, не хотела бы она ему зла, нет. И пускай бы уж он явился к ней в прежней силе и славе, нежели таким вот неудачником, таким горюном и бедолагой.

Глава четвертая

1

Хлев овечий? Келейка, в каких когда-то кончали свои земные дни особо набожные староверы? Каталажка допотопных времен?

Всяко, как угодно можно назвать конуру на задворках у Марфы Репишной, куда она загнала своего двоюродного братца за пьяные грехи. В переднем углу уголек красной лампадки днем и ночью горит, груда черных старинных книг с медными застежками – это добро разберешь: околенка сбоку. И еще разберешь бересту, солнечно отсвечивающую на жердках под потолком, – Евсей Мошкин кормился всякими берестяными поделками: туесками, лукошечками, солоницами, на которые теперь большой спрос у горожан, – а все остальное в потемках. И потому хочешь не хочешь, а будешь верующим, будешь отбивать поклоны, ежели не хочешь лоб себе раскроить.

А в общем-то, чего скулить? Есть крыша над головой. И есть с кем душу отвести. С любой карты ходи – не осудят. А то ведь что за друзья-приятели пошли в Пекашине? Пока ты их горючим заправляешь, из бутылки в хайло льешь, везде для тебя зеленая улица, а карманы обмелели – и расходимся по домам.

Одно бесило в старике Егоршу – Евсей постоянно ставил ему в пример Михаила: у Михаила дом, у Михаила дети, у Михаила жизнь на большом ходу…

– Да плевать я хотел на твоего Михаила! – то и дело взрывался Егорша. Придмер… Подумаешь, радость – дом выстроил да три девки стяпал. А я страну вдоль и поперек прошел. Всю Сибирь наскрозь пропахал. Да! В Братске был, на Дальнем Востоке был, на Колыме был… А алмазы якутские дядя добывал? Целины, само собой, отведал, нефтью ручки пополоскал. Ну, хватит? А он что твой придмер? Он какие нам виды-ориентиры может указать? То, как на печи у себя всю свою жизнь высидел?

– Илья Муромец тоже тридцать лет и три года на печи сидел, да еще сидел-то сиднем, а не о прыгунах-летунах былины у людей сложены, а об ем.

– Не беспокойся! По части былин у меня ого-го-го! Я этих былин… Я всю Сибирь солдатами засеял! Кумекаешь, нет? Один роту солдат настрогал. А может, и батальон. Так сказать, выполнил свой патриотический долг перед родиной. Сполна!

Евсей отшатнулся, замахал руками: не надо, не надо! И это еще больше раззадорило Егоршу:

– Ух, сколько я этих баб да девок перебрал! Во все нации, во все народы залез. Такую себе задачу поставил, чтобы всех вызнать. Казашки, немки, корейки, якутки… Бугалтерию надо заводить, чтобы всех пересчитать. Мне еще смалу одна цыганка нагадала: "Ох, говорит, этот глаз бедовый синий! Много нашего брата погубит…"

– Нет, Егорий, нет, – сокрушался Евсей, – ты не баб да девок губил, ты себя губил.

– Че, че? Себя? Да иди-ко ты к беленьким цветочкам! Баба на радость мужику дадена. Понятно? Бог-то зря, что ли, Еву из ребра Адамова выпиливал? Не беспокойся, мы кое-что по части твоей религии тоже знаем. Слушали антирелигиозные лекции и на практике курс прошли. Одна святоша мне на Сахалине попалась – ну стерва! Без молитвы да без креста на энто дело никак!..

– Грех-то, грех-то какой, Егор!

– Чего грех? С молитвой-то в постель грех? Я тоже, между протчим, ей это говорил…

И тут уж Егорша открывал все шлюзы – до слез доводил старика своими похабными россказнями.

Мир всякий раз восстанавливали с помощью «бомбы». Совсем неплохое, между протчим, винишко, понравилось Егорше: и с ног напрочь не валит и температуру нужную дает, а потом слово за слово – и, смотришь, опять на Михаила выплывали. Опять на горизонте начинал дом его маячить.

– А главный-то дом знаешь у Михаила где? – как-то загадочно заговорил однажды старик. – Нет, нет, не на угоре.

– Чего? Какой еще главный? – Егорша от удивления даже заморгал.

– Вот то-то и оно что какой. Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов,

– Я так и знал, что ты свой поповский туман на меня нагонять будешь.

– Нет, Егорушко, это не туман. Без души человек яко скот и даже хуже…

– Яко, яко… Ты, поди, целые хоромы себе отгрохал, раз Мишка – дом? Так?

– Нет, Егорий, не отгрохал. Я себя пропил, я себя в вине утопил. Нет, нет, я никто. Я бросовый человек. Не на мне земля держится.

– А на Мишке держится?

– Держится, держится, – убежденно сказал Ев-сей. – И на Михаиле держится, и на Лизавете держится.

– На моей, значит, бывшей супружнице? – Егорша усмехнулся и вдруг грязно выругался.

– Ох, Егорий, Егорий! До чего ты дошел…

– Чего – дошел? Лизавета святая… На Лизавете земля держится… А она за кого держится? Ветром надуло ей двойню, а? Я по крайности грешу всю жизнь, дан прямо и говорю: сука! Люблю подолы задирать. А тут двоих щенят сразу с чужим мужиком схряпала – все равно

придмер, все равно моральный кодекс…

Плачущий, как ребенок, Евсей опять с испугом замахал руками: будет, будет! Бога ради остановись!

– Хватит! Потешились, посмеялись кому не лень. Ах, ох… постарел… лысина… Мы-де чистенькие, близко не подходи. Я покажу тебе – чистенькие! Я покажу, как Суханова топтать!

– Што, што ты надумал, Егорий?

– А вот то! – Егорша вскочил на ноги. – Ха, на ей земля держится! Они домов понастроили – не горят, не тонут. Посмотрим, посмотрим, как не горят. Посмотрим, как эти самые, на которых земля держится, у меня в ногах ползать будут! Вот тут, на этом самом месте!

– Егор, Егор! – взмолился Евсей. – Не губи себя, ради Бога. Што ты задумал? На кого худо замыслил? Да ежели на Лизавету, лучше ко мне и не ходи. Я и за стол с тобой не сяду.

– Сядешь! Рюмочка у нас с тобой друг. А этот друг, сам знаешь, на разбор не очень. – И с этими словами Егорша выкатился из конуры.

2

Она не поверила, самой малой веры не дала словам Манечки-коротышки, потому что кто не знает эту Манечку! Всю жизнь как сорока от дома к дому скачет да сплетни разносит.

– Не плети, не плети! – осадила ее Лиза и даже ногой топнула. – Избу Егорша продает… С чего Егорша будет продавать-то? С ума спятил, что ли?

А вскоре на телятник прибрела, запыхавшись, Анфиса Петровна, и тут уж хочешь не хочешь – поверишь.

– Бежи скорее к Пахе-рыбнадзору! Тот иуда избу пропивает.

И вот заклубилась, задымилась пыль под ногами, застучали, захлопали ворота и двери. Паха в одном конце деревни, Петр Житов в другом… В сельпо, в ларек заскочила, к Филе-петуху наведалась – тоже не последний пьяница. Всю деревню прочесала, как собака по следу за зверем шла.

Отыскала у Евсея Мошкина – за «бомбой» сидят.

– А-а, что я тебе говорил? Что? – Егорша закричал, заулюлюкал, как будто только ее прихода и ждал. – Говорил, что сама приползет? Вот тебе и дом не горит, не тонет. Все шкуры, все святоши, покуда огонек не лизнет в одно место!.. Думаешь, из-за чего она пришлепала? Из-за дома главного? Как бы не так! Из-за того, в котором живет. Из-за того, что я малость жилплощадь у ей подсократил…

Лиза молчала. Бесполезно взывать к Егорше, когда он вот так беснуется (она это знала по прошлому), – дай выкричаться, дай выпустить из себя зверя. И тогда делай с ним что хочешь, голыми руками бери – как голубь, смирнехонек.

– Егорий… Лизавета Ивановна…

– Цыц! – заорал Егорша на пьяного старика и опять начал звереть, на глазах обрастать шерстью.

И Лиза, как слепой котенок, тыкалась своими глазами ему в мутные, пьяные глаза, в обвисшие – мешочками – щеки, в опавший полусгнивший рот, чтобы найти лазейку к его сердцу – ведь есть же у него сердце, не сгнило же напрочь! – и Егорша, как всегда, как раньше, как в те далекие годы, когда она соломкой стлалась перед ним, когда при одном погляде его тонула в его синих нахальных глазах, разгадал ее.

– Ну че, че зеленые кругляши вылупила? Не ожидала? Дурачки, думаешь, кругом? "Я ведь вон как тебя встретила… на постой к себе приглашала…" Я покажу тебе постой в собственном доме! Я покажу, как хозяина законного по всяким конурам держать! Я докажу… Имею… Закон есть…

Надо бы плюнуть в бесстыжую рожу, надо бы возненавидеть на всю жизнь, до конца дней своих, а у нее жалость, непрошеная жалость вдруг подступила к сердцу, и она поняла, почему так лютует над ней Егорша. Не от силы своей, нет. А от слабости, от неприкаянности и загубленности своей жизни, оттого, что никому-то он тут, в Пекашине, больше не нужен. Но бес, бес дернул ее за язык:

– Ты меня-то казни как хошь, топчи, да зачем деда-то мертвого казнить дважды?

И этими словами она погубила все.

Сам сатана, сам дьявол вселился в Егоршу. И он просто завизжал, затопал ногами. И она больше не могла выговорить ни единого слова.

Как распятая, как пригвожденная стояла у дверного косяка. Нахлынуло, накатило прошлое – отбросило на двадцать лет назад. Вот так же было тогда, в тот роковой вечер, вот так же кричал тогда и бесновался Егорша, перед тем как исчезнуть из Пекашина, навсегда уйти из ее жизни.

3

Михаила дома не было, иначе у нее хватило бы духу, преступила бы запретную черту, потому, что не со своей докукой – ставровский дом на карту поставлен; Петра она сама проводила на пожар, чтобы отвести беду от Михаила (того, по словам Фили, чуть ли не судить собираются – будто бы на пожар ехать отказался); на Григория валить такую ношу – своими руками убить человека…

Что делать? С кем посоветоваться?

Побежала все к той же Анфисе Петровне – кто лучше ее рассудит?

– В сельсовет надо, – сказала Анфиса Петровна, ни минуты не раздумывая.

– Да я уж тоже было так подумала… – вздохнула Лиза.

– Ну дак чего ждешь? Чего сидишь?.. А-а, вот у тебя что на уме! Родной внук, думаешь. Думаешь, как же это я против родного-то внука войной пойду? Не беспокойся. Его еще дедко дома лишил. Знал, что за ягодка растет… Да ты что, дуреха, – закричала уже на нее Анфиса Петровна, – какие тут могут быть вздохи да охи? Для того Степан Андреянович полжизни на дом положил, чтобы его по ветру пускали да пропивали? Ты подумала об этом-то, нет?

Председатель сельсовета был у них новый, хороший мужик из приезжих, не то что Суса-балалайка. Все честь по чести выслушал, выспросил, но под конец сказал то, чего она больше

всего боялась: в суд надо подавать. По суду такие дела решаются.

Нет, нет, нет, замотала головой Лиза. В суд на Егоршу? На родного внука Степана Андреяновича? На человека, которому она свою девичью красу, свою молодость отдала? Ни за что на свете!

Побежала еще раз к Пахе-рыбнадзору.

Паха Баландин все деревни окрест в страхе держал. Издали такой закон половина штрафных денег рыбнадзору. А штрафы какие: за одну семгу восемьдесят рублей, за харьюса пять рублей, за сига десять. Вот он и лютует, вот он и сыплет штрафы направо и налево: за один выход на Пинегу двести рублей в карман кладет.

В прошлом году мужики припугнули ружьем: стой, коли жить не надоело! Не дрогнул. «Вихрь» свой с кованым носом разогнал – вдребезги разнес лодку у мужиков, те едва и спаслись.

И вот к такому-то человеку, а лучше сказать нечеловеку, Лиза второй раз сегодня торила дорогу – давеча в усмерть упился, лыка не вязал.

– Где у тебя хозяин-то? На порядках ли? – спросила у жены, развешивавшей у крыльца белье.

– В сарае.

В сутемени сарая Лиза только по лысине и угадала: утонул, запутался в сетях. Как паук.

– Ну, Павел Матвеевич, и богатства у тебя. Хоть бы мне одну сетку продал.

– Марш с государственного объекта! Вход посторонним запрещен!

– Да не реви больно-то, я не жена, чтобы реветь-то. Откуда мне знать, что у тебя и сараи государственные?

Так вот со злой собакой разговаривать надо. Без страха.

Паха все же вытолкал ее из сарая, захлопнул дверь, прикрыл собой. Маленький, брюхатый, ножонки в спортивных объехавших штанишках кривые непонятно, почему все и боятся его. И только когда встретилась с глазами два ружья на тебя наставлены – поняла.

– Вопросы? – опять гаркнул Паха. Коротко, по-военному – разучился по-человечески-то говорить.

– А вопрос один: зачем в чужой дом вором лезешь?

– Дальше!

– А дальше вот что тебе скажу, Павел Матвеевич, – у меня бумага есть. Сам татя мне дом перед смертью из рук в руки передал.

– Все? – Паха сплюнул. – Теперь слушай сюда, что я буду говорить. Пункт первый: за вора привлеку к ответственности, поскоко оскорбление личности. Понятно тебе? Пункт второй: заткнись! Поскоко бумага твоя липовая.

– Липовая? Это завещанье-то липовое? Да ты обалдел?

– А я заявляю: липовое! – сквозь зубы процедил Паха. – А доказательства найдешь у себя дома в зыбке. Есть еще вопросы к суду?

Не было, не было у нее больше вопросов. Паха заткнул ей рот, сказал то, чего она больше всего боялась, о чем сама не раз про себя подумала.

Дети, дети у тебя чужие! Дети не ставровской крови – вот о чем сказал ей Паха. А раз дети чужие, какая цена твоему завещанью? Старик-то для чего оставил тебе свой дом? Чтобы ты чужих детей разводила?..

Отогнали, видно, пожары от Пекашина, на той стороне Пинеги впервые за последние дни проглянул песчаный берег, ребятишки высыпали на вечернюю улицу… А ей как из дыма выбраться? ЕЙ что делать?

Дома ее ждал еще один удар – Нюрка Яковлева со своим Борькой в дом вломилась. Силой, без спроса заняла нижнюю половину передка.

Глава пятая

1

Лыско целыми днями, целыми сутками лежал вразвалку в заулке, пинком не оторвешь от земли, а тут, на Марьюше, будто подменили пса, будто живой водой спрыснули: весь день в бегах, весь день в рысканье по кустам, по лывам.

Но только ли Лыско ожил на сенокосе? А хозяин?

Сутки, всего сутки пробыл Михаил в деревне, а душу и нервы вымотал за год. Сперва причитания жены– то не сделано, это не сделано, хоть работницу для нее заводи, – потом эта новая схватка с Таборским и его шайкой, потом Егорша…

Сукин сын, мало того что из-за него всю ночь не спали, решил еще заявиться самолично. Под парами, конечно: всегда и раньше в бутылке храбрости искал. Подошел – он, Михаил, как раз собирался ехать на Марьюшу, руку кверху, глаз вприжмур, как будто вчера только и расстались:

– Помнят здесь еще друзей молодости? Не забыли?

– Молодость помним, – с ходу, ни секунды не задумываясь, ответил Михаил, – и друзей помним, но только не подлецов!

А как еще с ним разговаривать? На что он рассчитывает? Может, думал, под руки его да за стол?

Потом, водой вышли все нервы и психи в первый же день, а потом в раж вошел – про все забыл, даже про больную руку. Просто осатанел – часами махал косой без передыху. И мнение о себе такое разыгралось, на такие высоты себя подымал, что дух захватывало.

И вот раз смотрел, смотрел вокруг – с кем бы помериться силенкой, кого бы на соревнование вызвать? Один на лугу, никого вокруг, кроме кустов да старого Миролюба, лениво помахивающего хвостом, и до чего додумался? Солнце вызвал… Давай, мол: кто кого?

Ну и жали, ну и робили! Солнце калит, жарит двадцать один час без передыху – и он: три-

четыре часа вздремнет, а все остальное время – коса, грабли, вилы.

2

Боль в руке началась ночью. Проснулся – огнем горит левая кисть.

Он вышел из избушки на волю. Всходило солнце. Лыско хрустел костями в кустах – должно быть, поймал зайчонка или утенка.

Михаил развязал обтрепавшийся, посеревший от грязи бинт и поморщился: закраснела, распухла ладонь, как колодка. Подумал, чем бы смазать, и ничего не придумал. Сроду не знал никаких лекарств, все порезы, все порубы заживали сами собой, как на собаке.

Все же он сделал примочку из холодного чая, оставшегося с вечера в чайнике, покурил и пошел косить: росы почти не было, но все-таки с раннего утра косить легче, то крайней мере, не так жарко.

За работой боль утихла, да и некогда было о ней раздумывай, а пришел к избе перекусить – и опять огонь в руке.

В обед он почти ничего не ел, только все нажимал на чай, полтора чайника выпил. Но что его особенно расстроило – не мог курить. А это верный признак того, что у него температура.

Еще работал полдня и назавтра полдня работал, потому что травы навалено было гектара три – как не прибрать, прежде чем отправляться домой? А вдруг зарядят дожди?

Не удалось прибрать. К полудню у него начало двоиться в глазах солнце, а потом уж и совсем чертовщина: черные колеса закатались перед глазами…

Собрав последние силы, Михаил отвязал с привязи Миролюба – иначе пропадет конь – и на большую дорогу.

Как продирался через кусты, через кочкарник, как лежал у дороги в ожидании попутной машины – помнил, и помнил, как в районную больницу входил, а дальше что было, надо у людей спрашивать.

После операции Евгений Александрович Хоханов, главный врач районной больницы, сказал:

– Ну, Пряслин, моли Бога за тех, кто тебя так выковал. Другой бы на твоем месте пошел ко дну. А уж насчет того, что без руки остался бы, это точно.

3

Недолго, неполную неделю томился Михаил в больнице, а с чем сравнить то чувство радости, которое хватило его, когда за ним захлопнулись ворота больничной ограды?

Все вновь, все заново: земля, воздух, синь небесная над головой. На райцентровские мостки ступил – вприпляс. Но стой: больная рука! Такой вдруг болью опалило, что он закусил губу.

В нижнем конце райцентра Михаилу не доводилось бывать лет десять, а то и больше, и он теперь с изумлением и любопытством школьника вглядывался в новые улицы, в новые дома и магазины.

Разбухла, разрослась районная столица, уже в поля залезла, уже сосняк на задворках под себя

подмяла, и все ей места мало – за. ручей шагнула. А ведь он, Михаил, помнил ее еще деревней – с амбарами, с гумнами, с изгородями жердяными, пряслами.

После войны райцентр стал набирать силу. Мужиков собралось людно – в первую очередь укрепить руководящие кадры районного звена! – а жить где? Вот они и начали по вечерам да по утрам топориком поигрывать, благо перышко конторское не очень-то выматывало за день. И было дико в те годы видеть: как грибы растут новые дома в райцентре и хиреют, пустеют с каждым годом деревни.

Самое видное здание в райцентре, конечно, райком. Просторный двухэтажный домина кирпичной кладки, или, как теперь принято говорить, в каменном исполнении (на веки вечные поставлен!), и внутри нарядно, как в храме: пол из цветной плитки, стены расписные, зеркала – с ног до головы видишь себя…

Кабинет Константина Тюряпина на первом этаже был закрыт, и Михаил, пожав плечами, пошел наверх.

– Здравствуй, здравствуй, товарищ Пряслин!

Северьян Матвеевич, инструктор райкома, сбегал с лестницы. Как всегда, чистенький, вежливенький, сладкоречивый, очень похожий на юркого воробья и своей проворностью, и своим острым личиком с черными бегающими глазками.

Михаил пожал протянутую руку.

– Слышал, слышал про твои дела. – Северьян Матвеевич участливо кивнул на больную руку. – С каким вопросом пожаловал?

– Да не знаю. В больнице сказали, чтобы к Тюря-пину зашел.

– К Константину Васильевичу? На партактиве он, парень. Партактив у нас сегодня работает. Первый вопрос обсудили – заготовка кормов, сейчас к борьбе с алкоголем перешли. Советовал бы заглянуть в ожидании.

Глава шестая

1

Вот это да! – мысленно ахнул Михаил, когда вслед за Северьяном Матвеевичем вошел в зал.

Окна во всю стену, от пола до потолка, хоть на лошади въезжай, с занавесями белыми, шелковыми – как паруса, натянуты ветром, – люстры с хрустальными подвесами, красная ковровая дорожка через весь зал, от дверей до сцены, сиденья мягкие… Его в Москве как-то сват затянул к себе на заседанье – куда там до этого зала!

А вот насчет бумажного бормотанья… Как зачалась у них эта канитель в районе после Подрезова, так и по сю пору продолжается.

Выходил на трибуну начальник сельхозтехники, выходила молоденькая совхозная доярка, выходил главный инженер леспромхоза – все первым делом вынимали бумажку.

Михаил немного оживился, когда слово предоставили начальнику стройколонны Хвиюзову. Хвиюзовские гвардейцы по части пьянки давно уже первенство по району держат, да и сам

Хвиюзов выпить не дурак. Две бутылки опростает – только во вкус войдет, только голос прорежется – страсть мастер анекдоты наворачивать.

Нет, и Хвиюзов не обрадовал. Подменили мужика. Отчитал что положено – и с колокольни долой. Даже на людей забыл взглянуть.

Сосед у Михаила, знакомый шофер с Шайволы, дремал, уронив на грудь большую голову с подопрелым волосом. Другие вокруг тоже водили отяжелевшими головами. И ничего удивительного в том не было. Бумажная бормотуха кого угодно в сон вгонит, а тем более работягу, который, может, чтобы попасть на это совещание с Дальнего покоса или лесопункта, всю ночь не спал. Да и вообще – кто это сказал, что у заседателей легкая жизнь?

Михаила в конце концов тоже укачало.

Очнулся он от толчка соседа:

– Вставай, начальство твое на трибуну лезет. Точно, Антон Таборский взбегал на сцену. Поначалу, как все, надел очки, развернул бумажку, дал запев:

– Товарищи, обсуждаемое постановление – это документ огромного исторического значения, новое проявление заботы… новый вклад…

В общем, не придерешься – не вышел из установленной борозды, сказал все нужные слова, а потом бумажку в сторону, бах:

– Для русского Ивана это постановление, скажем прямо, самое трудное постановление изо всех постановлений, какие были и какие еще будут, под корень режет…

Смех, хохот, топот. Даже в президиуме заулыбались – белой подковой просиял зубастый рот на смуглом лице первого секретаря.

– А чего смеяться-то, дорогие товарищи? – Таборский прикинулся дурачком: великий мастер по части прикидона. – Плакать надо. Ведь кабы мы как люди пили, кто бы нам чего сказал? А то ведь мы все наповал, все до схватки с землей…

Опять смех и хохот.

– Давай по существу, товарищ Таборский, – мягко поправил первый секретарь.

Таборский секунды не задумывался – всегда слово на языке:

– А по существу, Григорий Мартынович, все в докладе райкома сказано. А наше дело известно – выполняй. Ставь первым делом ограничитель у себя в горле да мобилизуй массы.

Тут уж не смех, одобрительный гул прошел по залу – всем понравилось, что Таборский не отделяет себя от других, не корчит из себя трезвенника.

– Ну а в части конкретных предложений, товарищи, – Таборский поискал кого-то глазами в зале, – то я целиком и полностью согласен с Марьей Федоровной, нашей заслуженной учительницей РСФСР. Замечательно, в самую точку сказала Марья Федоровна: одной силой бутылку не сокрушишь. Она сама кого хошь с ног валит. Надо, понимаете ли, культуру двинуть на эту зеленоглазую стерву. Да по всему фронту. А то у нас что получается? Пекашино взять, к примеру. Клуб новый построили – спасибо, а про самодеятельность и забыли. Вот наши

мужики, понимаете, и прутся к Петру Житову в ресторан «Улыбка», чтобы свою самодеятельность развернуть…

Таборского проводили с трибуны аплодисментами. И, честное слово, будь у Михаила рука здоровая, он бы тоже ударил в ладоши. Прохвост, сукин сын, жулик из жуликов, а вышел на трибуну – и свежим ветром дохнуло.

2

С Костей Тюряпиным Михаила свела жизнь еще в сорок четвертом году на сплаве – тогда под Выхте-мой они до самой ледяной шуги бродили с баграми в Пинеге, приказ родины выполняли: всю, до последнего бревна древесину пропихать через выхтемские мели. И попервости после войны, когда сталкивались в райцентре, всегда вспоминали те дни. Да и вообще им было о чем поговорить: у обоих отцы на войне убиты, обоим семьи многодетные пришлось вытаскивать на своем горбу. А потом начались кукурузные дела, Михаила с треском, с пропечаткой в районке и областной газете сняли с бригадиров, и Тюряпин замкнул свои уста: кивать при встрече кивал, а звук пропал начисто.

И вот сейчас, попыхивая папироской в шумном, переполненном людьми вестибюле – весь зал сюда высыпал, – Михаил припомнил все это и вдруг подумал: а может, не ходить? Может, дать поворот на сто восемьдесят градусов – и будьте-нате? В случае чего всегда можно отбрехаться: забыл, болен, на автобус торопился. Да и вообще с каких это пор у Тюряпина дела к нему?

Пошел. Терпеть не мог трусов.

– Заходи, заходи, товарищ Пряслин, – встретил его Тюряпин и кивнул на стул у дверей. – Присаживайся.

Михаил сел.

Тюряпин, не глядя на него, зашелестел бумажками. Ручищи большущие, суковатые, сразу видно, что не от карандашика жить начал, плечи в развороте на метр, а вот головка какой была, такой и осталась – малюсенькая, с рыжим хохолком, и Михаил невольно скосил глаз на вешалку в углу возле дверей, где висела шляпа: какой же, интересно, он размер носит?

Тюряпин прокашлялся.

– С тобой, товарищ Пряслин, первый собирался потолковать, да у Григория Мартыновича сегодня, вишь, народ, руководители производства…

Михаил ждал. Второй раз называл его Тюряпин товарищем, а это не предвещало ничего хорошего.

Так оно и оказалось.

– Претензии к тебе, товарищ Пряслин. И очень серьезные претензии. По части производственной дисциплины… – Тут Тюряпин поднял наконец свои глаза. – Работать людям мешаешь…

– Это кому мешаю? Таборскому? – Михаил сразу понял, откуда ветер дует.

– Таборский у нас, между прочим, не последний человек в Пекашине. Может управляющий работать, когда рабочие не едут на дальние сенокосы? А пожар? Имей в виду: за уклонение от

пожара у нас закон ясный– суд. – Тюряпин разжег наконец себя. И глаз поставил – в упор смотрел.

Но и Михаила заколотило. Потому что все это вранье и брехня от начала до конца. Русским языком было сказано этому Таборскому: нынче на Верхнюю Синельгу не поеду. Может он за тридцать лет хоть одну страду возле дома потолкаться, тем более что братья приехали? А насчет пожара и вовсе ерунда. Когда это он от пожара уклонялся? Как он мог с порезанной-то рукой на пожар ехать?

– А на Марьюшу мог? – опять прижал его Тюряпин.

– И на Марьюшу не мог. Да потому что осел, потому что дурак законченный. Думаю, хоть одной рукой сколько пороблю. А Таборскому, видишь, лучше, чтобы я и на Марьюшу не ездил. Ничего, придет время, вот помяните мое слово, сами погоните этого жулика. Баснями-то все время сыт не будешь.

Тюряпин спросил:

– Яковлева Ивана Матвеевича знаешь?

– Знаю. А чего?

– Хороший тракторист?

– Ничего, крутит колеса.

– А Палицын Виктор? Михаил пожал плечами.

– А Сергей Постников?

– На поряде парень. Бутылку стороной не обходит, но нет этого, чтобы по неделям зашибать.

– Дак вот, товарищ Пряслин. – Тюряпин сделал выдержку. – Не управляющий жалуется на тебя, а механизаторы. Вот под этим заявлением, – Тюряпин приподнял бумагу, – девять подписей. – "Примите меры... Срывает и дезорганизует производственный процесс..." Такие заявления, скажем прямо, не часто поступают в райком.

Михаил был оглушен, сражен наповал. С механизаторами, правда, у него бывали стычки – погано пашут, семена только переводят, а ведь без стычки какая жизнь? Неужели безобразие видишь – и молчать?..

– Дак съездил, говоришь, в Москву? Побывал в столице нашей родины?

Михаил поднял глаза на Тюряпина и себе не поверил: Тюряпин улыбался. И в голубых маленьких глазках его с желтыми цыплячьими ресничками чуть ли не мольба: дескать, не взыщи. Служба есть служба. А теперь, когда дело сделано, можно поговорить и по-товарищески, по душам.

Михаил решительно встал. Нет, такие фокусы не по нему. Либо – либо. Либо ты вместе с Таборским и со всей его жулябией, либо против. А крутить хвостом и вашим и нашим – не выйдет.

3

Редко кто из председателей так нравился Михаилу, как Антон Таборский.

Колхоз принял – все счета в банке арестованы, колхозникам за полгода ни копейки не плачено.

Не растерялся. Нашел деньги.

С леспромхоза арендную плату за склад у реки (десять лет с лишним не платили) взыскал, покосы по Ильмасу и Тырсе как заброшенные райпотребсоюзу загнал и еще сорок тысяч – новыми – слупил за лесок – украинцам продал, так сказать, в порядке братской помощи.

Любо стало при новом председателе и в колхозную контору зайти, а то ведь у Андреяна Матюшина, старого обабка, как было заведено? Я язвой желудка мучаюсь – и все кругом мучайтесь. Ни пошутить, ни посмеяться в конторе. Курить за дверь выходи. А с водворением Таборского, казалось, само веселье в Пекашино въехало. И никаких прижимов, никаких притеснений: сам цыган и другим цыганить не мешаю. Только не попадайтесь.

Вот по этому-то пункту у Михаила и начались первые «стыковки» с новым председателем. Раз сказал – механизаторы свое добро с колхозным путают, а попросту все домой тащат, что попадет под руку: бревна, запчасти, инструмент, сено, картошку, – два сказал, а третьего раза сами механизаторы ждать не стали – стеной, валом пошли на общем собрании: Пряслин технически малограмотен, Пряслин не обеспечивает руководство бригадой, Пряслин вносит разлад в коллектив…

Но окончательно раскусил Михаил Таборского позднее, когда началась эта кукурузная канитель.

Поверил попервости: хрен его знает, может, и в самом деле придумали наконец, как хлебом засыпать страну. Сделал все как требовалось: земля самолучшая, навозу – навалом и садили по веревочке – сам каждое зернышко в землю впихивал.

Не далась царица полей. Летом стали пропалывать – от сорняка не отличишь. И на второй год силу свою не показала. А на третий Михаил сказал: хватит! Без меня играйте в эту игру!

– Да ты с ума спятил! – попытался вразумить его Таборский. – Платят тебе по высшему тарифу – не все равно, какой гвоздь куда забивать?

– Не все равно.

– Ну смотри, смотри, Пряслин. За такие дела знаешь как у нас шлепают?

И шлепнули.

С этого времени у Михаила и пошла война с Таборским. И к нынешнему письму механизаторов – Михаил не сомневался – приложил свою лапу и Таборский. Расчет тут простейший: руками народа заткнуть глотку своему недругу. На всякий случай. Впрок. Загодя.

4

Водку в сельпо не продавали: нельзя! Собранье сегодня против водки, а ты вишь чего захотел? Но вскоре явилась знакомая продавщица и кое-как удалось выклянчить.

Михаил выпил бутылку не закусывая, прямо на ящиках за магазином – в это «кафе» он и раньше наведывался не раз, – подождал, пока всю сегодняшнюю муть не смыло с души, и,

тихий, успокоенный, размеренным шагом пошел к заветному дому рядом с двухэтажным зданием, где когда-то помещалась школа.

Немо, пустынно было в заулке, поросшем зеленой травой, и он не таясь встал посреди него, поднял, глаза к горнице на втором этаже, к двум небольшим окошкам, в которые когда-то смотрела на белый свет она.

Здравствуй, сказал про себя. Я пришел. А затем он, как всегда, сидел на старом бревне у забора, где еще с прошлого раза валялись его окурки, и мысленно, как молитву, читал письмо, которое получил в бытность свою в армии.

"Миша, я долго не хотела тебя расстраивать, две недели думала, как быть, писать, нет, потому что кто не знает, каково солдатскую службу служить, ну больше не могу. Раз сам наказывал все писать как есть, без утайки, напишу. Хуже будет, ежели другие напишут. Да и чего, думаю, тебе больно-то убиваться, переживать – дело прошлое, семейный теперь человек. Жена эдакая краля – по всему району такой не сыщешь. И как любит тебя – я не знаю, каждый день высчитывает, только и говори у ей, что о тебе. Миша, поубавилось у нас народу в Пекашине, нет больше Варвары Иняхиной, царство ей небесное. И Григорий Минин, ейный проживатель, вскоре вслед за ней убрался.

Я эту Варвару, врать не стану, кляла всю жизнь, всю жизнь самыми последними словами называла, а теперь думаю, может, и зря называла. Может, и ее не очень солнышко на этом свете обогрело. Мужа убили на войне, Григорья не любила, от нужды связалась. Ладно, не давай ты мне плести чего не надо. Это ведь я на бабью-то слезу настроилась – себя пожалела. Все нет весточки от того лешака, второй уж год пошел как гулят…

Ох, Миша, Миша, не знаю, как тебе все и сказать. Ведь Варвара-то у меня сидела за час до смерти. Я пришла с коровника, пью чай с Васей, вдруг дверь открывается – она. Я не видела, как и под окошками прошла. "Не выгонишь?" Что ты, говорю, ничего-то скажешь. Заходи, заходи. Садись чай с нами пить. Как мне гнать-то, когда я сама выгната? Ну ладно, чаю попили, поговорили, веселая такая и все в окошко, все в окошко на реку смотрит. Чего, говорю, не видала, что ли, Пинегу-то, из окошка глаза не вынимаешь? "Хочу, говорит, на родные места в последний раз досыта наглядеться. Далеко, далеко уеду. Новую жизнь начинать буду. Как думаешь, получится у меня новая жизнь?" Получится, говорю. Вишь ведь, говорю, парень-то мой вцепился в тебя. А Вася и вправду, как взяла она его на руки, так и прилип к ней, на меня не взглянет. Я еще подивилась тогда. Ну, думаю, чудеса какие. С первого раза к чужому человеку пошел.

Вот чаю мы скорехонько попили, сам знаешь, какая у скотницы жизнь – все некогда, все на бегу, стали прощаться. "Лизавета, говорит, можешь ты, говорит, уважить мою последнюю просьбу?" А я со своими коровами. И не думаю, что за последняя. Я уж потом вспомнила, что она «последнюю-то» сказала. Давай, говорю, говори скорее, какая твоя просьба. И вот, Миша, не надо бы теперь это говорить, ни к чему тебя расстраивать, да раз я пообещалась покойнице, как не сказать. Меня схватила за обе руки выше локтя, сама вся трясется, в глаза мне заглядывает: "Лизавета, говорит, скажи, говорит, Михаилу, что я всю жизнь одного его любила, всю жизнь. Пущай, говорит, он будет счастлив и за себя и за меня". И тут я и сказать ничего не успела, меня обняла, поцеловала в щеку и вон. А через час какой Александра Баева на скотный двор прибежала: "Бабы, говорит, ведь Варвара Иняхина потонула. За реку переезжала, из лодки выпала…"

Глава седьмая

1

Есть, есть все-таки радости на этом свете!

Еще не успело отыграть в воротцах стальное кольцо, еще не успел он как следует войти в заулок да потрепать здоровой рукой Лыска, который со всех ног бросился навстречу хозяину, а в доме уж загремели, загрохали двери, и вот уж все три дочери виснут на нем.

– Руку-то, руку-то, сатанята!

Эх, жаль, не может он сейчас подхватить их на руки да на руках втащить в дом. Любил он раньше, возвращаясь домой, проделывать такие штуки!

Стол по случаю семейного праздника – и дочери из Москвы приехали, и хозяин из больницы вернулся – накрыли в столовой, а не на кухне. Но первым делом, конечно, не еда, а домашний смотр: кто как за это время вырос.

– Давай, давай, выходи на показ! – весело скомандовал умывшийся, посвежевший Михаил, занимая свое хозяйское место за столом.

Кареглазая, рослая Вера выскочила в джинсах, в одном лифчике (чтобы не заставлять ждать отца), и мать по этому поводу высказалась:

– Срамница! Не стыдно – растелешилась?

– А чего стыдно-то? – несказанно удивилась Вера. – Это перед папой-то стыдно?

Она круто тряхнула темными косами, повернулась так, повернулась эдак еще чего, папа?

Да, эта вся нараспашку – никаких секретов от отца. Зато уж Лариса без кривлянья обойтись не могла – клевакинская породка! Вдруг ни с того ни с сего начала закатывать голубые наваксенные кругляши, вилять задом – как будто вовсе и не отец перед ней сидит, а какой-нибудь парень или мужик. А в общем-то, подумал Михаил, и эта ничего. В городе ее ровня такие номера откалывает – ой-ой! Сам видел.

Под конец всех уморила младшая – тоже стала вертеться перед отцом. И тоже в брючках.

– Так, так, девки, – сказал Михаил. – Штанами обзавелись. Теперь еще матери осталось разжиться.

– Вот, вот! Только и не хватало матери этого добра.

– А что? – Михаил подмигнул Раисе. – Социалистические накопления не позволяют?

– Ой, папа! – взвилась со своего стула Вера. – Я и забыла. Тебе подарок от Бориса Павловича. И вот на столе уже три бутылки самолучшего пивка. Чешского! Со знакомыми яркими наклейками. И Михаил подряд, без роздыху осушил две бутылки.

Начались расспросы и рассказы о Москве, о том, что видели, где были, как принимала своих племянниц тетка.

Лариса, конечно, была без ума от Москвы, по ней тамошняя жизнь, и, надо полагать, туда со

временем и уберется. Сумеет приласкаться, прильнуть к тетке. А Вере Москва не понравилась.

– Да ты что? – только и мог сказать Михаил.

– А чего – все одно и то же, никуда ке выйдешь.

– В Москве-то никуда не выйдешь?

– Ну! Плюнуть негде, все народ. Вот, папа, то ли дело у нас! У нас хоть босиком можно досыта набегаться, луку свежего до отвала поисть. – И как начала-начала уминать зеленую траву за обе щеки с хрустом, с прищелкиванием белыми крепкими зубами – любо смотреть.

– Ну а что-нибудь-то тебе понравилось все-таки? – продолжал допытываться он.

– Понравилось, – кивнула Вера. – Мотоцикл гонять. Ой, папа, какой мот у мальчишки с соседней дачи – в обморок упадешь! Когда мы купим?

– Игрушка тебе мотоцикл-от! – сразу же осадила ее мать. – Знаешь, нет, сколько он стоит?

– Когда-нибудь купим, доча, – сказал Михаил, а про себя подумал: до чего же похожа на него Вера!

Ведь и ему, откровенно говоря, скучновато было в Москве. Жил, конечно, глядел на все, в каждую щель нос совал, но Господи, как же он обрадовался, когда сошел с самолета на архангельском аэродроме! А когда под его ногой запели деревянные мостки райцентра, он ведь как самый последний дурак прослезился.

2

Целый месяц было тихо по вечерам возле пряслинского дома, целый месяц никто не буровил воздух вокруг, а сегодня Михаил вышел на крыльцо мотоциклы фыркают: кавалеры на своих железных кониках подъехали. Сразу трое – Родька Лукашин в белой рубахе да Генка Таборский с Володей Фили-петуха.

Последних двух он обычно не замечал – сопленосые еще, оба в школу ходят, катают Лариску и ладно, – но с Родькой приходилось считаться. Взрослый парень, его ровня уже в армии отслужила.

– Привет, привет, Родион! – поднял здоровую руку Михаил, спускаясь с крыльца.

Родька – все одинаковы ухажеры – просто расцвел от его ласки.

– Как жизнь молодая?

– Не жалуюсь, дядя Миша.

– Мать как?

– Мама ничего, болеет все, – ответил, улыбаясь, Родька и вдруг весь вытянулся: Вера из дому вышла. Михаил по звону покатившегося с крыльца ведра узнал дочь – всегда торопится, всегда спешит.

Его тоже охватила какая-то непонятная спешка: быстро затоптал недокуренную сигарету и в дровяник – чего смущать молодежь?

– Папа, ты куда?

Вот девка! Вот отцово золото!

Он часто разорялся, пилил жену – нет наследника, а может, и зря? Может, плюнуть надо на этого наследника? Ну девка, ну не парень. Да какому парню уступит его Вера! Косить, дрова рубить, на лошади ездить – любого парня заткнет. А осенью из школы придет, ружье за плечо, за мной, Лыско! – и пошла шастать по лесам-борам.

– Папа, папа, посмотри-ко!

Вера подбежала к Родькиному мотоциклу, с ходу завела его и в седло. Описала круг, описала другой, и только ее и видели. В общем, показала отцу, чему научилась за месяц в Москве. А про кавалера своего и забыла, и Михаилу как-то неловко было смотреть на приунывшего Родьку.

3

Кончился праздник, кончился отпуск у жизни. Пора было приниматься за дело. И, войдя в дом, Михаил спросил у жены:

– Ну что тут у вас? Сено не прибрала?

– Прибрала. Родька помог.

– Ну это хорошо, хорошо, жена. – У Михаила просто гора свалилась с плеч. Все время, пока лежал в больнице, с ума не шел недометанный зарод. – А как Калина Иванович?

– Была даве Евдокия за молоком. Лежит, говорит.

– Врачей из района не вызывали? Не установили, какая болезнь?

– Какая болезнь у восьмидесятилетнего старика. Помирать, надо быть, собрался.

Калину Ивановича, насквозь больного, Михаил привез с Марьюши еще больше недели назад, когда приезжал мыться в бане, и сейчас решил, что самое время проведать старика, а то начнется житейская толкотня – когда выберешься?

– Я быстро, – сказал он жене, мывшей посуду, и тотчас же нахмурился: по лицу понял, что та что-то скрывает от него.

Он терпеть не мог этих клевакинских недоговорок, по нему – вытряхивай, ежели что есть, и потому спросил нетерпеливо:

– Может, не будем в прятки-то играть? Муж домой приехал але дядя?

– Этому мужу надо подумать, еще как и сказать.

– А ты не думай, лучше будет.

– Сестрица твоя дорогая рехнулась – дом бросила. Жила-жила двадцать лет але боле, да дурь в голову ударила – пых из своего дому.

Михаил – убей Бог, если что-либо понимал. И тогда Раиса перешла на крик:

– Да чего понимать-то! Тот, пьяница, шурин твой разлюбезный, верхнюю половину дома дедкова продал. Пахе-рыбнадзору. А Нюрка Яковлева разве будет глазами хлопать? Силой вломилась со своим отродьем – другую половину заняла. У меня, говорит, законные права, ставровской крови сын… Вот твоя сестрица и психанула, в хоромы Семеновны перебралась…

– Постой, постой… Да ведь дом-то чей? Дом-то кому отписан?

– А я об чем говорю? Я чего битый час толкую? Бумага на руках, страховку двадцать лет плачу, да я бы такой разгон дала…

– А Петро? А Петр куда смотрел? – Михаил все еще не хотел верить.

– Когда Петру-то смотреть? Петр-то на пожаре был. Да разве сестрица твоя и стала бы кого слушать, раз в голову себе забила…

– Ну а люди, люди? – заорал вне себя Михаил. – Есть у нас в Пекашине еще люди? Але все кругом одне жулики да мерзавцы – делай что хочу?

Он опустился на стул, схватился здоровой рукой за голову. Нет, нет, он и пальцем не пошевелит. Сама выезжала, сама и въезжай как знаешь. Да и вообще, сколько еще будут на нем ездить дорогие братья да сестры? Всю жизнь? До тех пор, пока не сдохнет?

А спустя полчаса, кляня и себя и всех на свете, он подходил к старому дому. Не ради сестрицы-идиотки, нет. А ради старика, ради его памяти. Старик ведь в гробу перевернется, когда узнает, что Нюрка да Паха в его доме хозяйничают.

4

Всю дорогу он крепил тормоза, всю дорогу говорил себе: спокойно, не заводись, не устраивай дарового спектакля, – а вошел в заулок старого дома да увидал райскую картинку: Петр топориком поигрывает – бревно тешет, Григорий в сторонке на красном одеяле с малыми забавляется, та на вечернем солнышке как ни в чем не бывало белье постирывает – и полетели тормоза.

– У тебя есть, нет мозги-то, инженер хреновый? Та дура вековечная известно, а ты-то чего ждешь? Милицию бы вызвал да в шею ту стервюжину!

– Михаил… Брат… – расстоналась, расплакалась Лиза. – Да разве я думала… да разве я хотела…

И тут Михаил просто полез на стену, заорал на весь конец деревни. А какого дьявола? Кто заварил всю эту кашу?

– Тихо, тихо, Пряслины! – В заулок откуда ни возьмись с треском въехала улыбающаяся Вера. Михаил заорал и на нее:

– Да заглуши ты к чертям свою керосинку! Взяли моду зазря бензин жгать.

Вера нажала на газ еще сильнее.

– Брось, говорю, эту чертову трескотню! Кому говорю? Бревну?

Вера опять треском заглушила крик отца.

– Имей в виду, папа, в Москве за нарушение тишины штрафуют.

– В Москве, в Москве… Здесь не Москва, а Пекашино!

Михаил еще огрызался, еще продолжал рыскать вокруг разъяренными глазами, но запал уже прошел, и в конце концов он махнул рукой и на ставровский дом, и на своих братьев и сестер – сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.

Глава восьмая

1

Из дому, то есть из деревни, вышли порознь, Лиза даже кузов с собой прихватила – вроде как за травой в навины отправилась, потому что не приведи Бог напороться на Паху-рыбнадзора: и бредень отберет и штрафом огреет.

Сошлись у Терехина поля. Быстро спрятали кузов под рябиновым кустом, быстро разобрали меж собой бредень, старый берестяной туес, с которым ходили по рыбу, сумку с хлебами – и дай Бог ноги.

Дух перевели, когда вышли на лесную дорогу. Тут Вера два пальца в рот и соловьем-разбойником засвистела на весь лес.

– Ну, девка, девка! – пожурила ее Лиза. – До каких пор в парня-то играть будешь?

Вера стрельнула в тетку своим карим бедовым глазом, и Лиза рассмеялась. Не могла она долго сердиться на племянницу. Все – Михаил, Раиса, Лорка – все отвернулись от нее, когда родила она своих несчастных двойнят, а Вера прибежала ее поздравлять – с цветами, с конфетами, как в кино. И вчера только из Москвы приехала – тоже к тетке объявилась.

Сверху сильно припекало. По еловым стволам, всегда с обрубленными сучьями возле дороги, белыми ручьями стекала смола, злые оводы жгли сквозь напотевшую кофту, слепили глаза. И пыль, пыль била из-под ноги. Это на лесной-то суземной дороге, где всегда, и летом и осенью, бредешь по колено в грязи…

Вера и Родька скоро убежали вперед. Какое-то время они кричали, дурачились – звон стоял по всему лесу, – а потом голоса стали тише, тише, а потом и вовсе смолкли. Лиза осталась сама с собой.

Она шла, склонив голову, по лесной дороге, пересчитывала босыми ногами коренья и валежины, и иные дни, иные времена вспоминались ей. И перво-наперво вспоминался тот день, когда она впервые по этой дороге шагала на Синельгу. С братьями – с Михаилом, с Федюхой, гордо восседающим на коне, со своими любимыми близнятами, которые, как синички, всю дорогу щебетали и тенькали от радости. И было ей тогда семнадцать лет. И она вся трепетала, вся искрилась, как молоденькая березка на солнце в летний день. Вся была ожиданием новой жизни, нового счастья. И думалось, верилось тогда и ей и братьям: не просто на Синельгу комариную идем. Не просто лесную дорогу топчем. В жизнь, в большой мир прокладываем колею – свою, пряслинскую. А теперь? Что сталось теперь со всеми ими? Где та дружная пряслинская семья?

Она не оправдывала себя, не обеляла. И Михаил вечор шумел и топал ногами – заслужила. Нет ей прощенья! Никакими молитвами, никакими покаяньями не замолить вину перед Степаном Андреяновичем. Человек надеялся на нее как на стену, как на скалу, все, что было самого

дорогого в жизни, отдал ей дом отписал свой. На, бери на веки вечные, будь хозяйкой животу моему. А она? Что сделала она?

Лиза присела на старый еловый выворотень, на котором испокон веку отдыхают люди, и навзрыд зарыдала.

Все, все она пережила, все вынесла: измену мужа, смерть взрослого сына, немилость старшего брата, позор и стыд за незаконнорожденных детей, а вот видеть в своем заулке Борьку – нет, нет, эта пытка была свыше ее сил.

Все эти двадцать лет уговаривала себя: что ей Борька? Какой смысл убиваться из-за того, что он доводится сводным братом Васе? Да разве впервой ей такое? В Заозерье еще раньше Борькиного рожденья сводная сестрица объявилась – когда близко к сердцу принимала!

Ничего, никакие уговоры не помогли. Увидит, встретит на улице Борьку так и оборвется сердце, так и бросит в немочь, потому что не Вася ее, а он, Борька, всеми выходками, всеми повадками вышел в Егоршу. Даже слюну сквозь зубы, как Егорша, сплевывал.

И вот в тот вечер, когда она, возвращаясь от Пахи-рыбнадзора, увидела в своем заулке Борьку с матерью, увидела, как они втаскивают в переднюю избу комод, она сразу поняла: не жить ей под одной крышей с Борькой. Ночи одной не выдержать. Любую муку, любую казнь готова принять ради дома, но только не эту…

Лиза сняла с головы плат, вытерла зажарелое, разъеденное потом и слезами лицо, встала. Нельзя давать волю слезам. Не затем пошла она на Синельгу, чтобы сидеть в лесу да лить слезы.

– Ве-е-ра-а! Родька-а-а!

Ответа она не дождалась: далеко убежала молодежь. И Лиза зачастила ногами, стала все больше и больше разгонять себя.

2

Анфиса Петровна говорила им: нету ноне в Синельге рыбы. Не меряйте зря дороги – без вас давно вымеряны. И верно: они с добрую версту проволокли бредень – и хоть бы какая-нибудь рыбешечка запуталась. Да и мудрено быть рыбешечке в нынешнюю жару. Плесы и ямы пересохли, заросли тиной и ряской, а о перекатах да протоках и говорить нечего: где вода жиденькой косичкой заплетается, а где и совсем нету.

– Может, домой пойдем? – предложила Лиза.

Родька сразу согласился: надоело продираться сквозь дремучие кустарники да бить и колоть ноги о камешник. Но Вера и слышать не хотела.

– Возвращаться домой с пустыми руками? Да вы что! Не знаете, что такое рыбалка да охота? Час зря, два зря, а на третий – озолотились.

И опять побрели вниз по речонке, опять начали буровить пересохшие ямы и плесы, греметь дресвой в порогах.

Жара нещадная, травища, выломки (лет десять уж не ставят сена на Синельге) и гнус. В те годы у гнуса была все-таки очередность: днем, в солнцепек, овод разживается, а комар по

вечерам да ночью. А нынче все вдруг – и оводы и комары. И никакая мазь не помогала от них.

Когда добрались до крутой, красной, как раскаленная печь, щельи, сделали передых. Бредень и туес оставили в лопухах у воды – сил не было тащить в пригорок, – а сами нырнули в белопенную пахучую таволгу – может, хоть тут немного отдышатся.

Лиза так набродилась, так вымоталась, что, как только почувствовала вокруг себя травяную свежесть, так и в дрему, да и Родька, привалившийся к ней сбоку, похоже, запосвистывал носом, а Вера… Что за неугомонная девка? Откуда в ней столько силы?

Живо натаскала сучьев, живо запалила огонь.

– Вставайте, сони! У огня надо спасаться от гнуса.

И тут они и в самом деле ожили. От смолистых еловых лап – это уж Родька постарался – повалило таким густым дымом, что ни один овод, ни один комар не мог к ним подступиться.

Лиза разложила еду на белом платке, принесла ключевой воды из ручья, и начался пир: слаще всякого пирога показался ломоть ржаного, круто посоленного хлеба, запиваемый холодной водой.

– Место-то знаете, нет, как называется? – спросила Лиза, окидывая глазами белую от ромашек поляну, на которой они сидели. – Ставровская изба. Тут вот она, изба-то, стояла, у леса. После войны мы тут нашей семьей сено ставили…

– Слыхали, слыхали, Ивановна! Голодали, работали не разгибаясь от зари до зари, а мы не ценим. Давай, тетка, что-нибудь поновее. Я дома от папы этого наслышалась. И в Школе на обществоведении хватает.

– У меня мамаша эти политинформации тоже мастерица читать, – сказал Родька.

– Да ведь эти политинформации – наша жизнь! – рассердилась Лиза.

Но больше распространяться о прошлом не стала. Хорошая девка Вера, и Родька по нынешним временам неплохой парень, но говорить о старых временах, о войне, о том, какого лиха хлебнули их отцы, матери после войны, – это они с одного слова на третье слушают. Не могут поверить, что так можно было жить, мучиться. Да, по правде сказать, она и сама иной раз ловила себя на том, что все пережитое когда-то ими сегодня кажется ей каким-то бредом и небылью.

Вера вдруг ни с того ни с сего начала снимать с себя кофту.

– Ты чего? Не загорать ли вздумала на оводах да на комарах?

– Хочу холодный душ в ручье принять.

– Не смей, не смей этого делать! Долго простуду схватить?

Вера и ухом не повела. Раз что втемяшила, вбила себе в голову, лоб расшибет, а сделает.

Скинула кофточку, скинула шаровары и к ручью. А за ней во всю прыть Родька.

Затрещали, закачались кусты, смех, визг, водяные брызги радугой вспыхнули над ручьем. А потом Вера и Родька, оба голые, мокрые, с вениками в руках, выскочили на пожню и со смехом,

с криком стали гоняться друг за другом. И Лиза, глядя на их молодую игру, вдруг вспомнила тот день, когда на этой вот самой пожне Михаил нещадно лупил хворостиной Федюху. Лупил за то, что тот, поставленный на уженье, с голодухи тайком от них съел какую-то рыбешку.

И опять она стала думать о жизни, о пережитом, о том, как вот тут, на этих самых пожнях, заросших дикой травой и кустарником, страдали они, Пряслины, свою первую страду.

Не приведи Бог еще раз пережить голод, который они пережили в войну и после войны, не приведи Бог, чтобы еще раз вернулись те страшные времена, когда ребята всю зиму, сбившись в кучу, отсиживались на печи. И все-таки, все-таки... Никогда у них, у Пряслиных, не было столько счастья и радости, как в те далекие незабываемые дни. Одна только первая их страда чего стоит! Выехали на Синельгу – все мал мала меньше, думалось, и зарода-то им никогда не поставить: ведь первый раз, – когда с косками вышли на пожню, и косарей не видать. С головой скрыла трава. А поставили. Один зарод поставили, другой, третий. И с тех пор голый выкошенный луг, с которого убрано сено, стал для Лизы самой большой красой на земле.

Но только ли одна она со сладким замиранием сердца ворошила в своей памяти то далекое прошлое? А старухи, вдовы солдатские, бедолаги старые, из которых еще и поныне выходит война? Уж их-то, кажись, от одного поворота головы назад должно бросать в дрожь и немочь. Тундру сами и дети годами ели, похоронки получали, налоги и займы платили, работали от зари до зари, раздетые, разутые... А ну-ко, прислушайся к ним, когда соберутся вместе? О чем говорят-толкуют? О чем чаще всего вспоминают? А о том, как жили да робили в войну и после войны.

Вспоминали, охали, обливались горючей слезой, но и дивились. Дивились себе, своим силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили. А все дрязги, все свары, вся накипь житейская – все это забылось, ушло из памяти, осталась только чистота, да совестливость, да братская спайка и помочь. И недаром как-то нынешней весной, когда собравшиеся у нее старухи по привычке завели разговор о войне, старая Павла со вздохом сказала: "Дак ведь тогда не люди – праведники святые на земле-то жили".

3

Первую щучонку – на пол-аршина – заарканили под Антипиной избой, возле старых выломок, где на веку никакой рыбы не бывало. Место темное, непроглядное– да с чего пойдет туда рыба? Но Вера настояла: должна же где-то быть! Не могла вся передохнуть.

И вот с первого загруза щука. А потом за черный топляк перевалили опять щука, да побольше первой, с доброе топорище.

Ну уж тут они порадовались – и смеялись, и скакали, и чуть ли не обнимались, а Вера, та даже поцеловала щуку в склизкую морду: так, мол, скорее рыба пойдет на них.

После этого они с новыми силами, с новым запалом еще часа два бороздили речонку. И ничего. Ни единой души.

– Дураки мы, вот что! – рассудила неунывающая Вера. – Да рыба-то вся давно скатилась к устью. С чего она тут будет, когда все пересохло? Айда на Пинегу!

– На Пинегу? – ахнула Лиза. – Да ведь это верст пять шлепать.

– Ну и что? Нечего, нечего, Ивановна, лениться. Раз пошли за рыбкой, терпи.

Лиза обернулась за поддержкой к Родьке – тот всех пуще вымотался, один через все мысы и заросли мокрый бредень таскал, – но разве Родька вояка против Веры?

Пожни, слава Богу, пошли пошире, комара стало меньше, ветерок начал прополаскивать зажарелое тело. Молодежь ожила. Опять пошли шутки, игры: бросят бредень, бросят туес в траву и носятся как шальные по некошеным пожням. А для Лизы была пытка, мука мученская идти по задичалой Синельге.

Она как-то уже свыклась с мыслью, что сена по верховью речонки не ставят, но чтобы то же самое запущенье было и в понизовье, в самых сенных пекашинских угодьях, – нет, это для нее было внове.

Да что же это у нас делается-то? – спрашивала она себя то и дело. Куда же это мы идем? В войну все до последней кулижки выставляли одни бабы, старики, ребятишки, а сейчас в совхозе полно мужиков, полно всяких машин, всякой техники – легче работать стало. А почему дела-то в гору нейдут? Может, оттого, что по-старому робить разучились, а до машин, до всей этой техники умом еще не доросли?

Зря, зря они топали пять верст. Зря она уступила племяннице, не настояла на своем. Бывало, к устью-то Синельги подходишь – песни петь хочется: коромыслом радуга. А сейчас подошли – и воды живой нет. Лужи, курейки, заросшие ряской, – все русло завалило, засыпало песком.

Вера, однако, не думала сдаваться.

– Рыбы нет, за красной смородиной на Марьюшу пойдем. Да за малиной.

– Какая по нонешней жаре малина? – попыталась образумить ее Лиза.

– Пойду! – заупрямилась Вера. – Да я еще и папины зароды сейгод не видала.

– Ну как хошь, как хошь, – сказала Лиза. Тут она ничего не могла возразить племяннице, потому что, по правде сказать, ей и самой хотелось бы взглянуть на труды брата, но дома ее ждали дети малые, братья – пришлось взнуздать себя.

4

Зачем она пошла берегом?

Чтобы речной свежести вдохнуть? Чтобы людям на глаза не попадаться?

Людей возле реки не было – редко кто нынче шастает песчаной бережиной, но куда уйдешь, где скроешься от собственных дум?

Обступили, начали жалить – хуже злых оводов.

Сколько она за эти дни передумала, сколько пыталась уяснить хоть себе самой, что натворила, наделала, и не могла. Нет таких слов в языке человеческом, чтобы все это объяснить. И что же удивительного, что все, все – Анфиса Петровна, Петр, Михаил, доярки, – все ругали и осуждали ее. Все, кроме Григория.

Григорий понял ее, сердцем почувствовал, что она не может иначе.

– Гриша, я ведь к Семеновне надумала перебираться, – так она сказала брату на другой день после того, как в ставровский дом въехала Нюрка с Борькой. – Что скажешь?

– Ну и ладно, сестра, – ответил Григорий. Раскаленный песок и дресва немилосердно жгли босые ноги (тапочки не спасали), душной смоляной волной окатывало сверху, с угора, где рос ельник, глаза резало от воды, от солнца, и она шла этим адищем как последняя грешница, как пустынножительница Мария Магдалина, о которой, бывало, любила рассказывать покойная Семеновна.

Судиться, судиться надо. И с Егоршей и с Нюркой судиться, твердила себе Лиза. Но стоило ей только представить въяве – она и Егорша на суде – и у нее подкашивались ноги, голова шла кругом.

Она мучила, терзала себя всю дорогу, всю дорогу думала, что ей делать, но так ни на что решиться и не могла. И когда она вышла на пекашинский луг и впереди на косогоре увидела ставровский дом, она пала под первый куст и отчаянно заплакала.

Уж коли голова нисколько не варит, не работает, так надо хоть выплакаться. И за сегодняшний день и за завтрашний. Потому что дома ей нельзя плакать, потому что из-за всей этой истории с домом у Григория вот-вот начнутся опять припадки.

Глава девятая

1

Утро на пряслинской усадьбе начиналось с птичьего гомона. Едва только из-за реки брызнут первые лучи солнца, как вся пернатая мелюзга, прижившаяся возле нового дома на угоре, принималась славить жизнь. На все голоса, на все лады.

Михаил любил эту птичью заутреню. Хороший настрой на весь день. А уж утром-то по дому бегаешь – ног под собой не чуешь.

Сегодня он сходил к колодцу за водой (сроду ни любил, когда из застоялой воды чай), отметал навоз у коровы (одной рукой изловчился), подмел заулок (Лыско линяет – везде шерсть), а его барыня и не думала вставать. Да и вся остальная деревня дрыхла.

Наконец, рано ли, поздно ли, из трубы у Дунаевых полез дым, и Михаил пошел в дом.

– У тебя что – забастовка сегодня лежачая?

Раиса, зевая, потягиваясь, на великую силу оторвала от подушки раскосмаченную голову, глянула на часы.

– Да ты одичал – еще семи нету…

– А корову кто доить будет?

– Ох уж эта мне корова! Жизни из-за ей никакой нету.

– Может, нарушим?

Раиса опустила полные ноги с кровати – его так и опахнуло теплом разогретого женского тела, – ответила не задумываясь:

– Да хоть сегодня! Не заплачу.

– Ты не заплачешь, знаю. А что жрать будем? Чай один хлестать да банки?

Он не вышел – выскочил из спальни, потому что известно, чем кончится этот разговор – криком, руганью. Осатанела баба – два года ведет войну из-за сна. Сперва выторговала полчаса, потом час, а теперь, похоже, уже на два нацелилась.

За завтраком Михаил, как всегда, начал подтрунивать над Ларисой – у той опять разболелась голова. И, как всегда, за свою любимицу вступилась мать:

– Чего зубы-то скалить? У девки опять давленье.

– А когда давленье, до трех часов утра в клубе но скачут.

– Ладно. Не одна она скачет, все скачут.

– И рожу с утра тоже не малюют, – вдруг вскипел Михаил.

А что, в самом деле? Голова болит, давленье, а глаза уже наваксила. Когда только и успела.

Пошатнувшийся мир в семье восстановила Вера – она умела это делать.

– Папа, – блеснула белыми зубами, – а ты давай-ко бороду отпусти, что ли, пока на больничном. Мы хоть посмотрим, какая она у тебя.

– Думаешь, хоть занятие у отца будет? – сказал Михаил и первый рассмеялся.

С улицы донеслись бесшабашные позывные – не иначе как Родька подъехал на машине.

Вера высунулась в открытое окно, замахала рукой:

– Сейчас, сейчас! – И начала укладывать хлебы в сумку.

А потом натянула шаровары, натянула пеструю ковбойку– рукава по локоть, – ноги в старые растоптанные туфли – и будьте здоровы! – покатила на сенокос. Всегда вот так. Сама насчет работы договаривается, сама себя собирает.

Вскоре после отъезда дочери ушла на свой маслозавод, прихватив с собой младшую, мать, у Ларисы тоже нашлось занятие – завалилась в огороде под кустом на подстилке (московский врач, видите ли, прописал воздушные ванны для укрепления нервной системы), а ему что делать? Ему куда податься?

Сходил к фельдшерице на перевязку, потолкался сколько-то возле баб у магазина – с утра толкутся в ожидании какого-то товара из района – и опять свой дом, опять все тот же вопрос: как убить время? Какую придумать работу, чтобы одной рукой делать?

Подсказали овцы, лежавшие в холодке у бани: иди, мол, в навины да ломай для нас осиновые веники. Зимой за милую душу съедим, да и корова морду от них не отвернет.

2

Чего-чего, а осины в пекашинских навинах ныне хватает, и он как свернул за Терехиным полем в сторону, так сразу и попал в осиновый рай: лист крупный, мясистый, со звоном.

И тут уж он развернулся: горы наломал осинника, благо трещит, едва рукой дотронешься. А затем посидел, покурил и пошел в лес: не удастся ли разжиться каким грибом-ягодой?

Худо, худо было нынче в лесу. Он добрых два часа кружил по выломкам, по ельникам, по радам, в общем, по тем местам, где раньше навалом было всякой всячины, – и ничего. За все время три сыроежки ногой сбил, да и то дотла истлевших, а черникой даже рта не вымазал.

У него горело лицо – комарья тучи, пересохло в горле – признаков воды нигде не было, и только когда выбрался к Сухому болоту, кое-как смочил рот. Смочил в той самой ручьевине, где когда-то он напоил умиравших от жажды пекашинцев. И вот с первым же глотком этой черной болотной водицы все вспомнилось, все ожило. Вспомнился пожар в том страшном сорок втором, вспомнилась обгоревшая Настя Гаврилина…

Он два раза обошел закраек Сухого болота, пытаясь найти ту злополучную сосну, на которую он полез тогда, чтобы спасти гнездо большой коричневой птицы, канюка, как он узнал после, и не нашел. Давно на Пинеге изведен строительный лес, за стоящим деревом за пятнадцать и за двадцать верст ездят, а тут такое золото под боком – разве будут ворон считать?

Не нашел Михаил и пекашинских гектаров Победы.

Господи, с какими муками, с какими слезами раскапывали, засевали они тогда тут поле! Помирали с голоду, а засевали. Из глотки вырывали каждое зернышко. И вот все для того, чтобы тут всколосился осинник.

Хорошо растет осинник на слезах человеческих! Такая чаща вымахала, что он едва и выбрался из нее. – Бывало, с Сухого болота домой правишь, из суземов выходишь – сердце радуется. Все шире, шире поля, все меньше и меньше перелесков, кустарников, а когда за Попов-то ручей перейдешь да на Широкий холм поднимешься – и комар прощай. Такая ширь, такое раздолье вдруг откроется.

Сегодня Михаила задавили осинники и березняки, и он, как зверь, проламывался, продирался через них. Исчезли поля, исчезли бесчисленные пекашинские на-вины, тянувшиеся на целые версты, а вместе с ними исчезла и пекашинская история. Потому что какая у Пекашина история, ежели забыть Калинкину пустошь, Оленькину гарь, Евдохин камешник, Екимову плешь, Абрамкино притулье и еще много-много других полей-раскопок?

И Михаил, сгибаясь под тяжестью своих раздумий, чувствовал себя виноватым перед Степаном Андреяновичем, перед Трофимом Лобановым, перед всеми пекашинцами, которых он знал вживе и которых не знал, которые жили задолго до него, за сто и триста лет назад…

Одна навина возле Попова ручья все-таки еще держалась – Гришина вятка, давнишняя небольшая раскопка с жирной землей, на которой даже без навоза родился хлеб.

Молодец поле! – подумал Михаил, выходя из кустарника. Осина да береза со всех сторон напирают на тебя, а ты как солдат во вражеском окружении насмерть стоишь!

Но что за чертовщина? Почему оно, это поле, средь лета голое, без единой травинки?

Он подошел ближе, и то, что казалось издали невероятным, диким, стало явью: вятка была вспахана. И мало того – засеяна рожью: вдоль всего замежка рассыпано зерно. Это сейчас у всех трактористов так – никогда не заделывают концы полей.

Нет, не может быть! – покачал Михаил головой. Не может быть, чтобы в такую сушь рожь сеяли. Ведь это все равно что в горящую печь бросать семена.

Он вышел на поле, с трудом отвалил здоровой рукой тяжелый, вывороченный вместе с глиной

пласт земли, и сомнений больше не осталось: засеяно поле. Семь коричневых зерняток насчитал под пластом.

Долго стоял ошеломленный Михаил над ямой, в которой сиротливо и неприкаянно лежали крохотные зерна на самой поверхности земли, даже не вдавленные в нее, и вдруг уже другие мысли, не связанные с засухой, начали ворочаться у него в голове.

Да ведь это же могила для семян! – подумал. Разве когда тут прорастет зерно? Разве росток семени пробьется через пласт?

Михаил отвернул еще один пласт, отвернул другой, третий… – везде одно и то же: в глубокой борозде, как в могиле, лежат зерна, придавленные глиняной плитой.

Так вот как мы загубили навины! Дорвались трактора и давай вгрызаться в землю.

Да, да, да. Покуда пахали на малосильном коняге, пашню бороздили только сверху, только верхний слой ее подымали. А появился трактор – начали наизнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем лучше. Ан нет, не лучше. Верхний слой живой у поля, почва родит, в ней сила, а под почвой-то песок-желтяк, глина мертвая. И вот мы почву-то зарыли на аршин в песок да сверху еще глиной, каменной плитой придавили. Врешь, не выскочишь!

Да, да, говорил себе Михаил, так, так мы умертвили навины. Глубинной вспашкой. И вот когда он пожалел, что малозаметный. Вот когда вину свою почувствовал, что железного коника не оседлал! Ведь на его глазах все это делалось, на его глазах списывались навины в залежи как нерентабельные земли, да он и сам, когда бригадиром был, требовал, чтобы их списывали какой толк семена-то зря переводить?

И еще он вспомнил сейчас, как одно время потешался над сибирским агрономом Мальцевым: тот, говорилось в статейке, чуть ли не отказался в своем колхозе от всякой вспашки полей…

Эх, темнота, темнота пекашинская! Не тебе бы зубы скалить, не тебе бы на ученых людей со своей кочки вниз смотреть!

3

Гром загрохотал, когда Михаил продирался через чащобу кустарника в Поповом ручье.

Он поднял голову кверху: самолет сверхзвуковой летит? От самолетов нынче гром с ясного неба среди бела дня. Но голубая просека над березами была удивительно чиста – ни белой ленты, которую оставляет за собой самолет, ни серебряного крестика, самого самолета.

Гром шел от гусеничного трактора, его увидел Михаил на закрайке поля, когда вышел из ручья.

Поле еще не было вспахано, только один круг был сделан, надо думать, тут тракториста застало обеденное время: по часам нынче работают. Правда, на работу могут и опоздать, это за грех не считается, но что касается окончания работы, да еще работы несдельной, – тут ни одной минуты лишней, точно по графику.

Тракториста, взгромоздившегося на радиатор (лобовое стекло протирал тряпкой), Михаил узнал по волосам – таких чернющих волос, как у Виктора Нетесова, в деревне больше нет. От матери достались. Ту, бывало, все чернявкой да чернышом звали.

Виктор Нетесов был парень не из последних. Не пил (может, один-единственный в его возрасте во всем Пекашине). Ударник – все годы, как сел за руль, с красной доски не сходит. И жена – учительница. И вот такой-то парень такие номера откалывает!

– У тебя, Витька, чего с головой-то? – налетел на него Михаил. – Мозги на жаре высохли?

Виктор спокойно довел до конца протирание стекла, выключил мотор и только тогда спрыгнул на землю.

– Я говорю, с ума сошел – в такую жарину пахать? Знаешь, как это, бывало, называли? Вредительством!

– Я приказ выполняю, так что не по тому адресу критика.

– А это тоже приказ – землю гробить? – Михаил здоровой рукой махнул за Попов ручей.

– Пояснее нельзя?

– Ах пояснее тебе!.. – И Михаил опять сорвался на крик: – Ты это землю пашешь але каменоломню из поля устраиваешь? Глину наверх вывернул на полметра, да ее не то что ростку – мужику ломом не пробить!

Виктор – железный мальчик – и тут не вышел из себя:

– Насчет глубины вспашки к агроному обращаться надо. Она дает команду. – Затем губы втянул в себя, одна черточка на месте рта осталась, на глаза спустил козырьки век – весь убрался в себя. Не за что уцепиться.

– Да, с тобой, вижу, много не наговоришь. Это отец у тебя, бывало, за общее дело убивался… Моментально разрядился – как капкан:

– Отец-то за общее дело убивался, да заодно и матерь и сестру убил…

– Как это убил? Ты думаешь, нет, что говоришь, молокосос!

– Думаю. Двенадцать лет отец могилы для матери да для сестры устраивает, а я хочу не могилы для своей семьи устраивать, а жизнь.

Больше Виктор не стал терять время на разговоры. Залез в кабину, завел мотор, и огромная туча черной пыли поднялась над полем.

Михаилу вдруг пришло на ум: как же это он не спросил Виктора, подписывал ли тот письмо, что показывал ему Тюряпин?

4

А может, плюнуть на все эти навины да повернуть лыжи восвояси? Ведь все равно толку никакого не будет. Все равно глотку заткнут: не твое дело… Не имеешь права, раз не специалист…

Михаил остановился на верхней площадке крыльца, тяжело, как запаленная лошадь, водя боками – жара все еще не спала, – и выругался круто про себя: как это он не имеет права? На твоих глазах убивают человека – неужели не вступишься? А тут не человека – жизнь в Пекашине убивают.

Таборский, увидев его в дверях, выскочил из-за стола, забил ногами от радости: надоело, видно, канцелярское томленье в одиночестве.

– Заходи, заходи, Пряслин! С чем сегодня? С веткой мира или с мечом? И захохотал сытно, румяно. – С мечом, с мечом! По глазам вижу. Даю справку: к письму механизаторов никакого отношения не имею. Я бы лично в суд на тебя подал. За отказ от выхода на пожар, чтобы подтянуть тебе подпруги. Даже прокурору звонил. В райкоме не посоветовали. Возни, говорят, много: ветеран колхозного дела…

Было время – сбивали с толку Михаила такие вот нараспашку речи, но сегодня он и ухом не повел. Разве что еще раз утвердился в своих догадках насчет того, что именно он, Таборский, приложил свою лапу к письму.

На ходу расстегивая ворот запотелой рубахи, он подошел к столу, выпил три стакана теплой, нагретой на солнце воды из графина.

– С похорон иду.

– С похорон?

– Да. Смотрел, как поля у нас хоронят. Таборский покачал лысеющей головой.

– Так. Все ясно: народный контроль. А конкретнее?

– Конкретнее? А конкретнее караул кричать надо! С тебя, к примеру, шкуру содрать – долго протянешь? А мы что с полями делаем? Разве не ту же шкуру кажинный год с их сдираем? – И тут Михаил хватил еще один стакан тепловатой воды и понесся, как конь под гору: все выложил – и то, что только что видел в навинах, и то, что думает по этому поводу.

А Таборский? Что сделал Таборский? Кинулся в навины, чтобы немедля остановить пахоту? В район стал названивать? Тревогу бить?

Таборский сказал:

– Механизаторов, Пряслин, советую не трогать. В данный момент, когда специалисты отделения только что высказали свои критические замечания в твой адрес, твое заявление знаешь как можно расценивать? Подумай, подумай хорошенько. А что касаемо навин, не беспокойся. Партия маленько пораньше нас с тобой подумала. Слыхал про постановление насчет Нечерноземной зоны? Вторая целина, миллиарды большие выделены. Так что очередь дойдет и до нас. Придет время – раскорчуем все эти навины.

– А сами-то мы будем, нет что делать? Але сложа руки будем сидеть да ждать, пока очередь дойдет до нас?

– Сами мы, Пряслин, постановления партии выполнять будем. План. А план – знаешь, что это такое? Железный закон – нашей жизни…

– Да что ты мне на трибуну вылез?

– Спокойно, спокойно, Пряслин. Нервные клетки не восстанавливаются…

Михаил больше не слушал: Таборский за день не уробился – сейчас ему одно удовольствие языком почесать.

Глава десятая

1

Не мала деревня Пекашино – на три версты по горе вытянулась и народу как в Китае. Одних мужиков до четырех десятков собирается по утрам на разводе. Рублик-батюшко всему причина. Как перевели на совхозы Пинегу да стали платить северные, так и покатил мужик в деревню.

Да, народу ныне в Пекашине полно, а к кому зайти? С кем отвести душу?

Раньше бы минуты не раздумывал: к Петру Жи-тову. Уж он, Петр Житов, рассудит все как надо, по полочкам все разложит. А теперь к Петру Житову если и можно зайти, то только с бутылкой: совсем с панталыку сбился человек.

По той же причине Михаил отверг и своих старых дружков-приятелей Аркадия Яковлева, Игната Поздеева и Филю-петуха. И с ними без бутылки не состыкуешься. Да и на хрен им сдались какие-то навины! Хлеба что ли, в сельпо тебе не хватает, скажут?

А может, до старого дома прогуляться да с братом Петром потолковать? Грамотный, с высшим образованием – должен в политике разбираться, а потом свой, одна кровь: без опаски, на всю катушку, как говорится, разматывайся.

Нет, сказал себе Михаил, зря ноги наминать. Как же с Петром про политику, про Россию толковать, когда Петр не может вбить в башку дорогой сестрице такого пустяка насчет дома, как суд? Ведь те скоты, ежели делу не дать законного хода, не сегодня – завтра дом на распыл пустят.

Пошел к своему соседу. Не хотелось бы мучить старика, болен Калина Иванович, редкий день "скорая помощь" из района не приходит, да ежели ему сейчас не выговориться – взорвется. Взорвется, как котел, переполненный парами: столько всякой накипи, столько всякой неразберихи скопилось в сердце.

2

Из жития Евдокии-великомученицы

У Дунаевых с ходу крыльцо не возьмешь: впокат, вперекос и ступеньки и верхний настил, так что хочешь не хочешь, а начнешь иматься руками за стену.

Но крыльцо хоть по видимости крыльцо, а про сени и того не скажешь. Пола и потолка нет. От ворот лесенка – как в яму, как в погреб спускаешься, затем доски, прямо на землю набросаны, затем опять лесенка и только после этого дверь в избу.

Яркий, ослепительный свет ударил Михаилу в глаза – вся изба была залита вечерним солнцем, – но брата Петра он увидел сразу.

Обида, гнев взыграли в нем. Он десять раз сперва подумает, прежде чем зайти к старику – болен же человек, как не понять этого! – а тут не стесняются, прут, когда вздумается.

– А гостей-то, думаю, можно и побоку, раз неможем! Ты-то куда смотришь?

Евдокия – она сидела с шитьем у стола – сердито кивнула в сторону лежавшего на койке мужа:

– На его громы-то мечи! Я, что ли, всю жизнь двери нараспашку держу?

– Гость мне не помеха, – сказал Калина Иванович и откашлялся. – У нас тут интересный разговор идет. Про жизнь в космосе, на других планетах.

– Во-во! Про жизнь в космосе, на других планетах. Очень интересно! А то, что на русской планете делается, – плевать?

Калина Иванович и Петр – оба с удивлением уставились на него, и Михаил, уже выходя из себя, закричал:

– Не ясно выражаюсь? Кустарником, говорю, все кругом заросло, людей скоро кустарник топтать будет, а Таборский мне знаешь что на это? "Береги нервные клетки, Пряслин... Постановление есть... Вторую целину подымать будем..."

– Да, я читал об этом, – сразу оживился Калина Иванович: на политику, на любимую тропку вышли. – Большая программа работ...

– Программа-то большая, я тоже читал. Да почему ее делать надо было? Да мы, бывало, в войну у Сухого болота сеяли. А сегодня от Сухого болота до Широкого холма прошел – что видел, кроме кустов?

– Господи, нашел с кем из-за навин слезы проливать. Кой черт ему пекашинские-то навины! Да он забыл, когда там и был. Вот кабы ты про революцию, про Китай заговорил, вот тогда бы он распелся...

– Моя жена, как всегда, меня разоблачает, – пошутил Калина Иванович.

– Да как тебя не разоблачать-то? Тебя не разоблачать да за ноги не держать – с голоду подохнешь. Ты ведь как журавей: все в небе, все в небе. На землю-то спускаешься исть, да пить, да навоз сбросить.

На это Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия не стала дожидаться.

– Молчи, молчи! Разве неправду говорю? У тебя и отец такой был. Зря, что ли, Иванушко-шатун звали? Шатун... Всю жизнь по святым местам шатался, праведной жизни искал. Домой-то только на зиму и отъявлялся. Придет, зиму отлежится, ребенка жонке заделает, а чуть солнышко пригрело, снег стаял опять в поход, опять в шатанье. Жена дура была почище меня. Я всю жизнь страдаю из-за этого лешего, по всему свету за им таскаюсь, а та дура опять всю жизнь провожала. Со всем выводком, бывало, из дому выйдет. Да еще в брюхе ребенок, да на плече котомка... А он налегке. Идет, вышагивает с батогом, как пророк... Слова не обронит. Как же, на великое дело собрался монастырям иду пороги обивать... А как тут будет жена с бороной малых ребят – не его дело. Нет думушки о доме. И мой такой же! Шатунова завода. Всю жизнь у нас наперекосяк: он из дому, я в дом... – Евдокия гневными глазами обвела старую избу. – Вишь ведь, в каких палатах на старости лет живем. А пошто? Дом некак построить? Деньгами сбиться не мог, ребята малы одолели? Да после гражданской все льготы, все послабленья красным партизанам. Лес руби самолучший. Задаром. Стройся, живи как душеньке угодно. Твоя власть, твое время пришло. Люди-то – пройди-ко по деревням – дворцы, а не дома настроили. А моему разве до дому? Говорю, отец шатуном всю жизнь прожил и сын на ту же меть...

– Да, я за свой дом не держался, – сказал Калина Иванович. – Мне вся страна домом была.

– Слыхали, слыхали? Вся страна ему домом… А живешь-то ты где? Где спишь, ночуешь, от дождя, от снега укрываешься? Во всей стране?.. Ох и поносило же нас, помытарило по этой стране! И где мы только не были, чего не видали, чего не делали! Трактора строили, советскую власть киргизцам подымали, капиталистов-сволочей улещали, с клопами насмерть воевали…

– С клопами? – недоверчиво переспросил Петр и посмотрел на Михаила.

– А как ты думал? Раз социализм строим – и клопов нема? – Михаил рассмеялся: он все-таки успокоился к этому времени. Его всегда как-то успокаивала своими рассказами Евдокия.

– Ох, этих клопов что тогда было – жуть! Кабы в бараках там, на вокзалах – ладно. В вагонах клопы. Мы с Архангельска до Сталинграда месяц попадали – вот как тогда по железным-то дорогам было ездить – загрызли клопы. Ничего, думаем, нам бы до места добраться, а там отстанут, дьяволы, отдохнем…

Михаил кивнул в сторону Петра:

– Ты объясни ему, зачем вы в Сталинград-то поехали.

– Трактора строить, сицилизм. Я, из коммуны выползли, – поедем домой, Калина. Сколько еще будем маяться на чужой стороне? А он – в газетах вычитал, всю жизнь по газете живет: "На самый ударный фронт поедем. Трактора строить". А какие от нас трактора? Я неграмотная, он железа, кроме ружья, в жизни в руках не держал. Трактора-то строить не команды подавать. Вот и бери лопату да корми клопов в бараке. Ох, сколько клопов тогда этих было, дак и страхи страшные. Вологодские, архангельские, сибирские, от киргизцев… Со всех сторон люди съехались. Я уж об себе не думаю: жорите, паразиты, стерплю, да, думаю, я ребенка-то нарушу. За ночь-то на стенах набьют-надавят – ручьями кровь. Красные стены-то.

Я своему скажу: клопа надо изводить, другим скажу – только ухмыляются. Смешно. Что ты, баба глупая, мы жизнь переворачиваем, землю кверх ногами ставим, а ты о каких-то клопах. Ударный труд у нас… А я вижу: люди умаются за ночь – на ходу спят. Как мухи сонные днем-то ходят. Да какой же от них ударный труд? Того и гляди в машину попадут. Ладно, однажды с утра кипятку нагрела, все на улицу высвистала – топчаны, тюфяки, лопотину, котомки – все, ничего не оставила. И людей высвистала. Кого сонного, после смены спал, прямо на руках вынесли. Ладно. Двух самых здоровых мужиков в двери поставила (хорошие ребята, один – Ломиком звали, с-под Саратова, – другой – Ваня, Масляк прозвище, вологодский) – никому ходу. А сама с тремя бабами давай шпарить да чистить барак. Вычистили. Вход в рай по билетам: покуда в баню не сходишь да штаны, лопотину не выжаришь, хоть на улице ночуй. У меня бунт. Какое право имеешь? Вредительство! Начальство прибежало: темпы нам, ударный труд срываешь! – Не пущать, Ломик! Насмерть стоять!

А через день меня на самые верха, к самому главному начальству: "Спасибо, товарищ Дунаева, за ударный труд". Да, сам Косарев руку жмет. Вы, поди, и не слыхали про такого? Всем комсомолом командовал, по всей стране. Вот вам и темная Дунька. "Покуда, говорит, с клопами не покончим, не будет тракторов". Верно, оказывается, Дунька-то за чистоту взялась. А то ведь удашрлй труд, ударный труд – люди по неделям в бане не бывали. Некогда. Время жалко… Буржуазная зараза– чистота. Да. А иные сицилизм строить собрались – о горюшко горькое, и бани-то в своей жизни не видали. Не понимали, что и в бане мыться надо. Съехались со всех концов, со всех берлог – как тут не клопы! Одежда общая. Я из коммуны уезжала, а куда приехала? Опять в коммуну. Опять штаны снимай да товарищу отдай. Так ведь тогда жили. Ну дак после этой бани было радости в бараке. Как дети малые, люди-то! Самой-то любо на них посмотреть. Один казах, Ахметкой звали, – и смех и грех. Понравилось в бане мыться –

каждый день дай талон. А какие талоны, когда весь завод через баню пропустить заданье дадено? Дак я хитрю опять, на отбой: нельзя, говорю, каждый день в бане мыться. Кожу смоешь, волосы выпадут.

Ладно, Косарев смеется: "Теперь на какой прорыв кинем? На питанье?" А питанье – вредительство одно, суп – вода с сеном. Кабы не тогдашняя сознательность да люди на пятилетке не были помешаны – близко к столовке не подошел бы. Ладно, говорю, хоть на питанье. Всяко, говорю, хуже того, что есть, не будет. А Орджоникидзе – вот каких я людей знавала – как раз о ту пору в кабинет вошел: "У меня, говорит, для товарища Дунаевой поважнее участок имеется". Какой? А буржуев холить да ублажать, грязь из-под их выгребать…

Михаил захохотал:

– Ничего себе участочек, а?

– Да, в доме специалистов чистоту наводить, тряпкой да вехтем орудовать. Специалисты – мериканцы да немцы, трактора учить делать выписаны. За большие деньги. Я на дыбы. Нет, нет, озолотите, не буду! Для того, говорю, буржуев своих свергали да революцию делали, чтобы чужих холить да ублажать? "Надо, говорит. Эти буржуи, говорит, нам сицилизм строить помогают, и вы, говорит, должны за има ухаживать". Пошла. Как не пойдешь, когда партия говорит: надо. Господи, каких-то сто метров прошла – на тот свет попала. Да! Живут чисто, все блестит, ковры везде, а еды-то всякой завались. Я в жизни ничего такого не видала. Мне пихают консервные банки, хлеб белый, зубы скалят; "Раш голод… раш коммуна…" А идите вы к дьяволу! В жизни никогда не кусочничала, а тут буду побираться. А потом, чего, думаю, сдеется, ежели я немного подкормлю своих? У меня ребенок чахнет, сам весь черный как холера. Не больно на столовских-то харчах разбежишься, говорю, суп – сено с водой. Да у него еще красная питимья…

– Питимья? – Михаил не понял.

– Питимья. Как в монастырях раньше было. Добровольное мученье на себя наложил. За то, что прошрафился – руку не ту на собранье поднял…

Калина Иванович, смущенно улыбаясь, пояснил:

– Я уже говорил, по-моему, вышла у меня осечка, проголосовал не за то…

– Поняли, как все просто? Осечка. А у нас из-за этой осечки половину жизни унесло. Ладно, все пережито, все травой заросло, а я, как про тот белый хлеб да про гуляш вспомню, – теперь слезами обольюсь. Я унижалась, от всей души старалась – думаешь, легко мне было с буржуйского-то стола взять? Да ради ребенка да отца чего не сделаешь? Ладно, принесла. Хлеб белый – я такого больше и не видала никогда, гуляш из мяска самолучшего – ох, вкуснота! А он глазищами уперся в газету, чего жует-ест, все равно. Сицилизм на уме, и мать, и, жена, и еда все побоку. Да ты, говорю, посмотри, чего ешь-то. Посмотрел. "А, такая-сякая, меня буржуйской отравой кормить!" Ногами стоптал, тарелка на пол, хлеб на пол. Ребенок в слезы: не смей и ребенок исть!

– Трудно теперь это понять, – сказал Калина Иванович.

– А-а, трудно!.. Ох, да голод-то бы уж ладно, не мы одни тогда голодали; да как супротив дунаевского-то шатанья бороться? Ведь мы только-только начали на заводе устраиваться, комнатушку каку-никаку дали, барахлишком обзаводиться стали, стол завели – нет, не сидится на одном месте. Жизнь ему не в жизнь, коли все ладно да хорошо. "Поедем, Дуня, киргизцам

советскую власть ставить". Петр удивленно повел глазами:

– В тридцатые годы советскую власть ставить?

– Ну! На самой на границе. Басмачи лютовали – беда. Все – день, солнышко шпарит-жарит, и без того жизни нету, по целым часам в землянке глиняной спасаешься, да вдруг они. Ох! Как обвал каменный – с горы-то падут. На конях, сабли сверкают. А лютости-то, зверства-то сколько! Своих, черноволосых, и тех не пощадят, а уж нашего-то брата, русского, всех подчистую, да мало того что посекут, поубивают, еще изгиляться всяко, с живого ремни вырежут… Да… "Поедем, Дуня, советскую власть ставить". Не навоевался в гражданскую, опять руки зачесались. Облатко сманил. Такой же шатун был, как мой. Да еще и почище, может. Ох коммунист был! В котловане землекопом работал: ладно, Облат, сколько можешь, столько и ладно, непривычна твоя нация насчет лопаты. Глазищами черными засверкает – сгрызть готов. Не по ему такие слова. Во вторую смену останется, а задание сделает. И все с моим, все возле моего: "Моя русский язык хочет… Моя жизнь новый хочет…" И вдруг однажды видим… Облат расчет берет. Что такое? Куда собрался? Домой. Письмо из дому получил – председателя сельсовета басмачи убили, советскую власть порушили. Мой ночь не спал – забурлила, заходила шатуновская закваска, а наутро: "Поедем, Дуня… младшему брату помогать…"

– Да, я считал, что братская помощь – это первейший долг, – подал голос Калина Иванович.

– Черта ты считал! Бродяга потому что, шатун. Завод пущен, жизнь налаживаться стала, работать надо, жить надо – да разве это по тебе? Я десять ден не просыхала, по железной дороге ехали, а там жара зачалась – и плакать нечем, все слезы выгорели. Да, вот куда он нас завез. На край света, в пески раскаленные. Животину и ту скорежило, вот такие горбыли у верблюда, а человеку как в таком аду жить? Я сперва долго не понимала: чего, думаю, у людей глаза не как у нас – одни щелины? А потом, как в пески-то попала сама, в эти бури-то песчаные, поняла. С чего же тут глаза будут, когда все вприжмур, все скрозь щель смотришь… О, думаю, мы-то и подохнем – ладно, а ребенок-то за что такие муки должен принимать? Беда, беда. Губы запеклись, кора на губах нарастет вот такая, как у сосны, надо бы какое слово Фельке сказать, ребенок малый, а у матери и язык не ворочается. Дак я как немая, только руками к себе прижимаю: с тобой, Фелька, с тобой, не даст матерь тебе пропасть. А ночи-то в пустыне ночевать! Облат да отец как на песок пали, так и захрапели, а я всю ноченьку глаза нараспашку. Пауки всяки ползают, змеи. Так и шипят, так и трещит все кругом. А афганец-то, ветер-то тамошний! Раз, кажись, это уж в поселке было, на границе, все крыши подняло. Листы-то железные в воздухе летают, как мухи. А в пустыне-то эти ветра! Так засыплет, так зализет песком-то – назавра едва и откашляешься.

Месяц пять ден мы попадали. На верблюдах, на лошадях, так. Все высохли, все выгорели, как шкилеты стали… Бедный, бедный Облат… Хошь не наша нация, хошь завез нас на край света, а слова худого не скажу. Коммунист! Ох какой коммунист! В песках, бывало, ночь застанет: "Я, моя… моя у себя дома…" Ватник мне сует: сына, сына накрой. Что ты, Облатко, с ума сошел! Ночью в пустыне стужа, зуб на зуб не попадает, ты ведь тоже не железный. Нет, бери ватник. Сам замерзаю, а ребенок чтобы был в тепле. Да-а… Але насчет там еды – последнюю крошку отдаст. "Моя сыта, моя сыта… Моя дома…" Дома… Вылезаем на другой день из землянки: Облат – одна голова…

– Чего – одна голова? – переспросил Михаил. Он-то уже знал про страшный конец Облата, а Петр-то первый раз слышит эту историю.

– Убили, звери. Голову человеку отрубили. А мы с дороги спали как убитые, ничего и не знаем.

Да. Приехали в темноте, нас в землянку завел: спите, отдыхайте с дороги. Моя дома, моя к своим пойдет... Вот и к своим. Сколько потом тело искали, не нашли, так одну голову и похоронили. Я обеима руками мужика обхватила: не пущу! Давай обратно, покуда живы! Малому ребенку ясно: предупрежденье. Убирайтесь, откуда пришли! А то и вам секир башка. Глазищами заводил: "Не смей, такая-разэдакая, позорить меня! Умру, а отомщу за Облата". И вот где ум у человека? Из конца в конец поселка прошел, в каждую землянку, в каждый дом стучится: выходите! Брат ваш врагом убит. А братья и не думают выходить. Что ты, они так запуганы этими басмачами – на глаза показаться не смеют. Только уж когда пограничники приехали, человек пять вышло... Да, вот в какие мы ужасы заехали. Я, три года жили, ночи ни одной не спала. Все прислушиваюсь, все думаю: вот-вот явятся, шаги учую. И сам не расставался с наганом. Спать ложимся, о чем первая забота? Где наган. Да, сперва оружье, а потом подушка, одеяло. Вот какая у нас жизнь была. А чего наган? На краю поселка жили – долго ли головы снести? Але сколько у меня переживаний было, когда он на стройку свою уйдет? Клуб первым делом решили делать, красный храм воздвигать. Не знаю, не знаю, как живы остались. Три года в обнимку со смертью жили. Абдулла, председатель сельсовета, бывало, смеется: "Шибко, шибко храбрый Калина! От храбрости пули отскакивают". А то опять начнет молоть, когда кумыса своего налакается: "Тебя, Дунька, любим". Да мой-от потаскун едва не продал меня этому Абдулле. Да!

– Моя жена не может без концертов.

– Концерты? – Евдокия вскочила, грохнула по столу. – Это я-то говорю концерты? Я-то – концерты? Две старухи, Абдулловы жены, приходили: пойдем к нам третьей женой, красоваться будешь. А сам-то Абдулла как кумыса накачается да котел плова ввалит в себя – барана целого с рисом – и почнет языком прищелкивать: "Ай Дунька! Карош Дунька! Пойдем ко мне в жены". У них ведь запросто: одна жена але десять, лишь бы ты прокормил. А мой – ладно. Моему так и надо: Абдулла девку свою взамен дает...

– Абдулла Казыбеков действительно иногда любил подзадорить жену. Мол, ты за меня пойдешь замуж, а я за твоего мужа дочь отдам. Веселый был человек.

– Очень веселый. И девка у него веселая. Четырнадцать-то лет, не знаю, было, нет, а такая шельма – так и стрижет глазищами, так и стрижет. А мой и рад: всю жизнь штанами тряс, ни одной юбки не пропустил, а тут молодая гадюка из чужих нациев – интересно... Ох, чего было, что пережито, теперь и не вспомнишь. Про одну дорогу, как обратно в Россию попадали, день рассказывать надо. А на Магнитке-то как жили? Его ведь от киргизцев-то куда понесло? На Урал. На Магнитку. "Там самый ударный труд теперь, Дуня". А на Магнитке два года прожили, начали только корешки выпускать – опять в поход. Опять поедем, Дуня. На север, в Карелию. В какой-то газете вычитал – вишь, ничего нет сейчас важнее удобрений, иначе не исть нам досыта хлеба. Ну тут уж я гирями на плечах не висела: в Карелию дак в Карелию, все ближе к дому. Страсть как надоело на чужой стороне. К Вологде-то стали подъезжать, я глаз из окошка не вымаю. Наши, северные дома-то. Люди-то наши, говоря-то наша. И ехать бы, ехать бы нам напрямки, без всякой остановки, сгинуть бы, захорониться до поры до времени в этой самой Карелии – мало там лесов, гор, дак нет, сам, своей охотой полез в капкан...

Михаил знал, о чем сейчас заговорит Евдокия, – о том, как Калина Иванович, узнав в Вологде об аресте своих боевых товарищей, кинулся на их выручку в Архангельск. И все равно к горлу подкатило – дышать нечем.

– Да, смерть по земле ходит, все затаились, запрятались по норам, по щелям – пронеси, Господи, мимо меня. А у нас сам на рожон полез: неправильно арестовали. А-а, неправильно? Ну дак получай свое, поучись уму-разуму.

Евдокия заплакала.

Михаил ждал: вот-вот заговорит Калина Иванович. Старик никогда не оставлял без своих объяснений такие речи жены. Но Калина Иванович молчал.

Красный вечерний свет заливал тесную горенку. Красным огнем пылала белая подушка, на которой лежала старая голова с закрытыми глазами, а слова не было. И Михаил впервые вдруг тоскливо подумал: недолго заживется на этом свете Калина Иванович.

3

Они вышли на улицу вдвоем.

– Ну, слышал про житье Евдокии-великомученицы?.. – с деланной улыбкой заговорил Михаил. – Вот сколько она на своем веку хлебнула! Дак ведь это ковш из бочки – то, что она рассказала. Я иной раз скажу: с умом надо было замуж выходить, Дусенька! Вышла бы, к примеру, за такого навозного жука, как я, всю жизнь бы красовалась да во спокое жила. Дак знаешь она что? Как почнет-почнет чесать меня – на себя смотреть тошно. Такой букашкой вдруг сам себе покажешься. А чего? Что бы она без Калины-то Ивановича? Да ей с Калиной-то Ивановичем свет открылся, на какие моря-ветры вынесло…

Михаил ждал: вот-вот заговорит Петр, прояснит, найдет нужные слова тому большому и важному, что смутно и неопределенно бродило, ворочалось в нем в эту минуту, – ученый же человек! Но Петр молчал, и он вдруг заорал как под ножом:

– А ты думаешь, нет, что с домом-то делать? Ждешь, когда Паха за него примется? Ну да… Чего теперь для тебя какой-то там дом из дерева, раз сам Калина Иванович всю жизнь чихал на свой дом. А между протчим, Россия-то из домов состоит… Да, из деревянных, люди которые рубили…

Он махнул рукой – бесполезно сейчас с Петром говорить о ставровском доме. Не домом у него голова занята. Да он ведь и сам в эту минуту меньше всего думал о ставровском доме.

Глава одиннадцатая

1

Первые позывные с зареченских болот донеслись 12 августа, ровно через месяц после того, как они с Григорием приехали в Пекашино, а еще через неделю утром, когда Петр поднялся с топором на дом, он увидел и самих журавлей – семейную пару с двумя сеголетышами…

У журавлей шло ученье. Неторопливо, деловито ходили над Пинегой, над выкошенными лугами – вразброс, клином, цепочкой, и Петр, глядя на них из-под ладони, позавидовал им. Все у них просто и ясно, у этих журавлей. Обучили молодежь, обговорили, обсудили на своих общих собраниях, когда и как лететь, – ив путь. А ему что делать? Ему как быть?..

Отпуск на исходе, две недели осталось, а старый дом в развале, под крышу еще не подведен; со ставровским домом все та же неразбериха, заколодило – ни взад, ни вперед, страшно подумать, что тут будет с сестрой без него; Михаил осатанел – слова доброго не услышишь, все в крик, все в рев, а хуже всего – с Григорием…

Все давным-давно было решено, обговорено на семейном совете: Григорий останется с Лизой. Потому что какое житье больному человеку в городе? Целыми днями один взаперти, в

клетушке каменной – да от такой жизни здоровый взвоет, а тут сестра, брат, близнята, родная деревня… Одним словом, жизнь. И надо сказать, сам Григорий больше всех радовался такому повороту дела. Но радовался только на первых порах. А потом, как заговорили в доме об его, Петра, отъезде, и заканючил, заскулил: не могу без брата Пети. С ним хочу, с Петей, иначе с тоски помру…

Конечно, ничего такого на самом-то деле Григорий не говорил, да разве это лучше – таять и сохнуть на глазах? И потом, что это еще за мода такая глаз с брата не спускать? За столом глянешь – на тебя смотрит, на дому работаешь – смотрит, и сейчас, если глянуть на землю – Петр был уверен в этом, – не на журавлей в небе смотрит Григорий, не на двойнят, которые копошатся возле него, а на него, на Петра…

Он взялся за топор. Красиво, вольготно летают журавли, глаз бы от них не отвел, но кто будет за него махать топором? Вряд ли ему за оставшееся время удастся привести в полный порядок старый дом, но крышу поставить он обязан.

2

О приходе Лизы с телятника Петр догадался еще до того, как глянул на землю: весь день не слышно было близнят в заулке, а тут всполошились вдруг, как утята на озере.

Первым делом, конечно, Лиза взяла на руки их, своих ревунов, иначе житья никому не будет, перекинулась словечком с Григорием – тот так весь и просиял – и только потом закивала Петру:

– Ну как поробилось сегодня?

– Да ничего!

Петр быстро слез с дома. Он любил эти первые минуты встречи с сестрой по вечерам, любил ее не очень веселое, но улыбающееся лицо, ибо с некоторых пор Лиза – и об этом она просказалась как-то сама – положила себе за правило: без улыбки домой не приходить.

Но сегодня, похоже, она и в самом деле чем-то была неподдельно обрадована. Во всяком случае, Петр давно не видел, чтобы у нее так ярко, так зелено блестели глаза.

Все разъяснилось, когда сели за стол.

– А я знаете что надумала своей глупой-то головой? – заговорила Лиза и вдруг зажмурилась: самой страшно стало.

– Ну! – подстегнул Петр.

– А уж не знаю, как и сказать, ребята. К Пахе на поклон идти надумала. Чего ему дом-то разорять? Пущай берет боковуху, раз у его тот деньги забрал. – «Тот» – это Егорша, иначе его Лиза не называла.

– А ты?

– А чего я? Без крыши над головой не останусь. – Лиза кивнула на старый дом. – Вон ведь ты какой дворец отгрохал. Да его не то что на мой век хватит – ребятам моим останется. А покамест я и у Семеновны в доме поживу – все равно пустой стоит.

Григорий согласно закивал – для этого все хорошо, что бы ни сказала и ни сделала Лиза.

– Я уж и так и эдак, ребята, прикидывала, ночи ни одной не сыпала – все об этом доме думушка, ну все худо, все не так. Господи, да помру я, что ли, без дома! Мне само главно – чтобы дом целехонек был, чтобы память о тате на земле стояла. Верно, Петя, я говорю?

Вот теперь Петр понял все. Понял – и такое вдруг ожесточение охватило его, что он взмок с головы до ног. Ну почему, почему она всегда уступает, жертвует собой? Отдать свой дом каким-то подлецам просто так, за здорово живешь… Да что же это такое? А с другой стороны, он и понимал свою сестру. Можно отсудить дом. Все можно сделать, на все есть законы – и Нюрку Яковлеву с Борькой из дома выгнать и Егоршу обуздать. Да только она-то, сестра, живет по другим законам – по законам своей совести…

– Ну, достанется же нам опять от Михаила! – сказал Петр.

– А я уж подумала об этом, Петя. Ну только что мне с собой поделать? Не могу же я с тем судиться?

– Ну правильно, правильно! – живо поддержал сестру Петр. Ибо как бы там ни бесился Михаил, а самочувствие сестры ему было дороже всякого дома.

3

Сколько дней она не хаживала по деревне, сколько дней бегала задворками, не смея взглянуть людям в глаза? Полторы недели? Две? А ей казалось, целая вечность прошла с того часа, как она, наскоро поскидав на Родькину машину самые нужные вещишки и одежонку, выехала из ставровского дома. Зато теперь, когда она знала, что ей делать, она больше не таилась. Среди бела дня шла по Пекашину.

Жарко и знойно было по-прежнему. Кострищами полыхали окна на солнце, душно пахло раскаленной краской. Все под краску теперь берут: обшивку дома, крыльцо, веранду, оградку палисадника, культурно, говорят, жить надо, по-городскому. А она кистью не притронулась к ставровскому дому. Все оставила, как было при Степане Андреяновиче и снаружи и внутри. Чтобы не только вид – запах у дома оставался прежний. И тут ее прошибло слезой – до того она истосковалась по дому, по своей избе, по всему тому, что свыше двадцати лет служило ей верой и правдой.

Она выбежала на угорышек у нового клуба, привстала на носки – и вот он, дом-богатырь: за версту видно деревянного коня.

И она с жадностью смотрела на этого чудо-коня, летящего в синем небе, ласкала глазами крутую серебряную крышу, зеленую макушку старой лиственницы и шептала:

– Приду, сегодня же приду к вам. Вот только схожу к Пахе и приду…

Паха Баландин со своей семьей чаевничал. Семья у него немалая. Пять сыновей при себе да два сына в армии. Самому малому, сидевшему на коленях у отца, не было, наверно, еще и года, а у Катерины, как отметила сейчас про себя Лиза, уже опять накат под грудями.

– Садись с нами чай пить, – по деревенскому обычаю пригласила хозяйка гостью к столу.

– Нет, нет, Катерина Федосеевна. Мне бы Павла Матвеевича. С Павлом Матвеевичем хочу пошептаться.

– Пошептаться? – Паха широко оскалил крепкие зубы с красными мясистыми деснами. – А Павел-то Матвеевич захочет с тобой шептаться?

– А не захочет шептаться, можно и собранье открыть. У меня от жены секретов нету. – И тут Лиза выхватила из-под кофты бутылку белой – нарочно прихватила в сельпо, чтобы Паха податливее был, – поставила на стол.

Паха завыкобенивался: один не пью, и Лиза – дьявол с тобой! – осушила целую стопку.

Осушила и больше хитрить не стала – пошла напролом:

– Сколько ты, Павел Матвеевич, за верхнюю-то избу тому выложил?

– Кому тому? Суханову? А тебе какое дело?

– Дело, раз спрашиваю. Хочу деньги тебе вернуть. – Лиза и на это решилась. Есть у нее на книжке пятьсот рублей, за корову когда-то выручила неужели ради дома пожалеет?

Паха захохотал:

– Не ерунди ерундистику-то! Ротшильд я, что ли, деньгами-то играть?

– Ладно, – сказала Лиза, не очень рассчитывавшая на такой исход, – раз совести нету, бери боковуху.

– Боковуху? Это твое-то гнилье? Ха-ха! А ты, значит, барыней в перед? Ловко!

– Да ведь дом-то мой! Я и так себя пополам режу. А ты сидишь расхохатываешь…

Глазом не моргнул Паха. Хлопнул еще полнехонький стакан ейного вина, обвел хмельным взглядом притихших за столом ребят:

– Глупая баба! У меня на плане-то знаешь что? Проспект Баландиных. Каждому сыну дом поставить. Да! В деревне хочу деревню сделать. Чтобы Баландины – на веки вечные! Понятно тебе, нет, для чего живу?

Захлюпала, заширкала носом Катерина. Возражать мужу не осмелилась, но и разбойничать с ним заодно не хотела. А вслед за матерью заплакали и ребята.

4

Она не пошла к ставровскому дому. Сил не было глянуть в глаза окошкам, встретиться взглядом с крыльцом, с конем, которых она предала. Но и домой к своим братьям и детям ей тоже сейчас ходу не было. Не совладает с собой, разревется – что будет с Григорием?

Спустилась под угор, побрела к реке. Старая Семеновна все, бывало, в молодости ходила на реку смывать тоску-печаль (непутевый мужичонко достался) – может, и ей попробовать? Может, и ей полегче станет?

Вслед ей с горы тоскливо, с укором смотрел деревянный конь – она спиной чувствовала его взгляд, – старая лиственница причитала и охала по-бабьи, баня и амбар протягивали к ней свои старые руки… Все, все осуждали ее. И она тоже осуждала себя. Осуждала за горячность, за взбрык, за то, что так безрассудно бросила дом: ведь потерпи она какую-то неделю да прояви твердость – может, и опомнилась бы Нюрка, сама забила отбой.

Вертлявая, натоптанная еще Степаном Андреяновичем и Макаровной дорожка вывела ее к прибрежному ивняку. На время перестало палить солнце – как лес разросся ивняк, – а потом она вышла на увал, и опять жара, опять зной.

И она стояла на этом открытом увале, смотрела на реку и глазам своим не верила: где река? где Пинега?

Засыпало, завалило песком-желтяком, воды – блескучая полоска под тем берегом…

Долго добиралась Лиза до воды, долго месила ногами раскаленные россыпи песков, а когда добралась, пришлось руками разгребать зеленую тину, чтобы сполоснуть зажарелое лицо.

Она села на серый раскаленный камень и заплакала.

Каждую весну, каждое лето миллионы бревен сбрасывают в реку. Тащи, волоки, такая-разэдакая, к устью, к запани, к буксирам. А силы? Какие у реки силы? Откуда, от кого подмога? От малых речек, от ручьев? Да они сами давно пересохли – все леса на берегах вырублены. Вот и мытарят, вот и мучат все лето бедную. Пехом пропихивают каждое бревно, волоком, лошадями, тракторами. Боны-отводы в пологих берегах и на перекатах ставят, а там, где боны, там и юрово, там и крутоверть песчаная…

Ни одна рыбешка не взыграла в реке. И Лиза подумала: да есть ли в ней она вообще? Может, вымерла, передохла вся?

Вдруг гром, грохот расколол сонную речную тишь, каменным обвалом обрушился на нее: офимья, или амфибия по-ученому, почтовый катер-вездеход, похожий на ярко раскрашенную лягушку. Вынырнул из-за мыса, вмиг взбуровил, взбунтовал воду у ног Лизы – возле самого берега, чуть ли не по суше проскакал. Высунувшийся из окошка молодой паренек со светлыми, распластанными по ветру волосами помахал ей рукой, оскалил зубы в улыбке: рад, доволен дурачок. А чему радоваться-то? Из-за чего скалить зубы? Из-за того, что реку замучили, загубили?

Ей было чем вспомнить Пинегу. Она-то на своем веку испила из нее радости, попользовалась от ее щедрот и милостей, в самые тяжкие дни шла к ней на выручку.

Бывало, в войну ребята приступом приступят: дай исть, дай исть! – хоть с ума сходи. А пойдемте-ко на реку! Мы ведь сегодня еще у реки не были…

И вот забывался на какое-то время голод, снова зверята становились детьми. А потом, когда подросли немного близнята, Петька и Гришка, Пинега стала для них второй Звездоней: с весны до поздней осени кормила рыбешкой, Да еще и на зиму иной раз сушья оставалось.

Мать, мать родная была для них Пинега, думала Лиза, а кем-то она станет для ее детей, для Михаила и Надежды?

Глава двенадцатая

1

Черно-пестрая Звездоня, весело блестя на утреннем солнце крутыми гладкими боками, выкатила из красных ворот, встала посреди дороги и давай трубить в свою трубу.

– Иди, иди, глупая! Кто тебе откликнется? Во всем околотке ты, да я, да мы с тобой…

И вот так одна-одинешенька и поплелась в поскотину.

Прошла одно печище, говоря по-старому, прошла другое и только у Мининых обзавелась товаркой – комолой малорослой Малешей. Потом через несколько домов выпустили еще одну коровенку от Васьки-лесника – Красулю, или Полубарыню, как ее больше зовут в Пекашине, по прозвищу хозяина, потом братья Яковлевы, рабочие с подсочки, сразу две головы подкинули, потом была Пловчиха Лобановых (в Водянах куплена, где все коровы плавают, как утки), а всего к концу деревни собралось четырнадцать буренок. Четырнадцать буренок на деревню в двести пятьдесят дворов! А ведь еще каких-нибудь лет десять назад в сто с лишним голов стадо было. По деревне идет-топает – праздник, стекла в окнах дрожат. А рыку-то сколько, музыки-то коровьей!

Михаил не стал спускаться к Синелые. Пристроился к обвалившейся изгороди у спуска с пекашинской горы, неподалеку от заколоченного дома Варвары, и долго провожал глазами красное облако пыли, в котором взблескивали то рога, то копыта. Снова отчетливо разглядел свою корову, когда стадо перевалило через Синельгу.

В память той незабвенной кормилицы, которая выручала пряслинскую семью всю войну, Михаил всех своих коров называл Звездонями, хотя ни одна из них не походила характером на ту военную Звездоню. Та, бывало, проводи ее хозяин до поскотины, глотку бы надорвала от своей коровьей благодарности, а эта не то что мыкнуть – головы не соизволила повернуть на прощанье.

Да, подумал он с ухмылкой, в войну и коровы-то сознательнее были…

Все-таки убей его Бог, если он что-нибудь понимал в этой коровьей политике. Всю жизнь, сколько он себя помнит, войной шли на корову колхозника. Налогами душили – отдай задарма триста пятьдесят литров молока, – покосов не давали, контрабандой по ночам траву таскали. Частная собственность! Зараза и отрава…

Нет, извините, только дураки с портфелями так думают. А партия прямо сказала: не помешает лишняя корова, лишняя овца. Заводи. И насчет кормов никаких препятствий нету.

И тут Михаил по привычке мысленно заспорил уже с местными умниками. Прошлой осенью, когда Виктор Нетесов повез свою коровенку в район в госзакуп, он, Михаил, и спроси:

– А как же ты, Витя, без молока-то будешь? У тебя ведь как-никак двое под стол ходят.

– Это с чего же я без молока буду? – кивнул на совхозный коровник. – А там рогатки для чего?

– Да ведь те рогатки, парень, испокон веку на государство работают.

– Ничего, ежели надо, чтобы я на земле работал, будут и на меня работать.

И верно, разрешили теперь продажу молока для совхозников. По утрам вся деревня со светлыми ведерками к сельпо стекается. И час и два стоят, до тех пор, пока молоко не привезут. А молока нету – и на работу не спешат. Вот какие времена настали в Пекашине.

А может, так и надо, подумал Михаил. Конечно, покупное молоко против своего вода, да ведь корова – это каторга. Все лето только и забот, только и хлопот что о сене. Такие старорежимные ослы, как он, тянут еще по привычке этот воз, а разве нынешняя молодежь, все эти механизаторы будут с коровой возиться? Тот же Виктор Нетесов как живет? По-городскому. Сколько положено часов по закону, отработает на совхозной работе, а дальше

извините – знать ничего не хочу.

2

Торопиться домой было не к чему: не все ли равно, где и как время убивать? Да и Раиса еще на работу не ушла. А раз не ушла – опять руготня. Это уж обязательно. Давно прошли те золотые денечки, когда Раиса и на работу провожала его в обнимку и с работы встречала в обнимку.

Михаил порысил в кузницу: еще в мае заказаны Зотьке скобы для дровяника (верхняя обвязка у столбов сдала) – сколько будет копаться?

Старой кузницы, кривобокого, наполовину вросшего в землю сараишка с черными обгорелыми стенами, в котором они когда-то с покойным Николашей из разного хлама собирали сенокосилку, давно уже нет. Вместо нее – дворец. Толстые кирпичные опоры по углам, электричество – не надо надрываться, вручную мехи качать, только кнопку нажимай, уголь каменный вместо древесного… Все новое.

Но и порядки тоже новые. Бывало, в старенькой колхозной кузне самый-пресамый азарт в это время. Кузнец за ночь силенок поднакопил – просто пляшет вокруг наковальни. А нынче вокруг чего пляшет Зоть-ка? Вокруг бутылки. Очередную совхозную годовщину справляет.

Три года назад не подумали хорошенько, объявили совхозы в самое страдное время – думали, трудовой подъем будет, кормов с радости нароют горы. А люди с радости за бутылку. Неделю обмывали, как выразился Петр Житов, "переход на высший этап" да неделю свою домашнюю канцелярию в порядок приводили. Потому что совхоз – это не только денежка в лапу, но и пенсия. А пенсия – это справки, куча бумаг и бумажек, где и когда работал. В общем, в ближайшую весну пятнадцати коров из-за бескормья недосчитались – вот во что обошелся "переход на высший этап" для Пекашина.

Михаил пошел на развод. Каждое утро, как вернулся из больницы, беспокойно себя спрашивал: чего же ему не хватает? Почему все кажется, что что-то забыл, не сделал самого главного? И вот сейчас вдруг понял: развода не хватает. Людей.

Быстро привились у них эти разводы, эти ежедневные сходки перед работой. Пока то да се, пока сборы да разборы, пока каждому наряд дадут, всего наслушаешься, все самые последние пекашинские новости узнаешь.

Михаил попервости начертился напрямик: метров сто от кузницы до зернотока, где летом бывают разводы, – но пришлось сразу же выбираться на дорогу. Легче зимой по целине, по снегу протопать, чем сейчас по песку, размолотому машинами: пыли – как на Луне. Даже постройки обросли пылью, как мохом.

Страсть сколько наворочено этих построек в Пекашине за последние годы. Бывало, на задворках напротив маслозавода что было? Коровник возле болота, конюшня, бывшее гумно, сколь-то банек по-черному, а остальное – песчаный пустырь, пекашинская Сахара, как говорит Петр Житов. Место, где зимой объезжают молодых лошадей.

Теперь на пустыре с лошадками не порезвишься. Пилорама, мельница, электростанция, всякие мастерские, гаражи, зерносушилка, склады – не пересчитать всего, что понастроено. И это, конечно, хорошо – какой дом без хозяйственных построек! Да только вот чего Михаил никак не может взять в толк: совхоз-то убыточный! В прошлом году государственная дотация составила двести пятьдесят тысяч. Два с половиной миллиона по-старому.

Таборскому весело:

– Не переживай! Слыхал насчет планово-убыточных предприятий? Ну дак мы в этот разряд зачислены. А чего ты хочешь? Первые шаги совхоз делает. Так что по закону, не контрабандой живем.

Ладно, по закону, не контрабандой. Но ведь не можем же мы все время на иждивении у государства быть!

3

Не густо было под навесом у зернотока: два старика пенсионера да три пенсионерки. Эти по колхозной привычке приперлись ни свет ни заря – с малых лет в башку вбито: страдный день зиму кормит.

Илья Нетесов, как всегда, пришел во всеоружии – топор, вилы, грабли: на любую работу посылай. И допотопная Парасковья-пятница с граблишками. Только зря они, и Илья и Парасковья, наминают старые ноги. Нет для них теперь работы. На дальние покосы ехать сами по себе, то есть единоличниками, как это сейчас принято, не могут, а в мехзвено, где трактора да всякие машины, кто их возьмет? Только в те дни, когда получка в совхозе, да загул, да сено под горой гниет, – только в те дни выпадает им праздник. Тогда – давай, ветераны, тряхнем стариной!

Михаил с ходу махнул всем пятерым здоровой рукой, сел на свое кресло увесистую лиственничную чурку. Много этих кресел под навесом, и все разные: у кого ведро старое, у кого ящик, прихваченный от сельпо, у кого бочка из-под бензина, а у кого и просто бревешко или жердинка – кто как постарался. Был даже один камешек эдак пудиков на двадцать – Коля-фунтик на тракторе от реки привез. Для форсу, понятно.

– Что-то не очень торопится его величество, – усмехнулся Михаил, закуривая.

Илья Нетесов и Парасковья ухом не повели: не чуют, хоть из пушки пали. А Василий Лукьянович, тот только сплюнул: двадцать лет человек прожил в городе, а все равно не привык к городским порядкам.

Зато вчерашние колхознички ох как быстро усвоили эти порядки! Каждый год перед страдой объявляют приказ под расписку: в семь часов выходить на работу. Прочитают, распишутся, а придут в восемь.

Первым появился Виктор Нетесов, и это означало: восемь. Из минуты в минуту – можешь на часы не глядеть. Весь какой-то не по жаре свежий, чисто выбритый, подтянутый. Под навес не зашел, а молча кивнул всем сразу и к своей машине: с вечера еще договорился с бригадиром, что делать.

Да, этот не работяга, а рабочий, подумал Михаил и сразу оживился, заслышав железный перезвон щеколд и кованых колец в воротах и дверях ближайших домов.

Это всегда так. Словно выжидают, словно высматривают пекашинцы из своих окон, когда пройдет мимо зернотока Виктор Нетесов, и только тогда вслед за ним повалят сами. Дорог не признают, от каждого дома тропа натоптана. И вот запылили, задымили в десять – пятнадцать троп сразу – самый большой околоток теперь вокруг бывшего пустыря. Потом вскоре затрещали мотоциклы – это уже молодежь. За шик считается прикатить на работу на железном конике. А потом уже цирковой номер – Петр Житов на своей «инвалидке» пожаловал. Да не

один, а с Зотькой-кузнецом: не иначе как в надежде раздобыть пятак на опохмелку.

Шумно, говорливо стало под навесом. В одном углу схватились из-за расценок, в другом спор насчет космоса, а большинство перемалывало вчерашний день – совхозную годовщину.

Митя-зятек, из приезжих, прозванный так за то, что сам по виду воробей, а бабу отхватил пудов на шесть (для того чтобы поправить свою породу, как он выразился однажды сам), – Митя-зятек рассыпался подзвонком:

– А у меня, мужики, супружница попервости ни в какую: сперва службу сослужи, а потом «бомбу».

– Ну и сослужил, Митя? – скорчил сухую рожу Венька Иняхин. Этот любой разговор на жеребятину переводил.

– Сослужил, – простодушно ответил Митя. – Сбегал на реку. Три окушка ничего, годявых принес.

Митя не врал. Ни для кого сейчас нет рыбы в Пинеге из-за этой жары, а Митя окуней берет голыми руками – Михаил сам видел. Забредет это на луду, на камешник, туда, где окунь держится, руки до плеча в воду и шасть-шасть вверх по течению, а потом раз – как капкан сработали руки, и вот уже красноперая рыбина в воздухе.

– Ну а после-то «бомбы» что было, Митя? – не унимался Венька. – Сенцо але кроватка?

Белобрысенькая Зоя-зоотехник – за спиной у Михаила стояла – тихонько отступила в сторону: поняла, какая сейчас служба пойдет.

Но тут ударила в свои струны Суса-балалайка. Михаил давно уже заметил: строгость на себя напускает (и лоб свой прыщеватый хмурит и губами перебирает)– верный признак того, что на речу себя настраивает, и вот взыграла:

– У нас, товарищи рабочие, худо выполняется важнейшее постановление… в части увеличения скота в личном пользовании.

– Это чего, Сусанна Федоровна? – удивленно раскрыл рот Филя-петух. Опять, значит, чтобы коров у себя заводили?

– Совершенно верно, товарищ Постников. Подсобное хозяйство колхозника и рабочего – это важный резерв увеличения сельскохозяйственной продукции в стране…

– Интересно, интересно! – сказал Михаил.

– Тебя это, Пряслин, не касается. Ты это постановление хорошо выполняешь.

– Нет, касается! – Михаила – в жару, в засуху – так всего и затрясло. А пять лет назад что ты бренчала? Корова картину нам портит… Грязь да вонь от коровы… Культурно жить не дает…

Суса будто не слышала. Отыскала глазами Зою-зоотехника – и к ней как секретарю комсомольской организации:

– Ты, товарищ Малкина, думаешь, нет чего? У нас двадцать восемь комсомольцев налицо, большая сила, а где ваша авангардная роль в данном вопросе?

– У них авангардная роль еще полностью по части сенотерапии не выполнена.

Смех, хохот сразу в сорок глоток. Даже Петр Житов, только что вывернувшийся из-за угла с двумя холостягами в обнимку – кумачово-красный, с пронзительно-светлыми глазами (не иначе как только что отбомбились), – даже Петр Житов заржал. Потому что Таборский – это он, конечно, ввернул – попал в точку: непонятная какая-то привычка появилась у нынешней молодежи – как вечер, так и под угор на луг сено нюхать, хотя при нынешней жаре близко к этому сену подойти нельзя: как от печи, от зародов зноем несет.

Суса не дрогнула, а и управляющему мозги вправила:

– Тебе бы, товарищ Таборский, тоже не мешало сделать серьезные выводы. У кого до четырнадцати голов поголовье крупного рогатого скота в личном секторе доведено…

Тут уж Михаил прямо заорал:

– Оба вы хорошо поработали! А ты дак, Обросова, на каждом собранье: кончать надоть с частным сектором. С частным! А не с личным. Это ты сегодня с личным-то запела, потому что пластинку переменили, другой настрой балалайке твоей дали…

– Попрошу без оскорблений, Пряслин! – предупредил Таборский.

Кто-то было хохотнул – ловко, дескать, мазанули по Сусе, поубавили спеси, – но Михаилу было не до похвал. Вся жизнь, все муки и беды, весь бедолом, связанный с коровой, поднялся изнутри, и он отвел душу, все высказал, что думает про Сусанну и Таборского. И тут, конечно, заработала машина Таборского: один, другой кусанул Михаила, третий. Дескать, что ты навалился на Обросову? Разве не знаешь, что она не свою бочку катит, а указания выполняет?

– Надо бы немножко-то учитывать, поскольку она линию проводит. – Это Максим Заварзин пробормотал. Один из немногих в деревне, с кем Михаил до сих пор ладил.

– А ты не вертись, как навоз в проруби! – всыпал и ему Михаил. Сегодня одно, завтра другое… Так и будет всю жизнь?

Таборский вмиг перестал улыбаться: политика! И уже не сказал, а врубил:

– Совхозное дело у нас, Пряслин, молодое, и подрывать его тебе никто не позволит.

– Я подрываю? Я? Ну это мы еще поглядим…

– А я прямо тебе скажу, Пряслин, – Суса тоже в наступление пошла: Служила партии и буду служить!

– А я кому служу? Не партии? Только вы мне голову не задуривайте: совхозное дело новое… Вишь как у вас все просто…

Таборский не дал договорить Михаилу. Зычно, по-командирски рванул:

– По коням, мальчики! Живо! А ты, Пряслин, до полного выздоровления запрещаю являться на развод. Понял? Страда у нас, а не говорильня. Рабочий график срываешь.

Да, вот такой поворот дал всему делу Таборский: ты, мол, Пряслин, во всем виноват, ты, мол, нам палки в колеса суешь! И пока Михаил собирался с мыслями, люди уже встали.

Потом вскоре заревели, зарычали моторы, и он с завистью начал смотреть на людей, бойко рассаживающихся по машинам.

4

На медпункте, как всегда, в утренний час очередь. Жуть как пекутся о своем здоровье нынешние пенсионерки! Не ветошь, конечно, не двадцатирублевки – тем дай Бог концы с концами свести. Нет, за здоровьем следят молодки. В пятьдесят лет нынче выходят бабы на пенсию в ихнем районе. В пятьдесят! Иные просто кровь с молоком, хоть замуж выдавай. Да и был в прошлом году в Водянах такой случай. Привезла девка из города жениха своей маме показать. Встретились, угостились, ночь переспали, а наутро жених ультиматум: на матери согласен жениться, а дочерь с глаз долой – смотреть не хочу!

Михаил, как рабочий, сидел недолго – до выхода первой старухи.

– Какова ноне? С настроеньем, нет?

Симу-фельдшерицу в деревне побаивались все: хамло баба! До рук дело, пожалуй, не доходило, а запустить матом в больного, а тем более в пенсионеров, которых она терпеть не могла, – запросто.

– А вроде нету большого-то настроенья.

– С чего у ей настроенье-то будет? Полон хлев коз, а сено еще не ставлено. Поминала в прошлый раз.

С Михаилом Сима тоже не церемонилась. Начала с больной руки бинт сдирать – как мясник с быка кожу. Не глядя.

– Потише маленько…

– Чего потише-то? Сколько еще будешь в куколку играть? – А потом увидела разбинтованную руку и глаза на взвод: – Ты чего это? Вредительством занимаешься?

– Каким вредительством? Рехнулась!

– Не вижу разве? Ты опять робил!

Михаил не то чтобы для оправданья – просто так, по-человечески хотел объяснить: нет, мол, на свете страшнее муки, чем не работать, это сплошной ужас, а не жизнь, когда целый день ничего не делаешь, ну и начал он в последние дни больную руку на работу настраивать. А как же иначе? Надо же как-то вводить себя в прежние берега. Но Сима – глаза мутные, с красниной, в углах губ белая накипь – уже завелась не на шутку:

– Ты думаешь, у нас тут шатай-валяй, шарашкина контора? А у нас тоже план и показатели…

– А ты в нужник каждый день ходишь?

– Чего?

– Я говорю, в нужник ты каждый день ходишь? А еще спрашиваешь, почему человек без работы жить не может… Доктор называется.

– Ну вот что, Пряслин! Я на тебя докладную куда надоть напишу. Ты мне ответишь, как

оскорблять при исполнении служебных обязанностей! И биллютень как знаешь… Поезжай в район, раз не желаешь лечиться. А я тебе не частная лавочка, у государства на службе…

Михаил все-таки сумел заткнуть пасть Симе:

– Ты мужику своему много даешь сидеть без дела?

– Чего? Како тебе дело до моего мужика?

– Ванька, говорю, много сидит у тебя без дела? Не калишь ты его с утра до вечера?

И вот Сима мало-помалу стала принимать человеческий вид. Понравилось, что сказал насчет Ваньки. Хотя на самом-то деле всем известно, как Ванька ее утюжит. Оттого, может, и на больных кидается.

– А моя холера, думаешь, не из того же теста, что ты? – Михаил и себя не пощадил. – Все вы одинаковы стервы. Как начнет-начнет калить – рад к черту на рога броситься, а не то что про больную руку помнить.

– Ври-ко давай, – сказала Сима, но больше уже насчет вредительства не разорялась.

5

Корову в поскотину проводил, на разводе побывал, с Сусой-балалайкой заново расплевался, с Симой-фельдшерицей, можно сказать, тоже бабки подбил не в свою пользу, потому что хитрая же бестия – сообразит, как над ней издевались…

Еще чего? Чай утренний? Был! С женой прения утренние? Были. Из-за Ларисы копоть подняли. Отец, видите ли, ребенка тиранит, воду от колодца заставляет таскать, чтобы хоть слегка картошку под окошками побрызгать, а ребенок только по ночам в клубе ногами молотить может…

Да, все переделано, план по ругани за день выполнен, а время еще подходило только к одиннадцати…

Михаил недобрыми глазами поглядел из-под навеса с высокого крыльца медпункта на сельпо – пожар от солнца в окошках – и начал спускаться в дневное пекло.

Чья-то собачонка, вроде Фили-петуха, попалась под ногу у нижней ступеньки крыльца – все живое теперь лезет в тень – пнул. Не загораживай дорогу, сволочь! Развелось вас теперь – проходу нет. Собачник из деревни сделали.

Не хотел он сегодня с «бомбой» разбираться, Раиса и так всю плешь проела, но надо же как-то себя в норму привести! Разве он думал, что с утра с лайкой-балалайкой схватится да этого хряка Таборского за хрип возьмет? А потом, как не заглянуть в это время в сельпо? Клуб. Вся пекашинская пенсионерия в сборе. Все – худо-бедно – развлечение.

Спокойным, размеренным шагом, старательно, прямо-таки напоказ держа больную руку в повязке – Сима наверняка из своего окошка за ним зырит, Михаил поднялся на крыльцо, открыл дверь и – что такое? Где люди?

Светлых алюминиевых ведерок да разноцветной пластмассовой посуды полно, весь пол по левую сторону от печки до печки заставлен, а людей – одна Зина-продавщица в белом халате за

прилавком.

– Что это у тебя ноне за новый сервис?

Зина – невелика грамота, пять классов – не поняла, да, признаться, он и сам до поездки в Москву не очень в ладах был с этим словом.

– На новое обслуживание, говорю, перешла? – Михаил кивнул на посуду. Без клиентов?

– Не, – замахала руками Зина. – Какое, к черту, обслуживание. Это все улетели – посудный день сегодня.

– Посудный, – повторил Михаил и больше ни о чем не спрашивал. Разворот на сто восемьдесят – и дай Бог ноги.

Посудный день, то есть прием посуды из-под вина, бывает раза два в году, и тут уж не зевай – пошевеливайся: в любую минуту могут отбой дать. Не хотят продавцы возиться с посудой. Хлопотно, заделисто, а для выполнения плана – гроши.

Деревня взбурлила на глазах. Бабы, старухи, отпускники, студенты, школьники – все впряглись в работу. Кто пер, тащил, обливаясь потом, кузов или короб литого стекла на себе, кто приспособил водовозную тележку, детскую коляску, мотоцикл. А Венька Иняхин да Пашка Клопов на это дело кинули свою технику – колесный трактор «Беларусь» с прицепом. Чтобы не возиться, не валандаться долго, а все разом вывезти.

А как же они с работой-то? С пожни удрали, что ли? – подумал Михаил. Ведь каких-нибудь часа два назад он своими глазами их на разводе видел.

Но ломать голову не приходилось. Надо было о собственной посуде позаботиться, а кроме того, еще Петру Житову сказать. Где он со своей «инвалидкой»? Кому и потеть сейчас как не ему? У кого еще в Пекашине посуды столько?

"Инвалидка" Петра Житова сидела, зарывшись по самые оси, в песках напротив клуба. И было одно из двух: либо Петр Житов заснул за рулем (случается это с ним, когда переберет), либо моторишко забарахлил: частенько и зимой и летом житовский «кадиллак» возят на буксире трактора, автомашины, а больше всего выручает Пегаха, коняга, на котором Филя-петух возит хлеб с пекарни в сельпо. Тот всегда под рукой, всегда в телеге стоит или у пекарни, или у магазина.

Петра Житова в «инвалидке» не было (значит, на ногах, или, лучше сказать, на ноге), и Михаил свернул к маслозаводу – предупредить насчет посуды жену: может, он и сам бы потихоньку справился, да ежели его за этим делом увидит Сима-фельдшерица – будет крику.

К маслозаводу ихнему без противогаза не суйся: душина – мухи дохнут. А все потому, что всю жижу, все отходы выливают на улицу: лень, руки отпадут, если эту проклятую химию отвезти в сторону метров на сто.

– Кликни-ко мою! – крикнул Михаил издали Таньке, жене Зотьки-кузнеца, которая обмывала бидоны возле крыльца, и тотчас же зажал нос: никогда не мог понять, как все это выносит Раиса.

– Ушла. Кабыть не знаешь свою благоверную.

Он встретил жену неподалеку от дома Петра Житова. Идет – кузов с посудой на спине, пополам выгнулась и скрип на всю улицу.

– Занял, нет очередь?

– Нет, я бежал тебя предупредить.

– Кой черт меня-то предупреждать! Неуж у меня мозгов-то совсем нету? В очередь надо было вставать. Я, что ли, это напила? Одной мне надо!

Михаил что-то невнятно забормотал (действительно ерунда получилась) покатила, слушать не захотела.

Глава тринадцатая

1

Пообедали мирно. Оба были довольны – с посудой разделались. А то ведь столько ее, окаянной, за год скопилось, что в кладовку зайти нельзя: везде, и на полу и на полках, бутылки.

Но Михаил вылез из-за стола да глянул на часы – и туча накрыла лицо. Три с половиной часа. Только три с половиной!

Раньше такое бы случилось, ором орал: на работу опаздываю! А сегодня в страх бросило: что до вечера, до кино буду делать?

Работы по дому навалом. Из каждого угла работа кричит. И можно бы, можно кое-что и одной рукой поковырять. Да ведь фельдшерица дознается опять скандал, опять про вредительство начнет ляпать. А потом, надо, видно, и самому себя на цепь садить, а то сколько еще на больничном проканителишься?

Ковыряя спичкой во рту (вот какая у него теперь работа!), Михаил подумал: а не пойти ли в мастерскую? Не придавить ли на часок подушку?

Нет, ночью не спать, ночью опять мозоли на мозгах набивать.

Нет, нет, нет! Вкалывать в лесу у пня без передыху, без выходных, по месяцам дома не бывать, как это было в войну и после войны, не дай Бог, а думать, жерновами ворочать, которые у тебя в башке, еще хуже. Из всех мук мука! Начнешь вроде бы с пустяка, с того, что каждый день у тебя под носом, – почему поля запущены, почему покосы задичали, а потом, глядь, уж за деревню вылез, уж по району раскатываешь, а потом все дальше, дальше и в такие дебри заберешься, что самому страшно станет. Не знаешь, как и обратно выкарабкаться! Без болота вязнешь, без воды тонешь, как, скажи, в самую-самую распуту, когда зимние дороги пали и летние еще не натоптаны, все так и ползет, все так и расплывается под ногой.

Раиса, принявшаяся за мытье посуды, показалось Михаилу, подозрительно покосилась на него (неработающий человек всегда бревно в глазах у работающего), и он понял, что надо куда-то поскорее сматываться.

А куда?

В гости к кому-нибудь податься да язык размять? Калину Ивановича проведать?

Все не годилось. Одни лентяи да пьяницы зарезные середь бела дня по гостям шатаются, а к старику дорога и не заказана, да больного человека хорошо ли постоянно трясти?

А вот что я сделаю! – вдруг оживился Михаил. Дойду-ко до старого дома. Чего там Петро натворил? Да и насчет дома Степана Андреяновича что-то надо делать. Сколько он ни говорил себе, сколько ни втолковывал: мое дело сторона, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте, – а нет, видно, без него ни черта не выйдет. Тот сукин сын – он имел в виду Егоршу – у Пахи Баландина, говорят, уж деньги под верхнюю половину дома взял, а Паха долго раздумывать не будет: ради своей корысти не то что дом разломает – деревню спалит.

Но тут Михаил вспомнил, как давеча утром Петр прошел мимо ихнего дома. И не то чтобы привернуть к брату старшему – не взглянул. Глаза в землю, вроде бы задумался, ничего не видит. Не видит? За ту, за сестрицу, счет предъявляет. Раз ты не хочешь признавать сестру, и мне нечего делать у тебя.

Нет, рано, рано старшего брага учить, вскипел вдруг Михаил. Больно много чести, чтобы я первый пошел на поклон.

И он побрел на угор к амбару, где в последнее время привык на вольном воздухе подымить сигареткой.

2

Сведенный в щелку глаз, едва приземлился за амбаром на умятой, пожелтевшей траве, по привычке заскользил по серому, как войлок, лугу, по выжженным суховеем полям. У Таборского нынче праздник: не надо с полей убирать.

Да, вот до чего дошло: управляющий отделения радуется, что на полях ничего не уродилось. Сказать это кому нормальному – глаза на лоб полезут. А он, Михаил, сам в прошлом году слышал, как Таборский клял все на свете. Хлеба навалило неслыханно – стеной рожь стояла по всему подгорью. На круг, по подсчетам, двадцать два центнера выходило. И вот караул! Куда девать такую прорву зерна? Ни токов нет, ни складов. И Михаил, конечно, высказался по этому поводу: мол, в кои-то поры урожай пришел, дак ты в панику! "Да пойми ты, черт тя задери, – завелся Таборский, – у нас животноводческое направление, а не хлебное! За то, что мы хлеб завалим, прогрессивку с нас не снимут, а вот ежели с молоком запоремся – не то что прогрессивку, головы оторвут".

Да, подумал Михаил, в этом году у Таборского не будет забот, и вдруг вздрогнул: каждый день в это время над головой пролетают реактивные самолеты, а все равно каждый раз врасплох гром, который с небесных высот на землю падает.

Он проводил взглядом крохотный серебряный крестик, поглядел на реку, на желтый песок, где бесновалась крикливая мелкота, или малоросия, выражаясь по-пекашински, поглядел на чью-то бабу в красном платье, вышагивающую босиком по меже (только пятки сверкают), и в конце концов ульнул глазом в лошадей, томившихся на привязи под самым спуском.

Тоска смертная смотреть на нынешних лошадей. Не шелохнутся. С ноги на ногу не переступят. Как мертвые стоят. У иных еще кое-как болтается хвост-веник, а у Тучи да у Трумэна и эта штука выключена– хоть заживо сожрите мухи да комары.

Да что они, вознегодовал Михаил, совсем от жары очумели? Или это у них какая-то своя лошадиная молитва?

Есть, есть о чем молиться нынешним лошадям. Задавили машины, смертный приговор вынесли коняге.

Но и лошади, пес их задери, тоже хороши. Попервости, в тридцатые годы, когда машины на Пинегу пришли, хоть бунтовали. Страхи страшные, что делалось, когда с трактором или автомобилем встречались: из оглобель лезли, телегу вдребезги разносили. А теперь… А теперь машину завидят, сами с дороги сворачивают, сами путь уступают. Ну а раз сам себя не уважаешь, раз сам на себя смотришь как на отжившую дохлятину, кто же с тобой будет считаться?

Михаил резко встал, затоптал недокуренную сигарету. Не из-за жары, не из-за молитвы стоят замертво лошади, а из-за того, что с утра не поены. Нюрка Яковлева за посуду выручила – разве ей до лошадей сегодня?

3

– Бежи под угор, перевяжи лошадей, – сказал Михаил Ларисе, войдя на кухню (та на столе что-то гладила), и вдруг заорал на весь дом: – Да сними ты к чертям эти уродины! – Он терпеть не мог, когда дочь надевала фиолетовые очки, большие, круглые, во все лицо. Никогда не видишь глаз – как улитка в своей скорлупе запряталась.

– Чего, чего ты опять гремишь? – подала голос из-за занавески от печи Раиса. – Куда ее посылаешь?

– Лошадей напоить да перевязать.

– Лошадей? Каких лошадей?

– Живых! Под угором которые. Раиса вышла из-за занавески.

– Ты одичал, отец? С чего она пойдет-то? Конюх есть.

– Да где конюх-от? Посуду сдала – кверху задницей где-нибудь лежит.

– А это уж ейно дело. Ей деньги за лошадей платят.

– Да люди вы але нет? – еще пуще прежнего разорался Михаил. – Лошади с голоду, с жажды подыхают, весь день глотка воды не видали, а ты про деньги… Неужли не жалко?

– Всех не нажалеешь. Нас много с тобой жалеют?

– Ну-ну! Давай, око за око, зуб за зуб… Вот как в тебе Федор-то Капитонович заговорил…

– Ты моего отца не трожь!.. – Раиса так разошлась, что кулаком по столу стукнула. – Федор-то Капитонович первый человек в Пекашине был.

Михаил захохотал:

– Первый! Как же не первый. Он и в войну всех как первый потрошил…

– Умному все во грех ставят, что ни сделай. А тебе бы не поносить отца надо, а век за него молиться. Кабы не он, с голыми стенами жил.

– Че-е-го? – Михаил выпрямился.

– А то! На чьи денежки вся мебель куплена? Много ты нажил за свою жизнь! Да кабы не отец-от, доселе как в сарае жили…

Михаилу попался на глаза стул с мягким сиденьем– вмиг в щепу разлетелся. И он наверняка бы так же расправился и с другой мебелью, да тут в дом вошел Григорий.

4

Это было как чудо. Ничего не слышали, ничего не чули – ни звона кольца в калитке, ни шагов на крыльце – и вдруг он.

Долгожданной свежестью дохнуло в раскаленную кухню, праздник вошел в дом, глаза заново мир увидели… Как угодно, какими хочешь словами назови все правильно будет, все верно.

– Ох, ох, кто пришел-от к нам, кто пожаловал… Садись, садись, Григорий Иванович… Где любо, там и садись…

Раиса заливалась соловьем, новенькой метелкой бегала вокруг Григория, и она не притворялась. Григория все любили в доме. И не только люди. Животина любила. К примеру, Лыска взять. Зверь пес. Никого не пропустит, всех облает. Даже хозяйку, которая кормит его, кажинный раз лаем встречает. А у Григория будто особый пропуск: звука не подаст.

С Михаила словно сто пудов сразу свалили – вот как его обрадовал приход брата, и он, закуривая и добродушно скаля зубы, спросил:

– Ну как, братило, живем?

– А хорошо живем. Ходить нынче начали…

– Кто ходить начал?

– А Михаил да Надежда. – И пошел, и пошел рассказывать про близнят: как первый раз встали на ноги, как сделали первые шаги, как развернулись теперь.

Раиса вывернулась – вспомнила про Звездоню.

– Ты что, отец, меня не гонишь? Ведь у меня корова не доена.

Ну а что было делать ему, Михаилу? Сидел, попыхивал сигареткой и слушал. Слушал про двойнят, которых не хотел знать, слушал про Петра, про сестру. Потому что у Григория не было своей жизни – он жил неотделимо от брата, от сестры, от двойнят. И вот благодаря его рассказам да рассказам Анки – для той тоже никаких запретов не существовало – в доме Михаила решительно знали все, что делается там, у той.

– Дак что, брат, чай будем пить але как? – И Михаил, не очень-то прислушиваясь к рассказам Григория, принялся за самовар: терпеть не мог электрические чайники, которые теперь были в ходу в Пекашине, – все не то, все казалось, что на столе какая-то мертвечина.

Вернулась от коровы Раиса человеком, с улыбкой на своем красивом румяном лице (да, не обделил Бог красотой), первым делом начала угощать парным молоком Григория – полнехонькую, с шапкой пены налила кружку.

– Пей, пей! Хорошо молочко-то из-под коровы. Надо бы тебе кажный раз к нам приходить к доенке – сразу бы эту бледность скинуло.

Самовар вскипел быстро (все быстро делается, когда Григорий в доме), и Михаил сам принялся накрывать на стол.

К самому чаю вернулись с реки Вера с Анкой. Крик от радости на весь дом: "Дядя Гриша пришел!" – затем почти вслед за ними пожаловала Лариса. Эта всем обличьем, всеми повадками была в Клевакиных, а вот нюх на обед, на чай – от ихнего Федора. Тот, бывало, где бы ни шатался, ни проказил, а к жратве как из пушки. Но Лариса при виде дяди неподдельно, по-хорошему улыбнулась, и это сразу примирило Михаила с дочерью.

Самую неслыханную доброту, однако, выказала Раиса – «бомбу» на стол выставила.

– Берегла к бане, да ладно, ноне жарынь такая – кажный день баня.

Григорию Михаил налил только для приличия – в рот не берет, но, чего никогда не случалось, – Раиса попросила для нее плеснуть. И тут Михаил ничего не мог поделать с собой – отмяк сразу. Что ты будешь делать с ней, с дурой… Такой уж характер. Сама не рада, а сказать прямо: виновата – ни за что. Как угодно будет перед тобой оправдываться – ползком, на коленях, делом, но только язык не повернуть в твою сторону. По крайности на первых порах.

Чтобы пристать к мужнину берегу, стать на его якорь, начала загребать чуть ли не от Водян.

– Вы думаете, нет чего своей башкой? Картошка-то, не видите, вся сгорела. – Это слово к дочерям.

– Чего о ней думать? – фыркнула Лариса. – Не у нас одних сгорела – у всех.

– У всех! Все-то, может, помирать собираются, и ты вслед за има? Сколько вам отец говорил: поливать надо.

Ого! – ухмыльнулся про себя Михаил.

– Сегодня чтобы у меня тридцать ведер было наношено! – И вдруг на свою любимицу, на Ларису, которая в это время носом передернула: – Тебе, тебе говорю! Кой черт носырей-то задергала. Не кивай, не кивай на Веру-то, Вера-то целый день на жаре как проклятая работала, а ты ведь со своей лежкой забыла, что и за работа такая. Раз, говоришь, у тебя давленье, дак давленье-то не скоком в клубе лечат, а работой. В старину-то люди до упаду робили, ни про како давленье не слыхали.

– В старину-то давленье-то не мерили! – весело рассмеялась Вера. – И аппаратов таких не было. Досталось и Вере:

– А ты ротище-то попридержи. Не ворота у тебя, не телега едет. У отца рука болит, сколько в бане не мылся, а они, кобылы, и не подумают.

– Подумаем, подумаем! – опять с той же прытью отозвалась Вера. – Везде воды наносим. Только нервные клетки береги, Федоровна!

– А ты брось мне эту привычку! – Раиса не закричала, вся просто затряслась, надо же на ком-то сорвать злость. – Завела: Федоровна, Федоровна! Мати я тебе, а не Федоровна.

– Ну уж и пошутить нельзя.

– Нельзя! Все с шуток начинается, да слезами кончается.

– Хорошо, мам! Твое ценное указание будет выполнено. И со своей стороны берем дополнительное обязательство: вместо тридцати ведер принесем сорок.

Михаил примиряюще махнул рукой:

– Ладно, завтра насчет воды. Сегодня, говорят, кино интересное.

– Вот, вот! – запричитала Раиса. – Завсегда у Нас так: мати что ни скажет, все не так, се неладно. Да разве будет у нас что хорошо в дому…

– Папа, папа! – Вера всплеснула руками. – А дядя-то Гриша…

Все глянули на угол стола, туда, где недавно сидел Григорий. И все увидели: нет Григория. Всегда вот так: войдет неслышно и уйдет неслышно.

А может, так и надо? – подумал Михаил. Чего ему с нами делать? Склеил, слепил ихний семейный горшок, давший трещину, вспрыснул всех живой водой – и живите на здоровье.

Непонятный человек, хоть и брат родной! С одной стороны, как малый ребенок, как дурачок блаженный, а с другой, как подумаешь хорошенько, умнее его на свете нет.

Глава четырнадцатая

1

Выдохлась наконец дневная жара – полегче стало дышать.

На Раису напал трудовой зуд – это всегда случается после очередной домашней перебранки, – начала все перетряхивать, все перелопачивать: мыть полы, заново переставлять мебель, подметать заулок. А ему что делать?

Для видимости потолкался по дому, туда-сюда заглянул, обошел усадьбу, прошелся с дочерьми до колодца и кончил тем, что отпустил их в клуб, а затем и сам пошел.

Кино уже началось – Михаил еще на крыльце услыхал рев и грохот, доносившийся из зрительного зала, – не иначе как военную картину показывали.

Он постоял-постоял в пустом фойе и пошел в читальню, в которой еще недавно хозяйничали ребятишки и молодежь. Журналы и газеты вразброс по всему столу, на полу опрокинутые стулья, рваная бумага, песок и, конечно, настежь двери: всем скопом, всем стадом кинулись на выход, когда раздался звонок.

Михаил плотно прикрыл двери, поднял с полу стулья, навел кое-какой порядок на столе и только после этого подошел к списку погибших на войне.

Сто двадцать восемь человек. Целая рота. Это только те, что не вернулись с фронта. А ежели к ним прибавить еще тех пекашинцев, которые приняли смерть во время войны тут, на Пинеге, – кто от работы, кто от голода, кто от простуды на сплаве, кто от пересады в лесу? Разве они не заслужили того, чтобы тоже быть в этом списке? Разве не ради родины, не ради победы отдали свои жизни?

Тоня-библиотекарша (это она рисовала список) поначалу размахнулась круто – за версту видать первые фамилии. А потом увидела – бумаги не хватит, и начала мельчить-лепить так,

что последние фамилии без очков и не прочитать.

Ивану Пряслину в этом списке тоже не очень повезло (Тоня еще на букве «н» включила тормоза), но Михаил уже привык – сразу уперся глазом в отцовскую фамилию.

Где-то он читал или в кино видел: тридцатилетний сын в трудную минуту смотрит на карточку молодого безусого паренька, каким был его отец, убитый на войне, и просит у него совета.

Помнится, это до слез прошибло его тогда, и с той поры не было случая, чтобы он, подойдя к этой пекашинской святыне, не подумал бы, что и он уже чуть ли не в полтора раза старше своего отца. А все равно, глядя на родное имя, выведенное от руки черными, уже полинялыми чернилами, он чувствовал себя всегда маленьким недорослком, тем лопоухим пацаном, каким он провожал отца на войну…

2

После разговора с отцом у Михаила всегда легчало на душе. Он выходил из читальни как бы весь, с ног до головы, омытый родниковой водой.

Сегодня этого привычного ощущения не было. Почему? Неужели все дело в Коте-сопле, подслеповатом племяннике Сусы-балалайки, который под парами незванно-непрошенно вкатился в читальню? Михаил, конечно, тотчас выставил его вон – не смей, мразь эдакая, с пьяным рылом к святыне! – но настроиться на прежний лад уже не смог.

А может, подумал он, шагая по темной деревне и вглядываясь в освещенные окна, из-за осени все это? Из-за того, что осень опять подошла к Пекашину?

Сколько лет уже как кончилась война, сколько лет прошло с той поры, как отменили налоги и займы, а его все еще и доселе с наступлением августовской темноты будто в ознобе начинает трясти. Потому что именно в это самое время начиналась, бывало, главная расплата с налогами и займами.

Михаил прошел мимо своего дома – хотелось хоть немного успокоиться – и вдруг, когда стал подходить к старому дому, понял, отчего у него муторно и погано на душе. Оттого, что не в ладах, не в согласии со своими. С Петром, с братом родным, за все лето ни разу по-хорошему не поговорил. Парень старается, старый дом, сказывают, перетряс до основанья, а он даже не соизволил при дневнем свете на его дела посмотреть. Да и с сестрой что-то надо делать. Ну дура набитая, ну наломала дров и с домом и с этими детками да ведь сестра же! Какая жизнь вместе прожита!

Эх, воскликнул про себя Михаил, загораясь, вот вломлюсь сейчас нежданно-негаданно и прямо с порога: ну вот что, ребята, посмешили людей – и хватит! А теперь давай докладывай старшему брату что и как.

Он сделал полный вдох, как перед прыжком в воду, решительно оттолкнулся от угла старого дома, откуда смотрел на знакомые занавески с кудрявыми цветочками в домишке покойной Семеновны, налитые ярким электрическим светом изнутри, и снова прилип к углу, потому что как раз в эту минуту из дома Семеновны, громко разговаривая и посмеиваясь, вышли люди.

– Ну, спасибо, спасибо, Лизавета! Опять, слава Богу, отвели душу.

– Бесстыдница, убежала-ускакала от нас – мы хоть помирай без тебя.

– Дак ведь не за границу ускакала, – ответил Лизин голос, – а вы не без ног. Версту-то, думаю, всяко одолеть можете.

– Можем, можем, Лизавета! Теперь-то живем. Трудно первый раз тропу проторить, а по натоптанной-то дороге и слепая кобыла ходит.

Понятно, понятно, сказал себе Михаил, старушонки из нижнего конца. Видите ли, осиротели было, бедные, – негде языком почесать стало, когда та из дому своего удрала. А теперь возликовали – можно и у Семеновны горло драть.

А сестрица-то, сестрица-то какова! – продолжал заводить себя Михаил. Он расчувствовался-расслюнявился, чуть ли не с повинной хотел заявиться. А она: ха-ха-ха, заходите в любое время, а про дом-горемыку и думы нет.

Закипая злостью, Михаил круто сплюнул и пошагал домой.

3

Дома все сияло и сверкало, как в праздник: и крашеный намытый пол, и начищенный никелированный самовар, который в ожидании хозяина словно паровоз бурлил на столе, и дорогая полированная мебель, отделанная медью. И блестела и сверкала Раиса. За сорок лет бабе перевалило, на иную в ее годы и взглянуть тошно, а этой никакие годы нипочем. Как молодая девка.

Михаил сам молодел в такие вечера. Он гордился своим новым, по-городскому обставленным домом, всеми этими красивыми вещами, которые окружали его, и, чего лукавить, гордился своей красивой румянощекой женой.

В нынешний вечер ничто не радовало его, ничто не ворохнуло сердце. И он как перешагнул порог с насупленными бровями, так и сидел за столом.

– Что опять стряслось? Какая муха укусила?

Раиса спрашивала мягко, дружелюбно, но он только вздохнул в ответ. А что было сказать? Как признаться в том, что вот он сидит в своем расчудесном новом доме, а душой и сердцем там, в старой пряслинской развалюхе?

Глава пятнадцатая

1

– Где Лизавета? На телятнике все убивается?

Петр глянул сверху вниз: Анфиса Петровна. Стоит в заулке и, как рыба, открытым ртом хватает воздух.

– Что случилось? – закричал он: Анфиса Петровна с ее здоровьем просто так не прибежит.

– Как что? Разве не слыхал? Ведь те разбойники-то дом хотят рушить. Сидят у Петра Житова, храбрости набираются…

Петр не слез – скатился с дома.

– А брат… Михаил знает?

Гневом сверкнули все еще черные, не размытые временем глаза.

– Черт разберет вашего Михаила! Не знаешь разве своего братца? Удила закусил – с места не своротишь!

– Пойдем, – сказал Петр.

– Брат, брат… – плеснулся вдогонку плаксивый голос.

– Чего это он? – Анфиса Петровна посмотрела в сторону крыльца, где с двойнятами нянчился Григорий.

– Больной человек – известно: всего боится, – уклончиво ответил Петр, но сам-то он хорошо знал, чего боится Григорий.

2

Редкий день не появлялся в ихнем заулке Егорша.

Крикнет снизу, махнет рукой: "Привет строителям! Помощников не треба?" А потом своей прежней вихляющей походкой беззаботно, как будто так и надо, подойдет к Григорию, поздоровается за руку, поглядит, потреплет своей темной, загорелой рукой по голове детей, а иногда даже по конфетке даст…

И что бы надо было делать ему? Как разговаривать с этим подонком, с этим подлецом? Вмиг спуститься с дома и бить, бить. Бить за Лизу, за деда, за племянника, за дом, за все зло, которое он причинил им.

А Петр с места не двигался. Петр смотрел со своей верхотуры на этого жалкого, суетящегося внизу человечка в нейлоновой, поблескивающей на солнце шляпчонке, на то, как он заискивающе, по-собачьи заглядывал в глаза больному брату, даже детям, угодливо оборачивался к нему, к Петру, – и каждый раз с удивлением, с ужасом спрашивал себя: да неужели же это Егорша, тот неуемный, неунывающий весельчак, который как солнце когда-то врывался в ихнюю развалюху?

Да, брат-отец – Михаил. Да, Михаилом жила семья. Михаилом и Лизой. Но что было бы с ними, со всей ихней пряслинской оравой, кабы не было возле них Егорши?

Михаилу родина сказала: стой насмерть! Руби лес! И Михаил будет стоять насмерть, будет рубить лес. И месяц и два не выйдет домой. А им-то, малявкам, каково в это время? Им-то кто какой-нибудь затычкой заткнет голодный рот? Их-то кто обогреет, дровиной стужу в избе разгонит?

И это было счастье для них, великое благо, что Егорша мот и сачкарь. Все равно раз в десятидневку выйдет из леса. Хоть самый ударный-разударный месячник (а им, этим месячникам, числа не было в войну и после войны), хоть пожар кругом, хоть светопреставление. Под любым предлогом выйдет. А раз выйдет – как же к ним-то не заглянуть?

И вот так и получалось: свои интересы, свои удовольствия, об ихней ораве и думушки не было, а все чем-нибудь помог: то дровишками, то горстью овса, который прихватывал у лошадей (лошадям, чтобы воз с лесом тащили, в самые тяжкие дни войны выписывали овес).

Но дело даже и не в дровишках и горсти овса. Одно появление Егорши в ихнем доме все меняло, все перевертывало.

Сидели, помирали заживо на печи – в темноте, во мраке (лучину экономили – в лесу растет!), вслушивались в нескончаемый голодный вой зимней метели в трубе, да вдруг на пороге Егорша.

Сейчас-то быть веселым да безунывным что. А ты попробуй смеяться, скалить зубы, когда с голоду и холоду умираешь.

Егорша умел это делать – и в войну где он, там и жизнь.

Да и только ли в войну? А после войны, когда Звездоня пала, кто выручил их? Конечно, Лиза, конечно, сестра пожертвовала собой ради них, да ведь и он, Егорша, при этом не сбоку припеку был. Не важно, как у него это вышло, что было на уме, но он, Егорша, взамен Звездони привел к ним новую корову.

И вот почему, когда они стали уходить из заулка с Анфисой Петровной, заплакал, зарыдал больной Григорий: "Брат, брат, не горячись!.. Брат, брат, не забывай, что сделал для нас Егорша..."

Нет, забыть, что сделал для них, для ихней семьи Егорша, нельзя. Никогда! Даже на том свете. А с другой стороны, надо же что-то делать. Надо же как-то обуздать его, спасать ставровский дом.

Анфиса Петровна не иначе как по старой председательской привычке сразу, как только они переступили порог кухни, взяла в работу Петра Житова и Паху Баландина – они тут были за главных: дескать, люди вы или не люди? Опомнитесь! Что собираетесь делать?

– А чего мы собираемся делать? Чего? – пьяно икнул Петр Житов и вдруг широко раззявил грязную, обросшую седой щетиной пасть, в которой редко, как пни на болоте, торчали остатки черных, просмоленных зубов, захохотал: По-моему, ясно, чего мы делаем. Вносим свой вклад для борьбы с засухой.

Ликующий вой и рев поднялся в продымленной, как старый овин, кухне:

– Правильно, правильно, папа!

– А мне дак еще Чирик помогает, – ухмыльнулся Вася-тля, застарелый холостяк с красными рачьими глазами, и вслед за тем начал вытаскивать из-под стола черную упирающуюся собачонку нездешней породы – маленькую, кудрявую, с обвислыми ушами. – Ну-ко, Чирко, покажи, как ты с засухой борешься.

– Цирковой номер в исполнении заслуженного артиста Василья Обросова и его четвероногого друга-ассистента... – опять, к всеобщему удовольствию, сострил Петр Житов.

– Я тебе покажу цирковой номер! – Анфиса Петровна схватила ухват от печки, стукнула об пол.

Вася-тля то ли с перепоя, то ли ради забавы заорал на всю кухню:

– Чирко, Чирко, враги!

Собачонка отчаянно залаяла, а потом под общий смех и хохот залаял и сам Вася-тля: встал на

четвереньки и гав-гав – с подвывом, с выбросом головы, не хуже своего песика.

И вот от этого содома, надо думать, и очнулся лежавший на голом топчане возле двери справа Евсей Мошкин. Очнулся, поглядел вокруг ничего не понимающими глазами.

– Робята, вы чего это делаете-то? Пошто вы свиньями-то да скотами лаете, образ человечий скверните?

– Лекция во спасение души, – коротко объявил Петр Житов, а добродушный Кеша-руль, тоже из застарелых холостяков-пьяниц, смущенно улыбаясь, сказал:

– А ты, дедушко, лучше выпей, не ругай нас. Ну?

Евсей трясущейся рукой взял протянутый стакан с красным вином.

– Ну, Евсей Тихонович, не знала, не знала я. Вот до чего ты дошел, с кем связался…

– Грешен, грешен, Анфиса Петровна. Хуже скота всякого живу…

– Да ты, может, и на разбой с има пойдешь?

– На разбой?.. – Евсей беспомощно оглянулся вокруг себя.

– За оскорбление личности штраф! – зычно, не то полушутя, не то всерьез крикнул Паха Баландин.

Анфиса Петровна на этот раз даже не удостоила его взглядом.

– Давай, давай, – снова навалилась она на старика. – Только тебе и не хватало взять топор да с этими бандюгами самолучший дом в деревне разорять.

– Какой дом?

– Да ты что – ребенок?! Ставровские хоромы зорить тебя поведут. Затем и поят, вином накачивают.

Евсей поставил на топчан сбоку от себя стакан с вином, поискал глазами в красном углу Егоршу. Но Егорши там уже не было. Егорша выскочил из-за стола, как только Анфиса Петровна начала отчитывать Петра Житова и Паху Баландина: сроду не мог сидеть да выжидать. Выскочил, шляпу на глаза, руки в брюки: ко мне все претензии, я здесь парадом командую! Но Анфиса Петровна не видела, не замечала его, сколько он ни скакал, ни прыгал перед ней. И это для самолюбивого Егорши было хуже всякого наказания, всякой пытки. И вот наконец нашелся человек, в которого можно было разрядить свою ярость.

– Че башкой крутишь? – подскочил он к Евсею. – Меня давно не видал? Соскучился? А может, тоже мораль читать будешь?

– Неладно, неладно это, Егорий…

– Че неладно? Че неладно? Неладно, что свое законное беру? А это ладно – родного внука как последнюю падлу на улицу? Ловко получается. Дед, понимаешь, рвал, рвал из себя жилы, а тут с офицериком с одним сколотышей нахряпали – лады, законные наследнички.

Все время, с первой минуты своего появления в доме Петр держал себя в руках. Кипятилась,

выходила из себя Анфиса Петровна, задирал гостей на потеху себе и собутыльникам Петр Житов, кривлялся Вася-тля, Егорша раза два подскакивал к нему, тыкал в бок специально для того, чтобы вызвать на скандал, – ни единого слова. Зажал себя как в тиски. А тут, как только Егорша задел сестру, моментально словно капкан сработал.

Удар был не такой уж сильный, не с размаху, тычком бил, но много ли пьяной ветошке надо? Кубарем полетел на заплеванный, забросанный окурками пол. Но тотчас же вскочил, и в руке у Егорши сверкнул нож-складень.

– Робята, робята! – что было силы завопил Евсей, потом с неожиданным для его возраста, проворством бросился меж Петром и Егоршей, пал на колени. – Что вы, что вы это надумали-то? Да вы уж лучше меня бейте, Я во всем виноватый, я… – И слезно, как малый ребенок, заплакал.

Егорша вялым движением руки отбросил нож в угол кухни, где стоял железный ушат с водой, поднял с пола свою шляпу.

– Вставай. Здесь не церква, чтобы на коленях стоять, а мы не боги.

– Нет, нет, не встану, Егорий, покудова с Петром не помиришься…

– Кто это будет мириться с таким бандитом, – сказала Анфиса Петровна. Он ведь вишь из каких теперь… Сразу за нож…

А добродушный Кеша-руль, чтобы поскорее восстановить в компании прежний мир, начал наливать Евсею и Егорше вина – иного средства примирения он не знал.

Но Евсей замахал руками:

– Нет, нет, не буду на иудины деньги пить.

– Это еще че? – рявкнул Егорша.

– А то, Егорий, что грех великий на душу взял…

– А ты не взял? Один я пропивал эти самые иудины пятаки?

– И я взял. Я еще грешнее тебя… Мне-то уж совсем нету прощенья.

– Ну а раз нету, бери склянку!

– Нет, не возьму, не возьму, Егорий. – Евсей поднялся с пола.

– Да ты, дедушко, больно-то не капризь, ну? Пей, покудова дают, – опять к примирению воззвал Кеша.

– Вот именно! – мрачно процедил Петр Житов и вдруг сплюнул, когда увидел вновь опускающегося на колени старика.

А Евсей опустился, осенил себя крестом и начал отвешивать земные поклоны с пристуком о пол. Всем поклонился. Тем, кто сидел за столом, Анфисе Петровне, Егорше, ему, Петру.

– Простите, простите меня, окаянного. Я, я во всем виноват…

Егорша первый не выдержал:

– Ну хватит! Не на смерть идешь, чтобы башкой в половицы колотить.

– А может, и на смерть, – тихо сказал Евсей. Затем поднялся на ноги и, не сказав больше ни слова, вышел.

3

Петра встретила сестра у порога, под низкими полатями. Зашептала с испугом, кивая на открытую дверь на другую половину:

– У Гриши опять припадок…

– Знаю.

– Знаешь? Да откуда тебе знать-то? Тебя и дома-то не было, когда его схватило.

Эх, сестра, сестра! Разве ты про себя не знаешь? Не знаешь, что с тобой делается в ту или иную минуту? Так как же ему-то не знать, что с Григорием? Ведь они с братом один человек, разделенный надвое, на две половины. И все, все у них одинаково. Им даже сны в детстве одни и те же снились – разве ты забыла про это?

Устало, как старик, волоча ноги, Петр прошел к столу, на котором теплилась с привернутым фитилем керосиновая лампешка, сел.

– Чай пить будешь?

– Потом, потом…

– Да ты сам-то хоть здоров?

– Ты лучше к нему иди, к брату. Пить дай…

– Да я недавно давала.

– Еще дай.

Вскоре с той половины донесся приглушенный голос Лизы:

– Полегче немножко, нет?

Григорий – он знал, хотя и не расслышал его голоса, – отвечал: конечно, полегче. А какое там полегче, когда он, здоровый человек, весь был измят и измочален!

Да, каждый раз, когда с Григорием случался припадок, бросало в немочь и его, Петра. И так было уже девять лет…

Он заставил себя встать, Зачерпнул ковшом воды из ведра – его тоже мучила жажда, – напился, потом достал из старенького, перекошенного шкафика, который служил для старой Семеновны и комодом и посудником, тетрадку.

Нет, больше так невозможно. Анфиса Петровна отвела топор от ставровского дома – вслед за Евсеем Мошкиным все наладились восвояси, – но надолго ли?

Нет, нет, говорил себе Петр, без вмешательства властей не обойтись. А иначе все они перегрызутся. Все: и братья, и сестра, и деревня вся…

Глава шестнадцатая

1

Евсея искали три дня.

Первым хватился старика Егорша. На другой день после попойки у Петра Житова он целый день выходил вокруг Пекашина, а под вечер заявился даже в сельсовет: примите меры, человек пропал.

– Убирайся, пьяница! – закричала на него секретарша. – Пьют, жорут без памяти, а потом еще: примите меры…

Через день, однако, Егорша снова пришел в сельсовет, и тогда уж из сельсовета начали обзванивать окрестные деревни: не видно ли, мол, у вас нашего попа? Не потрошит ли где ваших старушонок? (После похмелья Евсей частенько наведывался к своей клиентуре.) Нет, ответили оттуда, не видали вашего попа.

Стали искать в Пекашине. Обошли все задворье – старую конюшню, старую кузницу, места, куда в летнее время частенько наведывался пьяный народишко, заглянули даже в бани – нет старика.

А нашел Евсея Мошкина Михаил Пряслин.

2

Михаил в тот день с утра отправился в навины. Рука пошла на поправку, руке стало лучше – неужели сидеть дома? Неужели немедля не выяснить, в каких он теперь отношениях с косой?

Сена у него поставлено пустяки, до великого поста не хватит, а ведь уже август на исходе. Да и дожди вот-вот зарядят, не бывало еще такого, чтобы летнюю засуху осень не размочила.

Эх и покосил же он всласть! Травешка остарела, вся высохла-перевысохла, как проволока звенит, в другое время еще подумал бы, стоит ли овчинка выделки, а сейчас, после месячного безделья, кажется, кустарник готов был косить.

Сперва он щадил, оберегал больную руку, так и эдак применялся к рукоятке, к держаку (ведь узнает медичка, что опять работал, – заживо съест), а потом про все забыл: и про больную руку, и про отдых, и про еду.

Курил на ходу. Костра не разводил, чайника не грел – бутылку молока стоя выпил. И все равно вдосталь не наработался. Когда солнце село и вокруг стала разливаться вечерняя синь, такая досада взяла, что хоть плачь. И тут он вспомнил, как работали в старину.

Степан Андреянович – он сам слышал от старика, – когда смолоду на Верхней Синельге страдовал, один раз неделю не разжигал огня – жалко было тратить время на приготовление горячей пищи. Сухарем, размоченным в ручье, пробавлялся. Или взять Ефрема из Водян, старика, который в прошлом году помер. Как человек дом свой, бывало, строил? До того за день вымотается, что вечером сил нет на крыльцо подняться. Ползком вползал в избу. И все равно не наробился, все равно, сказывают, каждый раз со слезами на глазах пенял Богу:

"Господи, зачем Ты темень-то эту на земле развел? Пошто людям-то досыта наробиться не дашь?"

Августовская темень застала его посреди дороги. Поповым ручьем пробирался – исхлестало, иссекло кустарником, того и гляди глаза выстегает. А он чуть ли не улюлюкал, не крякал от удовольствия. Хорошо отделали березы да осины запотелое, зажарелое за день лицо, освежили и отшлепали на славу ни в одной парикмахерской так не сумеют. И вообще он первый раз за все время, что был на бюллетене, был по-настоящему счастлив и ни о чем не думал.

Да, и ни о чем не думал.

Это ужас, оказывается, чистое наказанье, когда голова работает, Все видишь, все замечаешь. В совхозе не так, дома не так. Газеты читаешь – опять из себя выходишь.

А вот сейчас – благодать. Пусто и ясно в голове, как в безоблачном небе. Все вымело, все вычистило работой. И даже то, что он косил сегодня на тех запущенных полях в навинах, о которых еще вчера кипел и разорялся, даже об этих полях он ни разу за день не подумал.

Эх, болван, болван! – говорил себе Михаил с издевкой, как бы со стороны. Наишачился, начертоломился досыта – и рад. Немного же, оказывается, тебе надо. Ну да удивляться тут нечему. Всю жизнь от тебя требовали рук. Рук, которые умеют пахать, косить, рубить лес, – так с чего же тебе голова-то в радость будет?

3

Лыско залаял, когда Михаил подходил уже к старой конюшне. Залаял яростно, во весь голос в том самом месте, где когда-то стояла силосная башня, и ему ничего не оставалось как свернуть с дороги, потому что беда с этой силосной башней, а вернее с ямой, которая от нее осталась: постоянно кто-нибудь сваливается – то корова, то теленок, то овца. Лень засыпать, завалить. Бросят наспех какую-нибудь некорыстную дощонку-жердину сверху – и ладно.

И вот так оно и оказалось, как думал Михаил, когда осветился спичкой: опять не была закрыта как следует яма. Со стороны деревни дыра такая, что страшно взглянуть.

Однако сколько он ни чиркал спичек, не мог прощупать глазом черноту ямы до дна – глубокая была, метров на шесть.

– Замолчи! – прикрикнул он на пса.

Тот прыгал и ярился вокруг так, что песок и камни летели вниз. С гулом, с грохотом.

Михаил на ощупь ногой нашарил в темноте бревешко, лежавшее возле ямы, отыскал таким же образом две жердины – надо было хоть маленько прикрыть яму, долго ли до несчастного случая? – и вот только он начал укладывать весь этот хлам, как снизу, из непроглядного чрева, донесся отчетливый человечий стон.

– Кто там? – крикнул Михаил в ужасе. Молчание. А потом, когда он во второй раз спросил, совсем-совсем запросто:

– Я, Миша… Я…

– Ты-ы? Евсей Тихонович? – Михаил сразу узнал старика по голосу. – Да как ты сюда попал?

– Ох, ох, Миша… Господь наказал…

– Водочка наказала, а не Господь. Это ведь ты с пьяных глаз в яму-то залез, да? Ноги-то у тебя хоть целы?

– А не знаю, три дня и три ночи лежу как распятый…

– Подожди немного. Что-нибудь придумаем.

Он сбегал к скотному двору за лестницей и заодно прихватил там, в запарочной, открытой настежь для проветривания, "летучую мышь".

Наконец по лестнице с зажженным фонарем Михаил начал спускаться в яму. Страшная душина и зловоние ударили ему в нос. Он на секунду остановился, заорал:

– Да ты что – навоз решил тут разводить? Почему не кричал, не орал что есть силы?

– А пострадать хотел…

– Пострадать?

– Страданьем, Миша, грехи избывают…

– Да какие же у тебя, к дьяволу, грехи? Всю жизнь по тебе ходили, ноги вытирали, а ты – грехи…

Михаил поборол в себе брезгливость и отвращение, заставил себя спуститься на дно ямы.

– Миша, ты не возись со мной, ладно? Оставь меня тут, в яме… Хочу, как пес шелудивый, издохнуть в нечистотах…

– Замолчи, к дьяволу! Голоса надо было не подавать, раз в этом нужнике решил сдохнуть…

– А не мог, не мог, Миша, совладать с плотью. Плоть голос подала… Не я… Пить, пить мне дай…

– Погоди с питьем-то. Питье-то там, наверху…

У Евсея оказались сломанными обе ноги – криком закричал, когда Михаил попытался посадить его, – и как было одному справиться! Пришлось бежать за помощниками – за Кешей-рулем и Филей-петухом: те жили ближе других.

И вот после долгой возни, после того как сколотили из досок помост да помост этот обвязали веревками, они наконец вытащили старика.

Глава семнадцатая

1

Доктора из района привезли на другой день после обеда.

Он не осматривал больного и минуты – ему достаточно было взглянуть на его ноги, фиолетово-синие, распухшие как колодки.

– В больницу, отец, надо ехать. Срочно.

– Резать будешь?

Доктор посмотрел в глаза старику и сразу понял, что этому человеку врать нельзя.

– Буду.

Евсей на секунду закрыл глаза, затем, собравшись с силами, поискал глазами Егоршу.

– Выйди, Егорий, ненадолго. Оставь нас вдвоем… А когда тот вышел, спросил:

– Сколько мне житья еще дашь?

– А вот починим, подремонтируем – поживешь еще…

– Ну дак я тебе точно скажу: через три дня меня не будет. Сегодня какой день-то? Среда кабыть?

– Среда.

– Вот-вот. Субботу-то я еще проживу, промаюсь, а потом, как суббота истухнет да воскресенье Христово настанет, я и отойду. Взгляну последний раз на солнышко и отойду.

– Отойдешь? Так решил?

– Так. Так господу угодно.

– Ладно, дед. Хватит морочить мне голову. Надо срочно ехать. Каждая минута дорога.

Евсей вдруг расплакался, как малый ребенок:

– Да что я тебе худого-то сделал? Пошто ты послушать-то меня не хочешь? Оставь ты меня во спокое, дай умереть человеком.

– А я на то и на свете живу, чтобы не давать людям умирать.

– А нет, нельзя мешать человеку, ежели он хочет помереть. А я все равно помру. Три дня, три ночи лежал в яме, в скверне, как Лазарь во гноище, зачем? А затем, чтобы очиститься перед смертью, грехи с себя снять… Евсей передохнул немного и сделал заход с другой стороны: – Умный человек, науки учил, а подумал, нет, зачем мне жить-то? Ноги отрежешь – кому я такой надо? Людей-то ты пожалей, коли меня не жалеешь…

Доктор задумчиво в который уже раз оглядел темную срубчатую келейку, посмотрел на красную лампадку, теплящуюся в переднем углу, на черные ящики божественных книг, грудой сложенных на лавке под лампадой.

– Дети у тебя есть, отец?

– Нету. Никого нету. Было два сына, оба воителями преставились.

– На войне погибли?

– На войне.

Доктор опять помолчал, опять поводил вокруг глазами.

– Ладно, отец, – сказал он глухо. – Будь по-твоему: помирай человеком…

2

Приходили люди – свои пекашинские, из окрестных деревень, крестились, бухали на колени, говорили всякие болезные слова – Евсей оставался в забытьи. И Егорша, все эти дни безотлучно находившийся при нем, уже начал было думать, что он так и не услышит больше старика.

Но услышал. Услышал, когда поздно вечером в субботу в избенку влез Михаил.

– Вот и дождался я тебя, Миша, – вдруг заговорил Евсей и, к великому изумлению Егорши, даже открыл глаза. – Все люди бензином да вином пропахли, а от тебя дух травяной, вольный. С поля, видно?

– С поля, – ответил Михаил.

– Трудник ты великий, Миша. Много людям добра сделал… А вот одно нехорошо – от сестры родной отвернулся.

– Ну об этом что сейчас говорить.

– Последние часы у меня, на земле остались – о чем же и говорить? Все хочу, чтобы у людей меньше зла было… Ну да с сестрицей-то вы поладите, у меня тут сумненья нету. С Егором помирись…

– Я? С Егором? – Михаил покачал головой. – Нет, давай что-нибудь полегче проси.

– А легкое-то человек и сам осилит. В трудном помогать надо. Помирись, помирись, Миша. Утешь старика напоследок…

Михаил долго молчал. Потом посмотрел, посмотрел на Евсея – тот из последних сил глядел на него – и протянул руку Егорше.

У Егорши слезы вскипели на глазах. Он жадно, обеими руками схватил такую знакомую, такую увесистую руку, но ответного пожатия не почувствовал. И он понял, что примирение не состоялось.

3

Евсей умер как сказал: в воскресенье на рассвете.

Только солнышка в тот час не было. Пушечные грозовые раскаты грома сотрясали небо и землю, а потом хлынул яростный долгожданный ливень. И набожные старушонки увидели в этом особый знак:

– Вот как, вот как наш заступник! Господу Богу престал – первым делом не о себе, об нас, грешных, забота: не томи, Господи, людей, даждь им влаги и дождя животворныя…

Часть третья

Глава первая

1

Родьке Лукашину три раза давали отсрочку от армии. И все из-за матери, из-за ее здоровья. В последние семь лет Анфиса Петровна редкую зиму не лежала в районной больнице.

В этом году здоровья у Анфисы Петровны не прибавилось, но Родька просто взбесился – весь август один разговор: отпусти да отпусти в солдаты. Надо же ему когда-то белый свет повидать!

И вот Анфиса Петровна поупиралась-поупиралась да в конце концов и махнула рукой: ладно, не буду твою жизнь заедать. Как-нибудь два года промучаюсь.

Родька – огонь парень! – за один день ухлопотал все дела в военкомате и вечером того же дня, дурачась, уже рапортовал матери:

– Разрешите доложить, товарищ командующий. Рядовой подводного флота Родион Лукашин прибыл в ваше распоряжение в ожидании отправки по месту службы… – И вслед за тем, не дав матери опомниться, выпалил: – Так что собирай стол на тридцать первое августа сего года.

– На тридцать первое? – удивилась Анфиса Петровна.

– А чего?

– Да когда у нас в армию-то провожают? В сентябре-октябре, кажись?

– Ну, мам, я думал, ты у меня подогадливей. Верка Пряслина, к примеру, должна быть за столом или нет?

Так вот оно что! – догадалась наконец Анфиса Петровна. Веру Пряслину задумал посадить за стол своей девушкой – такой нынче порядок, непременно чтобы девушка провожала парня в солдаты, а Вере к первому сентября надо в школу в район, вот он и порет горячку.

– А отец-то как? – подумала вслух Анфиса Петровна. – Согласится?

– Дядя Миша? – ухмыльнулся Родька. – Уговорим!

– Всех ты уговорил… Вера-то, не забывай, ученица.

– Ну даешь, Анфиса Петровна! Верка – ученица… Да в проклятые царские времена такие ученицы уже со своей лялькой на руках ходили.

– Ну не знаю, не знаю, – вздохнула Анфиса Петровна. – У тебя все не как у людей. Тридцать первого стол… Да ты подумал, нет, сколько до тридцать первого-то осталось? Три дня. Кто это тебе за три дня стол сделает?

– Сделаешь, сделаешь, маман! – подмигнул Родька. – Ты все сделаешь. В войну самого Гитлера на лопатки положила – разве мы забыли про эту страницу в твоей героической автобиографии?

– Ладно, ладно, – замахала руками Анфиса Петровна, – не подлизывайся. Знаем мы эти

разговоры.

Но тут Родька шаловливо, как девку, сгреб ее в охапку, смачно поцеловал в губы, и что она могла поделать с собой? Растаяла. Об одном только не позабыла напомнить сыну:

– С Пряслиными разбирайся сам. На меня тут не надейся.

– Ты это насчет того, чтобы мама Лиза тормоза дала?

– А уж тормоза не тормоза, а подумать надо. Лиза матерь тебе вторая, не позвать – срам, а позвать – что опять с Михаилом делать? Разве сядет он нынче за один стол с родной сестрой?

Родька снисходительно сверху вниз посмотрел на мать и улыбнулся:

– Не беспокойся, маман. Этот вопрос у нас уже подработан. Мама Лиза не придет.

– Как не придет? Откуда ты знаешь?

– Знаю, раз говорю. В общем, так: беседа на эту тему проведена. Есть еще к суду вопросы?

Анфиса Петровна подняла глаза к передней стене, посмотрела на увеличенную карточку Родькиного отца:

– Ну, Иван Дмитриевич, а ты что скажешь? Будем провожать сына в солдаты?

С пятьдесят пятого года, с той самой поры, как пришло извещение о гибели мужа, она во всех важных случаях советовалась с ним. И обязательно вслух, обязательно при сыне: чтобы не забывал, помнил отца.

2

Михаил выбрался из дому уже после полудня. Не мог раньше. В молодые годы с утра ни разу не бражничал– так неужели сейчас, на пятом десятке, ломать себя? Делов, что ли, в жизни не стало?

А другая причина, почему он со всеми не в ногу, – женушка. Заладила: не пойду, и баста – бульдозером не своротить. "Да ты подумала, нет, какая это обида Анфисе Петровне будет?" – "А мне не обида – дочерь родную во грязи валять?" – "Дочерь во грязи? Веру?" – "Проснулся! Родька кой год по бабам ходит, баско это – ученица с таким кобелем рядом?" Михаил тут только руками развел: подумаешь, преступление– человек смолоду молод! И вот стружка полетела уже с него: "А-а, дак ты защищать, защищать! Ну ясно, кобелина кобелине глаз не вырвет!" Никак не может забыть Варвару.

В общем, испортила праздник: Михаил тучей выкатился из заулка.

Но какая же благодать на улице!

Еще недавно задыхались от жары, от пыли, еще недавно все на свете кляли, когда надо было шастать деревней, – в пепел размолот песок! А сейчас идешь – вроде бы и не та дорога. Ни пылинки, ни порошинки. Хорошо поработали недавние ливни. Хорошо промыли землю и небо. И зелень, молодая зелень брызнула на лужайках. Как, скажи, лето заново началось в Пекашине.

А может, еще и гриб какой на бору будет? – подумал Михаил и услышал песню: у Лукашиных

пели.

Родька выбежал встречать его на улицу. Грудь белой рубахи расшита серебром, рукава с кружевами, как у девки, пояс металлический, с золотым отливом… Разодет-разукрашен по самой последней моде.

– Ну, брат, я таких и в Москве не видал.

– Стараемся, дядя Миша! – весело тряхнул волосатой головой Родька и закричал: – Музыка!

В распахнутом настежь коридоре разом грохнули два аккордеона, и Михаил так на волнах музыки и въехал в дом.

А дальше все было как по писаному. Было громогласное «ура» в честь опоздавшего, был штрафной стакан – прямо у порога, были расспросы – почему один, где супружница…

Вера не стала дожидаться, когда отца затюкают. Тряхнула косами, вскочила на ноги:

– Песню, песню давайте!

И кто устоит перед ее напором, кого не подымет волна веселья и задора, которая хлынула от нее! Запели все – и молодняк и пожилые, благо всем известна была песня про солдата:

Не плачь, девчонка,
Пройдут дожди,
Солдат вернется,
Ты только жди.
Пускай далеко твой верный друг,
Любовь на свете сильней разлук.

Михаил глаз не мог отвести от дочери.

Не в мать, не в мать, думал. Да и не в меня, конечно. Не умели мы так радоваться. И вдруг, любуясь черными разудалыми глазами Веры, вспомнил Варвару. Неужели, неужели все радости, все муки тех далеких-далеких лет вдруг ожили, проросли в родной дочери?

Михаил перевел взгляд на другой конец стол а, туда, где сидела Лариса со своими подружками. Визг, смех – из-за чего?

Таборский! Когда успел забраться в этот недозрелый малинник? Вроде бы, когда он, Михаил, заходил в избу, его там не было. Но разве в этом дело? Разве не все равно, когда втесался?

В диво другое – соплюхи от него без ума. Лапает, щупает принародно – и хоть бы одна по рукам дала: опомнись, ты ведь в отцы нам годишься!

Не дождешься от нынешней молодежи. Вот уж правду каждый день бренчат: поколения у нас в ладу друг с другом.

Ну а Таборский еще, помимо всего прочего, запал молодежи умеет дать. Как Подрезов, бывало. Правда, у Подрезова все от души, от сердца. У того слово – дело. А этот артист. Говорун. И поди разберись, где игра, где дело.

А Петр так и не пришел, сказал себе Михаил, водя глазами по пестрому буйному застолью, и ему вдруг стало не по себе.

Он новым стаканом вина залил тоску.

– Родька, а где у тебя матерь? Не вижу.

Родька, как тетерев на току, заслышав какой-то непонятный звук поблизости, на секунду поднял рывком голову и снова запел.

3

…Пили за новобранца, за будущего солдата, за то, чтобы он верой и правдой служил родине, пили за нее, Анфису Петровну, пили за Таборского, пили за Шумилова, председателя сельсовета, за друзей-товарищей – за всех пили, никого не обошли.

А когда же, когда же отца-то вспомнят? – изнывала от ожидания Анфиса Петровна.

Она глаз не сводила с сына, умоляла, заклинала его: скажи! Но разве до отца было Родьке, когда рядом Вера, друзья-товарищи?

И вот кто же догадался сказать про родителя? Александра Баева, старушонка, которая помогала ей угощать гостей.

– Ну тепереча, думаю, не грешно и Ивана Дмитриевича добрым словом помянуть.

И тут Анфисе Петровне вдруг стало так горько, такое удушье подступило к горлу, что она едва добралась и до повети…

Прибегал Родька ("Мам, мам, что с тобой?"), прибегала фельдшерица тоже была на проводах, – Таборский, Шумилов заходили.

– Ничего, ничего, отлежусь. Гуляйте на здоровье, веселитесь, – говорила она всем.

И так же она ответила и Михаилу, когда тот ввалился на поветь.

Но Михаила не проведешь.

– Эх и дура же ты, Анфиса, дура! Кажинный день провожаешь сына в армию? Да ведь потом волосы будешь на себе рвать: ах, недоглядела, ах, недосмотрела свое сокровище…

Анфиса Петровна встала. Верно, верно сказал Михаил: настанут такие дни, и скоро настанут, когда она за один погляд на сына согласна будет все отдать, что у нее есть.

Опираясь на Михаила, она вышла с повети в сени и тут увидела Нюрку Яковлеву, пьянющую, чуть не на карачках пробирающуюся вдоль стены к раскрытым дверям избы. Раздумий не было. Вмиг загородила дорогу:

– Тебе, Анна, нету хода в мой дом.

– В твой дом нету хода? Мне? Это за что же такая немилость?

– А за то, что в чужой дом нахрапом залезла.

– Я залезла?

Анфиса Петровна не стала больше разговаривать – выставила непрошеную гостью на крыльцо,

захлопнула за собой двери, да еще и рукой на дорогу указала:

– Уходи, уходи, Анна! Видеть тебя не могу после того, что ты сделала с Лизаветой, а не то что принимать в своем доме.

Нюрка откинула назад голову, захохотала:

– А родню в этом доме принимают? К примеру, когда родной сынок напакостил… Непонятно выражаюсь? Пойди посмотри… Вещественные доказательства налицо…

– Чего мелешь? Какие доказательства?

– А-а, какие… Какие бывают, когда парень брюхо натолкает?..

Она не охнула, не пошатнулась от этих слов – ни минуты, ни секунды не поверила, но и отмахнуться не могла: сплетни, как огонь, в зародыше гасить надо.

– Веди к Зойке! – приказала.

Зойка жила отдельно от матери, в старом колхозном курятнике на задворках у медпункта. При виде нежеланных гостей, переваливших за порог ее маленькой неказистой избенки, удивленно выгнула тонкие подрисованные брови она лежала на кровати, но не встала.

– Проходи, проходи, мамочка званая! – с издевкой сказала Нюрка. – Ну мамочкой не хочешь, а бабкой-то хошь не хошь станешь. Верно говорю, Зойка?

– Загинь, к дьяволу! Налилась опять, нажоралась. Кто тебя звал?

– Да как! Она не верит.

– Чего не верит?

– Не верит, что ейный сынок тебе прививку сделал.

Зойка зло улыбнулась своими тонкими сухими губами, хотела что-то сказать, но передумала и только вяло махнула рукой.

Свет потух в глазах у Анфисы Петровны: на Зойкиной руке она увидела золотое кольцо, и ей сразу стало все ясно.

Господи, Господи! Она целое утро сегодня искала это кольцо, все перерыла, перевернула кверху дном, думала, потеряла, а оно вот где, оказывается, – у Зойки на руке…

Зойка что-то кричала матери, матерь кричала Зойке, а что? Ничего не слышала, не понимала – чудом выбралась на улицу.

Нет, знал, знал сынок дорогой, что такое это кольцо, какая святыня в ихнем доме. Сто раз рассказывала, как отец подарил его. Родила сына, надо идти записывать в сельсовет, а сыну и фамилии отцовской нельзя дать, потому что матерь не в разводе. Ну как тут с ума не сойти! И вот Иван, чтобы хоть как-то успокоить, утешить ее, надел ей на руку это кольцо, нарочно заказывал в городе.

Пятнадцать лет она не снимала кольцо с руки и, конечно, в гроб легла бы с ним, да четыре года назад начали пухнуть пальцы в суставах, и ей волей-неволей с великими муками пришлось его

снять…

4

Танцевали, садились за стол, снова танцевали – под радиолу, под аккордеон, на улице, в доме, на крыльце… И так до темени, до тех пор, пока не зажгли свет и не вспомнили про клуб.

И все это время Анфиса Петровна была на ногах, ни на минуту не присела и не прилегла. Нашла в себе силы. Выстояла. Не испортила праздника, не уронила фамилии Лукашиных. И только когда опустел дом, тяжело рухнула на стул к столу.

– Останься, – сказала сыну.

– Ну мам…

– Останься, говорю! И ты, Михаил, останься.

Под окнами заревели, зарычали мотоциклы, крик, смех, визг, затем весь этот шум-гам выкатился из заулка на дорогу и побежал в сторону клуба.

– Ну, сын, доволен проводами? Хороший стол справила мать?

– Спрашиваешь!

– А теперь другой стол будем справлять, – сказала Анфиса Петровна.

– Это в честь чего же? – спросил Михаил с усмешкой.

– А в честь того, что сына буду женить.

Михаил, зевая, устало махнул рукой: давай, мол, в другой раз пошутим. Сегодня и без того веселья было предостаточно.

– А я не шучу, – сказала Анфиса Петровна. – Какие тут шутки, когда криком кричать надо! – И тут она и в самом деле разрыдалась. Прорвало плотину, которую с таким трудом воздвигала. – Он ведь с кем, с кем спутался? С Зойкой-золотушкой. У той брюхо от него…

Михаил круто обернулся к Родьке:

– Это правда?

– Чего – правда? Разведут всякую муть – слушайте.

– А кольцо, кольцо отцовское? Самая дорогая память об отце, а ты… а ты что сделал?

– Да чего я сделал? – вдруг зло засверкал черными глазами Родька, сам переходя в наступление.

Подумаешь, дал поносить… Убудет его? Ну возьму обратно… Сейчас взять? Завтра?

– Гад… Сволочь! – выдохнул Михаил.

– Но, но, потише, потише, дядя Миша! Чья бы мычала, а твоя-то бы молчала. Я еще не дошел до того, чтобы и тетке и племяннице фигли-мигли делать…

– Родька… Родька, что говоришь? – умоляющим голосом простонала Анфиса Петровна.

Ничто не остановило Родьку. Пиджак с вешалки сдернул, дверью бабахнул так, что стаканы забренчали на столе, а на мать даже и не взглянул. И тут Анфиса Петровна опять расплакалась:

– Все, все вложила в него… Ничего не пожалела… Думаю, мы с отцом жизни не видели, пущай хоть он за нас поживет…

– Вот и зря! Этой-то жалостью и испортила парня! – рубанул сплеча Михаил.

– Дак что же по-твоему, хороший человек только в беде родится? Хорошая жизнь человека портит?

– А черт их знает, что их портит!

Михаил забегал по избе. И вообще, у него у самого кругом шла голова: где теперь Вера? что причитает Раиса? Ведь наверняка все Пекашино теперь только и делает, что треплет имя его дочери.

Глава вторая

1

Сережа Постников, сын Фили-петуха, нынешней весной вернувшийся из армии, ровно в полшестого, из минуты в минуту, как договорились, дал гудок.

Михаил, конечно, был уже начеку. Он выбежал из дома, кинулся в мастерскую будить дочь.

– Вставай, вставай, невеста! – с шуткой начал теребить ее. – Женихи приехали!

Вера поднялась, не проронив ни слова. Лицо у нее было бледное, осунувшееся, хмурое, – и он понял: не спала. А ведь вечор, когда он, прибежав от Анфисы Петровны, заговорил с ней о Родьке, виду не подала, что переживает. Даже оборвала его, когда он стал слегка выгораживать парня дескать, бывает это в молодости, заносит по глупости. "Давай, папа, договоримся раз и навсегда: подлецов не защищать. Хорошо?" – «Хорошо», сказал Михаил и был очень доволен, что все так легко обошлось.

Не обошлось.

Однако утешать и вразумлять дочь было некогда – с улицы один за другим долетали гудки, да и что сказать? Где найти нужные слова?

Кое-чего перехватили, попили чаю.

– Ну, прощайся иди с матерью, – сказал Михаил, но тут Раиса, тягуче зевая, выкатила на кухню сама.

– Говорила я: поезжай, девка, заране, дак нет, на проводы надо…

– Ну ладно, ладно, – замахал жене Михаил. – Опять ты за свое?

– Да как! Уехала бы вчера-то, знаешь, как хорошо! В школу бы пришла вовремя, свеженькая, чистенькая, а то ведь ты носом клевать на уроке-то будешь, а не учиться. Да и опоздаешь еще.

– С чего она опоздает-то? Два часа до района ехать, а сейчас только шесть.

– А дорога-то? Забыл, какая у нас шасе? Да еще машина сломается.

Михаил схватил чемодан и сумку, пошел на выход, потому что все равно жену не переговоришь. Выспалась, подкрепила за ночь силы – кого хошь теперь на лопатки положит.

Из будки весь в сене, сладко потягиваясь, вылез Лыско. Но вдруг увидел свою любимицу, собравшуюся в дорогу, и завыл.

Вера расплакалась, обеими руками обняла пса, бросившегося ей на грудь. Не вчерашняя ли боль и обида выплескивались в этих слезах?

– Давай-давай! Не навек уезжаешь! Вера оттолкнула Лыска, затем бегло, торопливо обняла мать; Раиса обиделась:

– Вот как у нас! Собаку готова съисть, час целый жала, а до матери едва дотронулась.

Сережа сам залез в кузов, чтобы увязать Верины вещи, затем с игривым полупоклоном раскрыл дверцу кабины:

– Прошу пассажиров!

– Нет, я в кузове, – сказала Вера.

– Да почему в кузове-то? – удивился Михаил. – В кабине-то мягче, меньше трясти будет.

Но Вера уже поставила длинную ногу на колесо, потом подтянулась на руках и легко перекинула тело за борт. Сережа обиженно закусил губу, совсем как отец, и Михаил сказал себе: понятно, понятно, и тебе моя девка задурила голову. То-то вчера сам стал навязываться – не надо ли утром отвезти Веру в район?

Грузовик тронулся. Вера встала в кузове во весь рост – второе солнышко засияло над землей, свое, доморощенное, только что омытое слезами. И Михаил смотрел, смотрел на это солнышко да и не выдержал – со всех ног бросился догонять машину. Решил хоть немного проводить дочь. Есть время! До развода еще целых два часа, да если и опоздает на развод, не беда: работа известна ремонт старого коровника. На худой конец, отстукает лишний час после работы.

2

– Ну как, как, доча? Хорошо?

Машину качало и бросало как пьяную: распсиховавшийся Сережа гнал не разбирая дороги. А Михаил все кричал и кричал Вере, обхватив ее правой рукой, а левой держась за кабину:

– Да улыбнись же, улыбнись! Смотри, какое сегодня утро!

И вот наконец добился своего – когда выехали на Нижнюю Синельгу да впереди увидели Марьюшу, всю раскрашенную осенним пестрым кустарником, робкая улыбка осветила Верино лицо.

Тут бы ему и проститься с дочерью, тут бы ему и повернуть на сто восемьдесят градусов, тем более что как раз возле нового моста за Синельгу повстречали знакомую попутку из Заозерья. Так нет, давай дальше! Давай с ветерком по Марьюше! А насчет машины чего переживать?

Встретили одну, встретим и другую.

Не встретили. Пехом пришлось отмахать семь верст.

Но зря, зря он вгонял себя в пот. Зря разорялся из-за того, что на работу опаздывает. Его напарнички тоже не очень изнуряли себя на трудовом фронте. Сидели под навесом, папироска в зубах и ха-хо-хо да хо-хо-ха!

– Михаил, слыхал, у нас два писателя завелось? Он подозрительно стрельнул прищуренным глазом в сторону Фили-петуха, обежал взглядом остальных: с какой стороны подвох? что за загадку ему загадывают?

– Да ты что – ничего не знаешь? – с запалом вскинул лысеющую голову Филя. – Начальство из области приехало. Нашего управляющего чесать.

– Его начешешь! – усмехнулся Михаил.

– Вот Фома неверный! Мужики, вру я?

– Правда, правда, Михаил. Виктор Нетесов да Соня-агрономша заявление накатали в область. До ручки, мол, дожили. Принимайте срочные меры.

Михаил опять усмехнулся:

– Хорошо бы! Только Виктор-то Нетесов с каких пор стал на амбразуру кидаться?

– С каких… Разве не слыхал, как они сено принимать на Пашу ездили? Таборский: пиши тридцать тонн для ровного счета, а Виктор: нет, тут, на Паше, и в травные-то годы двадцати тонн не было. Вот у них расстыковка и вышла.

– Ясно, – сказал Михаил и полез на коровник: не кричать же во все горло от радости.

Но за работой его снова стали одолевать сомнения, и он едва дождался обеда.

– Ребята, за папиросами хочу сперва забежать! – махнул рукой в сторону сельпо, чтобы объяснить напарникам свой необычный маршрут.

А на самом-то деле порысил к Виктору Нетесову, чтобы от него, из первых рук, узнать все как было.

3

Виктора Нетесова не зря прозвали немцем. Машина-человек. На работу ни на минуту не опоздает, но и на работе лишней минуты не задержится. Было четверть второго, когда Михаил перешагнул за порог нетесовского дома, а он уж за столом сидел. На гостя посмотрел хмуро, с нескрываемой досадой: дескать, что за пожар – пообедать спокойно не дадут? И Михаил даже растерялся от такого приема.

– Заправляйся, заправляйся, а я покурю тем временем.

На улице с любопытством огляделся: а ну-ко, немец, нрав-то ты свой показывать научился, а чему меня твоя усадьба научит?

Научила.

Перво-наперво деревянные мостки. Невелик труд – от крыльца к хлеву, к сараю, к бане доски перекинуть, а ведь толково. Всегда, в любую погоду, под ногой сухо, и грязи не натащишь в дом. А второе, что он тоже сразу принял на вооружение, – ягодники. В Пекашине не принято на усадьбе разводить малину да смородину – дескать, в лесу этого добра хватает. И зря. Не каждое лето в лесу родится ягода, нынче, к примеру, из-за засухи что найдешь на нашем бору, а у Виктора Нетесова до сих пор еще малина краснеет в огороде, а черной смородины столько навалило, что кусты ломятся.

В сарае тихонько позвякивало железо – молотком били, – и Михаил пошел туда.

Старик – Илья Нетесов – трудился. А над чем – не надо спрашивать. Железную ограду собирал, чтобы заново, в который уже раз обнести могилы дочери и жены.

Да, так вот. Люди хлопочут о живых – о себе, о детях, о внуках, – а у Ильи Максимовича одна забота: как бы получше устроить могилы дочери и жены. И устраивает. Каждое лето что-нибудь меняет – то столбики, то оградку, то надгробия, нынче специально в город ездил по половодью, гранитные привез.

– Где оградку-то делали? (Старик расширял на наковальне железное кольцо.) Не в леспромхозе? – закричал Михаил.

Илья повернул к нему худое бородатое лицо, заморгал по-детски голубыми глазами.

– Где, говорю, такую шикарную ограду раздобыл? – крикнул он еще громче.

Но в ответ старик только улыбнулся беззубым ртом. Артиллерист, всю войну из пушек палил – ничего ушам не делалось, а умерла дочка, умерла жена – и за один год оглох. Начисто.

Да, вот как бежит время, подумал Михаил. Давно ли еще вся деревня бегала к Нетесовым, чтобы посмотреть на живого победителя, а сегодня этого победителя самого подпорками подпирать надо.

– Пряслин! – подал голос с крыльца Виктор.

– Иду! – живо откликнулся Михаил и, как мальчишка, кинулся к нему. Потом вспомнил, что тот на добрых пятнадцать лет моложе его, и притормозил.

Сели на скамейку под дощатый раскрашенный грибок неподалеку от крыльца, и Виктор первым делом взглянул на свои часы.

– Без двадцати два, – объявил деловито. То есть учти: разговаривать с тобой могу не больше десяти минут.

– Ясненько, – без всякой обиды сказал Михаил.

А чего обижаться? Да надо Бога молить, что такой человек в Пекашине завелся. Ведь нынешние работяги что за народ? Утром иной раз на разводе заведутся, начнут анекдоты травить – про всякую работу забыли. А Виктор Нетесов без десяти девять, хоть земля под ним провались, заведет свой трактор. А раз один завел, что же остается делать другим?

В общем, Михаил хорошо был знаком с причудами Виктора Нетесова, а потому начал без всякой прокладки:

– Это верно, что вы с Соней-агрономшей письмо накатали?

– Верно, – кивнул Виктор.

– Думаю, не о том, что хорошо живем по сравнению с довоенным? – Михаил слегка подмигнул.

– Не о том. Мы проанализировали наиболее важные показатели пекашинской экономики за последние годы и пришли к выводу, что тут у нас явное неблагополучие…

– Неблагополучие?! – с жаром воскликнул Михаил. – Скажи лучше: бардак!

Виктор выждал, пока Михаил немного успокоился, и все тем же ученым языком (не иначе как наизусть свое письмо шпарит) продолжал:

– В частности, мы подробно остановились на вопросе о кормовой базе как ключевом вопросе всей нашей экономики…

– Ерунда все эти ключевые вопросы! – опять не выдержал Михаил. Ключевой-то вопрос знаешь какой у нас? Таборский! Покамест Таборский да его шайка будут заправлять Пекашином, считай, все ключевые вопросы – одна трепотня…

И вот в это самое время, когда они только-только* разговорились, Виктор поднялся: вышло время.

Михаил на чем свет стоит клял про себя эту двуногую машину, но что делать? – скорее солнце повернет с запада на восток, чем Виктор изменит себе.

Уже дорогой, заглядывая Виктору в лицо сбоку, Михаил спросил:

– А чего же мне-то не дали подмахнуть свою бумагу? Думаю, лишняя подпись не помешала бы. Мы, бывало, с твоим отцом когда-то одной стеной шли. Дан времена-то тогда какие были!

– У вас с Таборским больно нежные отношения. – Тут Виктор вроде как улыбнулся. – А это, знаешь, всегда лазейка – личные счеты сводит…

– Понятно, понятно, Витя! Ну и жук же ты колорадский! Все продумал, все учел, голыми руками тебя не возьмешь.

С похвалой, от всего сердца сказал Михаил, но у Виктора к этому времени кончились последние минуты обеденного перерыва, и он свернул к механическим мастерским, на свой объект, как он любил выражаться.

Михаил на мгновение задумался: а ему что делать? Бежать домой да хоть что-нибудь бросить на зубы?

Пошел на коровник. Можно до вечера потерпеть, можно. Зато когда драка в Пекашине пойдет, а он теперь верил в это, ему не заткнешь с ходу глотку. Не скажешь: "Ты-то чего надрываешься, когда у тебя у самого с производственной дисциплиной минус?"

И тут Михаил еще раз посмотрел на Виктора Нетесова, подходившего в эту минуту к окованным дверям мастерской. Посмотрел нежно, с любовью. А как же иначе? Ведь этот самый Виктор Нетесов, можно сказать, веру в человека у него воскресил.

Да, думал, в Пекашине все исподличались, всех подмял под себя Таборский, а тут на-ко: дай

ответ по самой главной сути!

Глава третья

1

Жизнь Пекашина вот уже сколько лет катилась по хорошо накатанной колее. Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками-стервантами, обзавестись железным коником, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку… А что еще работяге надо?

Теперь вдруг все это отошло, отодвинулось в сторону, вспомнили, что помимо рубля и своего дома есть еще Пекашино, земля, покосы, совхоз.

Разговоры вскипали на работе, за столом, в магазине – везде ООН.

У Пряслиных прения открыла Раиса. Утром, когда пили чай, как указание дала мужу.

– Язык-то там не больно распускай. У Таборского оборона от Пекашина до Москвы.

– Ну уж и до Москвы! – хмыкнул Михаил.

– А как? Сколько раз ты на него наскакивал, а чем кончалось?

– Значит, худо наскакивал. Раиса по-бабьи всплеснула руками:

– Ну-ну, давай! Лезь на рожон. Умные люди будут в сторонке стоять, а ты опять горло драть изо всех сил.

– Да плевать я хотел на твоих умных людей! – Михаил тоже начал выходить из себя. – Умные люди, умные люди! Больно много этих умных людей развелось вот что я скажу. Кабы этих умных людей поменьше было, небось не рос бы лес на полях.

– А раньше не рос, да что с этих полей получали? – без всякой заминки отрезала Раиса.

– Это другой вопрос, – буркнул Михаил.

– Какой другой-то?

– А такой! Ты с четырнадцати лет землю не пахала, не сеяла, дак тебе все равно. Пущай лесом зарастает. А у меня эти поля – вся жизнь. Понимаешь ты это, нет?

– Что ведь, тако время. В других деревнях не лучше.

– В других деревнях другие люди есть. Иван Дмитриевич Лукашин как, бывало, говорил? Во всей стране навести порядок – это нам, говорит, из Пекашина не под силу, кишка тонка, а сделать так, чтобы в Пекашине бардака не было, – это наш долг.

– Ну наводи, наводи порядок, – вздохнула Раиса. – На войне вырос, месяца без войны прожить не можешь…

– Да чего ты хочешь? – закричал Михаил, уже окончательно выходя из себя. – Чтобы я ни гугу? Чтобы Таборский со своей шайкой еще пятнадцать лет в Пекашине заправлял? Да меня дети мои презирать будут, верно, Лариса?

Лариса – она как раз в эту минуту вошла в кухню – поставила ведро с водой у печи, но ничего не сказала. Это не Вера. Этой отцовские дела неинтересны.

2

В это утро на разводе только и разговоров было что о начальстве, которое понаехало в Пекашино. Небывало, неслыханно! Пять головок сразу, да каких! Второй секретарь райкома (первый был в отпуске), начальник районного управления сельского хозяйства, директор совхоза – этих-то, положим, видали, может, только не в таком скопе. А завотделом обкома да главный зоотехник области! Ну-ка, когда, в какую деревню заплывали такие киты?

– Н-да, крепко, видно, клюнул Виктор Нетесов.

– Вот тебе и немец!

– Этот немец научит жить, ха-ха!

– А что, у нас отец, бывало, с войны пришел, об етой Германии много рассказывал.

– Где Виктор-то – не видно сегодня.

– Хо, где Виктор… Виктор теперь на самом юру. С директором совхоза да с начальством из области на Сотюгу поехал.

– Насчет сена?

– А насчет чего же? Коров-то тема тоннами, которые у Таборского на бумаге, кормить не будешь.

– Ну на этот раз за Таборского взялись.

– Вывернется! Не впервой.

– Не знаю, не знаю. Шуруют по всем линиям. На скотных дворах были, на телятнике были. А сегодня с Соней-агрономшей в навины собираются.

– Да ну?!

– Да ты понимаешь, нет – из самой области приехали! Когда это было?

Филя-петух, когда плотники, работавшие на ремонте коровника, после развода потащились к болоту, дорогой попризадержал Михаила, оглянулся на всякий случай по сторонам и под большим секретом (у Фили всегда секреты) сообщил:

– Вчерась, говорят, уж кое-кого вызывали.

– Куда вызывали?

– В совхозную контору. К начальству приезжему.

– Ну и что?

– Да ничего. Я думаю, раз в разрезе всей жизни пашут, дак тебя перво-наперво спросить должны.

– Спросят, когда дойдет очередь, – отмахнулся Михаил, хотя сам-то в душе был того же мнения. С сорок второго года в сельском хозяйстве вкалывает – кого и спрашивать как не его!

Однако не спрашивали.

В томлении, в постоянных поглядах на деревню (вот-вот запылит оттуда уборщица) прошел один день, прошел другой. Забыли про него? Таборский, его дружки постарались?

Михаил пошел в контору сам. Прямо с работы, когда кончился рабочий день.

3

Поговорили…

Три часа без мала молотили. Всю пекашинскую жизнь перебрали, всем главным отраслям пекашинской экономики обзор дали: животноводству, полеводству, механизации. А к чему пришли? Кто виноват в том, что в Пекашине все идет через пень-колоду? А Михаил Пряслин. Потому что с сорок второго года как сукин сын вкалывает. Бессменно.

Конечно, никаких "сукиных сынов" не было, это он уж сам сейчас, выйдя из конторы, на ходу краски навел. Вежливенько встретили: заходи, заходи, товарищ Пряслин! Тебя-то нам и надо. И вежливенько разговаривали. Без крика, без стука кулаком по столу, это вам не подрезовские времена.

А по существу? А по существу оглоблей по башке.

– Как же вы допустили, товарищ Пряслин, до такого развала ваше хозяйство?

Да, так вот поставил перед ним вопрос Копысов, завотделом обкома, и поначалу у него голова пошла кругом, язык заклинило. А потом вдруг такая ярость "вкатила, пошел крушить направо и налево:

– Дак вы что же – Таборского выгораживать? Его шайку? За этим сюда приехали?

– Спокойно, спокойно, товарищ Пряслин. С Таборского мы спросим, не беспокойтесь. Ну а вы, вы лично несете ответственность за положение дел в Пекашине? Вы использовали свои права хозяина?

– Какие, какие права? Хозяина?

– А вы не знали, что рабочий человек у нас хозяин?

И вот пошли и пошли свою ученость показывать. Ты ему из жизни, из практики – дескать, когда колхоз был, хоть на общем собрании можно было отвести душу, а сейчас что?

– А сейчас что, советская власть у вас отменена?

И так, о чем бы ни зашла речь. В общем, нечего, дорогие товарищи пекашинцы, все валить на дядю, когда сами во всем виноваты.

А может, и виноваты? – вдруг пришло Михаилу в голову. Может, потому все и идет у них через пень-колоду, что они сами колоды лежачие?..

На деревне уже зажгли огни. И у Калины Ивановича тоже огонь был в окошке. Надо бы зайти

проведать старика, подумал Михаил, но зайти нетрудно, да как выйти. Начнется разговор, начнется кипенье, а старик и так на ладан дышит. В восемьдесят с лишним лет плохо рысачить.

К Петру сходить? С ним потолковать, отвести душу? И вообще, сколько еще обходить друг друга? Братья они или нет?

Но внезапно вспыхнувший порыв как-то сам собой погас, и Михаил пошел домой.

Глава четвертая

1

Целую неделю ждали, гадали: что будет? Чем закончится нынешний наезд начальства?

Таборский не кочка на ровном месте, с ходу не сковырнешь. Крепкая у него корневая система. До района разрослась. Да и не только до района. Племянник в области какой КП занимает – неужели будет смотреть, как дядю бьют?

А кроме того, Таборский и сам не сидел сложа руки. Против него бумажной войной пошли, а разве сам он не умеет играть в эту игру? Полетело письмо в район и область. От имени народа. Тридцать семь подписей. Тридцать семь человек взывают к районным и областным властям: оставьте нам Антона Табор-ского! Пропадем без него, жизни не будет в Пека-шине…

В общем, было из-за чего покипеть, поволноваться в эту неделю.

И вот наконец узнали: Таборского сняли.

– Да ну?! – Михаил (он пил чай после бани) просто подскочил на стуле, когда Филя-петух влетел к нему с этой новостью.

– А новым-то управляющим знаешь кого назначили? Виктора Нетесова.

– Мати! – завопил Михаил. – Давай пятак на бутылку!

Раиса со вздохом покачала головой:

– Господи, и когда только ты поумнеешь! Как малый ребенок. Сколько на твоем веку этих председателей сымали – не пересчитать, а ему все заново, все как праздник. Целую неделю теперь будет приглядываться да принюхиваться.

– Давай-давай! Потом доклады.

Михаил не стал допивать стакан. Торопливо вытер полотенцем мокрое, зажаревшее лицо (после бани он всегда пьет чай с полотенцем на шее), надел праздничную рубаху, а затем надел и новый костюм, который подарила Татьяна: да, праздник у него сегодня, и он не скрывает этого!

Ха-ха-ха! Когда поумнеешь, когда перестанешь разоряться из-за того, дурака але человека в управляющие назначили?..

А никогда! Всю жизнь!

За сорок четыре года он усек твердо: каков поп, таков и приход.

В самые худородные, в самые тугие времена Лука-шин поворот колхозу дал. А почему? А потому что твердо на ногах стоял, потому что не гнулся, как лоза, при всяком ветришке сверху, не был кнопкой, которую надавили – и запела. И он, Михаил, не раз удивлялся, никак в толк взять и сейчас не может, почему этого, часто не понимают те, кому положено понимать, кто за это деньги получает.

Правда, насчет Виктора он сам промашку дал. Не разглядел. Давно бы надо шумнуть, давно бы надо во все колокола бить: Нетесова на отделение! А он не то чтобы недооценивал его, а все как-то с усмешечкой поглядывал. Потому что больно уж все заковыристо у него, все из стада вон. То пикники какие-то, чаи на природе придумает – с женой да с дочкой в выходной день за деревню на лодке катит, то опять насчет кино заведет городские порядки. Раньше, к примеру, с этим кино и думушки ни у кого не было: когда наберут пятаков более или менее подходяще да когда киномеханик более или менее на ногах держится, тогда и начнут крутить (и в девять и в десять часов – когда как придется). А теперь нет: ровно в девять из тютельки в тютельку – такой закон на сессии сельского Совета принят. И уж будьте-нате – депутат Нетесов сумел вколотить этот закон всем: целый год без передыху на каждое кино выходил.

Подтянет, подтянет Виктор подпруги, думал Михаил, размашистым шагом шагая с посоловевшим Филей, который, пожалуй, на радостях малость перебрал.

В конторе, как в старые колхозные времена, полным-полно было народу. Дымили сигаретками, перекидывались шутками, скалили зубы, а на прицеле-то у всех был он, новый управляющий: как-то покажет себя? с чего начнет? кому выдаст серьгу, кому хомут? Бывало, в колхозные времена, когда новый человек за председательский стол садился, это целый спектакль. Тут тебе и всякие посулы и обещания райской жизни, тут тебе и зажигательные призывы, тут тебе и гроза. А иной раз и бутылка. Был такой у них один чувак – с братания, то есть с повальной пьянки начал свое правление.

От Виктора Нетесова ничего такого не дождались. Сидел за столом, подписывал какие-то бумаги, передавал бухгалтеру, кладовщику, а на то, что в конторе продыху нет от людей, ноль внимания.

И все-таки спектакль был.

– Михаил Иванович, давай-ко поближе.

Все сразу примолкли, притихли: ну, какой пост сейчас отвалят Пряслину? чем вознаградят за многолетнюю войну с Таборским?

Михаил наспех вдавил в пепельницу сигарету, весь подтянулся, только что не строевым шагом двинул к столу.

– Что скажешь, Михаил Иванович, если за тобой) закрепим конюшню?

Михаил не успел еще и сообразить что к чему, а уж кругом – ха-ха-ха! го-го-го! И добро бы потешались, глотку надрывали его недруги, скажем такой прохвост и жулик, как Ванька Яковлев, первая опора Таборского среди механизаторов, а то ведь и Филя-петух блеял, и Игнат Поздеев зубы напоказ.

И напрасно Виктор пытался доказывать, что без коня им никуда, что конь в условиях Севера незаменим, – не помогло. Потому что что такое конюх сейчас, в машинный век? А самый распоследний человек в деревне, вроде Нюрки-пьяницы. Да если говорить откровенно, конюху и в старые, колхозные времена не ахти какой почет был. Зимой трудовая повинность – всех в

лес от мала до велика, а на конюшню какого старичонка сунули, и ладно. Лошади не коровы. Сена охапку бросил, к колодцу сгонял – вот тебе и весь уход.

Михаил не дал согласия. Но и отказываться наотрез не отказывался. Нельзя было принародно. Сам сколько лет кричал: долой Таборского, дайте другого управляющего, а дали – и задом к нему? А второе – Нюрка Яковлева опять загуляла: лошади с утра не поены, не кормлены. И Виктор Нетесов так ему и сказал под конец: мол, не настаиваю, только хоть сегодня оприють, а то ведь они с утра караул кричат.

2

За стеной урчал трактор, глухо постукивали моторами утомившиеся за день грузовики, звенькала наковальня в новой кузнице, матерная ругань доносилась с зернотока, где, судя по голосам, Пронька-ветеринар сцепился с доярками… Все слышно, что делается вокруг – впритык старая конюшня к хозяйственным постройкам. И все-таки тут была тишина. Особая, лошадиная тишина с хрустом травы, с пофыркиваньем, с перестуком копыт, с сытым урканьем голубей под дырявой крышей…

Михаил – после раздачи корма он отдыхал на старом ящике из-под гвоздья – затоптал сапогом окурок, недобрым взглядом покосился на балку над головой, белую от голубиного помета. Беда с этой птицей мира. Житья от нее нету. Все загадила, все запакостила. И все законы природности под себя подмяла. Слыхано ли когда было, чтобы круглый год без передышки плодилась? А теперь так – зимой свадьбы, особенно в таких теплых помещениях, как конюшня и коровник. И уже Таборский, сказывают, на каком-то совещании не то в шутку, не то всерьез брякнул: важный мясной резерв не учитываем.

Вот и все, думал Михаил, покусывая стебелек травинки. Как начал свою жизнь с лошадей, так и кончаю ими.

Ужас, ужас это – загнать себя на конюшню. Все на тебе поставят крест: люди, жена, дети. Кличка до скончания века Мишка-конюх, и кончится все тем, что и сам конягой станешь. Одичаешь. А с другой стороны, если он откажется, конец бедолагам. Так и не поживут никогда по-человечески. Потому что кто, какой стоящий человек пойдет сегодня в конюхи?

Задумавшись, он не сразу услышал, как на другом конце конюшни заскрипели старые ворота.

Вера! Он по шагам узнал ее.

Он быстро вскочил с ящика, на котором сидел: ну сейчас бурей налетит на отца – целую неделю не виделись.

Не налетела. Подошла тихонько, кивнула:

– Здравствуй, папа.

– Здравствуй, – ответил Михаил и спросил прямо: – Крепко ругается?

– Ругается.

Он так и знал: материна работа. Мать довела девку чуть ли не до слез, на чем свет ругая его.

– Ну а ты что скажешь?

– Я за.

– Что – за? – Михаил вдруг вспылил, закричал: – За, чтобы над отцом твоим все потешались, чтобы тебе проходу не давали: "Верка конюхова идет"?

– Ну и пускай не дают… Да конь лучше всякой машины! Вот. Коня-то кликнешь – он к тебе сам бежит… А помнишь, папа, как мы с тобой Миролюба объезжали?

– Не подлаживайся. Это ведь ты коня-то почему расхваливаешь? Потому что отец в конюхи попал.

– Ну да!.. Да я когда вырасту, сама себе коня заведу!

– Может, и заведешь, да только железного.

– Нет, не железного, а живого!

– В частном пользовании иметь лошадь у нас не положено.

– Почему?

– Почему, почему. Закон такой.

– Ерунда! Машину иметь можно, а лошадь нет?

Вера вызывала его на спор. Черные глаза сверкают, голова откинута назад. Заядлая спорщица. И революционерка. Все бы давно уже переделала, кабы ее воля.

Михаил, так ничего и не решив, сказал:

– Пойдем-ко лучше домой. Нам с тобой еще наступление материно отбить надо.

– Ой, папа, я и забыла! Дядя Петя приходил. Калину Ивановича надо нести в баню.

3

Из жития Евдокии-великомученицы

Калина Иванович любил попариться. Сам худущий, в чем душа держится, а жару дай, чтобы каменка трещала, чтобы с ужогом, чтобы веник врастреп, а зимой так еще и с вылетом в снег.

Сегодня старик на полку не был.

– Воздуху, воздуху нету…

И вот Михаил с ходу обмыл-оплескал маленько, бельишко свежее натянул и в сенцы – с рук на руки поджидавшему Петру. Как малого ребенка.

Сам он тоже не стал размываться: Петр первый раз выносит старика из бани, мало ли что может случиться.

Но, слава Богу, все обошлось благополучно.

Когда он втащился к Дунаевым, Калина Иванович уже немножко отошел – с открытыми глазами лежал на кровати. И в избе праздник: стол под белой скатертью, самовар под парами

и, мало того, бутылка белой. Неслыханное дело в этом доме!

Михаил с удивлением глянул на хозяйку, тоже по-праздничному одетую, спросил по-свойски:

– Ты ради чего это, Дуся, сегодня разошлась?

– Сына в этот день убили, – ответил за Евдокию Петр.

– А-а, – понимающе сказал Михаил. – Поминки по Феликсу.

Сели за стол. Евдокия сама налила в рюмки, одну рюмку поставила рядом с собой – для сына (так нынче в Пекашине поминают убитых на войне), первая выпила и сразу же в слезы:

– Ох, Фелька, Фелька... Не видал ты в жизни, не спознал радости. Что тебе пришлось перенести, вытерпеть, дак это ни одному святому не снилось...

– Ты не разливайся, а толком говори, раз заговорила, – сказал Михаил.

– Чего толком-то? Первый раз слышишь?

– Я-то не первый, да он первый. – Михаил кивнул на брата.

– И он не в иностранном царстве родился. Слыхал, какие времена были. Я говорю: откажись, парень, от отца, пропадем оба (тогда ведь тем, кто от отца отказывался, послабленье давали). "Нет, мама, не откажусь. Ни за что не откажусь". И вот два года все как от чумы от нас шарахались. Кто с испугу-перепугу, кто от вони. Я ведь сортиры выгребала: для меня другой работы нету. Весь город обошла, во все конторы стучалась. Вечером-то домой прихожу, меня сын первым делом: "Мама, мойся. Я воды горячей нагрел". Говорю, вся сортирами пропахла, и он пропах – в школе никто за парту за одну не садится. А какой водой отмоешься? Ну нашелся добрый человек, подсказал: уезжайте вы, Бога ради, отселева. Поехали. В Карелию. В самую распоследнюю дыру – может, там люди есть? Ну, тут зачалась война – ожили. Да, все кругом кричат, вся земля воем воет: война, война... а мне война, грех сказать, послабленье. Меня на работу взяли. В военную часть белье стирать. Ну я ломила, ох ломила! – Евдокия показала свои изуродованные, развороченные ревматизмом руки. – Это вот от стирки, коряги-то. По двадцать часов сряду в сырости стояла. Забыла, что на руках и кожа бывает. Да, два вклада вношу: за отца и за сына. Рада, что до работы допустили. Белье стирать – все не сортиры чистить. И Фелька рад-радешенек – на войну взяли. Да, раз приходит ко мне на работу днем, улыбается. Что ты, говорю, Фелька, с работы середь дня ушел – грузчиком на станции робил, – ведь тебя засудят. Забыл, что война у нас? "Не засудят. Я проститься пришел, мама. На фронт ухожу". Как на фронт? Семнадцати-то лет на фронт? "А я добровольцем, мама". Оказывается, он только и делал целый год, что заявленья в военкомат носил. Взяли. Разрешили помирать. "Мама, говорит, сын Калины Дунаева... – Евдокия заплакала, – мама, говорит (да, так слово в слово и сказал), сын Калины Дунаева завсегда, говорит, первым будет. Запомни это, мама, и всем другим скажи. Я, говорит, докажу, что у меня отец не враг..." Все верил в отца, все говорил – придет правда... Он, он сгубил парня! – вдруг истошно закричала Евдокия и вся затряслась в рыданиях.

Он – это, конечно, Калина Иванович, который у Евдокии за все был в ответе: и за то, что было, и за то, чего не было.

Обычно Калина Иванович не терпел понапраслины. Негромко, без крику, но ставил на свое место супружницу, а сейчас даже глаз не открыл. Задремал? Худо опять стало? Не нравился он сегодня Михаилу. Когда это было, чтобы Калина Иванович от рюмки отказался, а тем более

после бани? А сегодня капли внутрь не принял, только по губам помазал.

– Из-за его, из-за его Фелька сунулся добровольцем. Ребята, годки его, на год после пошли, сейчас которы живы…

Михаил строго прикрикнул на Евдокию, которая головой билась о стол:

– Не сходи с ума-то! У нас отец с войны не вернулся, по-твоему, я виноват? Парень, понимаешь, жизнь за родину отдал, а ты понесла черт те что…

– Не защищай, не защищай! Весь век я у вас виновата, весь век жизнь ему заедаю, а разве я жила? Я весь век у его заместо лошади. Через всю жизнь на мне проехал. Он помрет – ему слава, ему памятники, а мне чего? А меня ты же первый обругаешь да облаешь… – Евдокия вытерла рукой мокрое от слез лицо. – Война замирилась, все стали устраиваться, то-се, вить гнездо заново – а я не могла? Ко мне подвернулся человек, свой дом полная чаша, холостой, не пьет… Эх, думаю, брошу все, еще сорок лет, хоть немного, хоть год да как люди поживу. Нет, пошла искать его. Думаю, как же я на себя задумала? Феликс-то, сын-то, что бы мне сказал? Перед евонной-то памятью я какой ответ – держать стану? Был у нас в части полномоченный из особого отдела, которые людей судят. Хороший мужик, все у меня белье стирал, знал, что я жена врага народа. Вот я думала-думала, давай схожу к ему. Искать мужа надо, а где? Ни одного письма не было. Пришла. Так и так, говорю, Василий Егорович, ты видел, как я в войну робила, кожа на руках по месяцам, по неделям не зарастала. Пособи мужа найти. Не ради, говорю, его самого, ради сына. "А как же, говорит, я тебе помогу, раз, говорит, права переписки лишен? Большая у нас, говорит, страна, не пойдешь же от лагеря к лагерю". Пошла…

Михаил уже не первый раз про это слышит, не первый раз Евдокия принимается при нем рассказывать про свои хождения по мукам, и пора бы, кажись, привыкнуть. А нет, только произнесла это простое, такое обыденное слово – пошла, которое на дню каждый десятки раз произносит, и сдавило горло, стало нечем дышать.

– Нет, нет, – взмолилась Евдокия, тряся головой, – не могу. На том свете отчета потребуют, что видела, где была, – Не сказать. Тут кою пору старая фадеевна стала говорить (по обвету пешком в молодые годы в Соловки, к Зосиму да Савватию, тамошним угодникам, хаживала) – не плети! Из ума выжила. А я-то ведь всю Расеюшку, всю Сибирь наскрозь прошла-проехала. Да тайно. Чтобы комар носу не подточил, чтобы никто и не подумал, зачем я от лагеря к лагерю шастаю. Глаза-то у начальства как прожектора – так и рыщут, так и рыщут, все видят, ощупом тебя ощупывают. И со своим братом, с вольняшками, с наемными, не проговорись. Я во сне тараторю – не сыпала с открытым ртом, все платком на ночь рот перевязывала. А как по морю-то, по окияну-то на Колыму попадала, дак это аду такого нет. Кишки наружу выворачивало. Нет, нет, опять замотала головой Евдокия, – меня хоть золотом озолоти, не рассказать, где была, чего видела. Во сне приснилось.

Калина Иванович, шумно, тяжело дыша, подал с кровати голос:

– Воздуху бы мне…

– Какой тебе воздух-то? У меня труба открыта с утра, а окошко и дверь нельзя – живо прохватит.

Михаил, чтобы хоть как-то приободрить старика, сказал:

– Про Колыму говорим… Не забыл еще, как тебя жена из ямы вытягивала?

– Да уж верно что из ямы, – сказала Евдокия. – Я попервости на эту Колыму попала, нарадоваться не могу.

– Понимаешь, – Михаил живо кивнул Петру, – разыскала!

– Да, легче было иголку в зароде сена найти, чем в те поры человека. А я нашла. В первый же день смотрю, вечером колонну с работы ведут – он. По буденовке узнала. Все идут одинаковы, все в ушанках, все в бушлатах, а он один – шишак в небо. Сердце екнуло: мой. Едва на ногах устояла. А потом неделя проходит, другая проходит – нету. Не видать буденовки. Опять с ума сходи, опять пытка: жив ли? помер? Тогда ведь этих зэков мерло, как мух. На этап угнали? Думала, думала, открылась сестре из лазарета. Хорошая женщина, из Ленинграда, сама десять лет отсидела. Так и так, говорю, Маргарита Корнеевна, закапывай живьем в землю але помогай. Ты в зону доступ имеешь, узнай – что там с моим мужем Калиной Дунаевым? "С Калиной Дунаевым? говорит. – Да ведь он, говорит, у нас в лазарете лежит, не сегодня-завтра помрет. Понос, говорит, у него кровавый".

О Господи, Господи! Сколько лет искала, сколько мук приняла – и все напрасно, все ради того, чтобы узнать: муж помирает. Нет, нет, землю переверну, небо сокрушу, а не дам мужу умереть. Все сделаю, на все пойду, сама себя живьем закопаю, по косточке воронам отдам, а спасу мужика! А спасенье-то, Господи… в стеклянной баночке из-под компота стояло. У кладовщика. В каптерке на окошке. Отваром рисовым надоть было поить, рису добыть. А рису нигде не было ни зернышка. Только у кладовщика был, да и то с какой-то стакан в этой компотной скляночке. Весна была, старый привоз израсходован начисто, а новых пароходов когда дождешься… Пошла к кладовщику. А кладовщик рожа красная был, издеватель. И уж как он надо мной не измывался, чего не говорил – рот не откроется, чтобы все сказать. А тут еще в это время сам начальник в каптерку влетел. Увидел меня не в положенном месте – две морды из охраны свистнул, на допрос. Ну тут уж я не запиралась. Все рассказала как на духу и про себя, и про сына, и про Калину – один лешак, думаю, помирать. И вот чего, бывало, про этих начальников не наслушаешься, чего не наговорят, а были и меж их люди. До прошлого года, до самой смерти нам письма писал. Он, он спас Калину. Насмотрелась, навидалась я за те годы всякого народушку – и зверья лютого и святых вживе видела.

В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит Калина Иванович. Потом его дыхание заглушил дождь, со всхлипами, со стонами забарабанивший в рамы. Петр подошел к левому окошку, у которого в погожие вечера любил посидеть Калина Иванович, уткнулся лбом в холодное стекло, а Михаил смотрел-смотрел прямо перед собой и вдруг потянулся к водке: может, от нее, стервы, полегче станет?

Евдокия, уже хлопотавшая возле мужа, спросила:

– Чего так за воздух-то грабишься? На дождь, наверно?

– Свет зажгите…

– Чего? Свет? – Евдокия переглянулась с Михаилом и Петром. – Да у нас когда электричество пылат.

– А у меня ночь в глазах…

– Дак, может, «скору» вызвать? Калина Иванович долго не мог отдышаться, в горле у него булькало, потом все услышали:

– Спойте мою песню…

Тут уж Михаил и Петр посмотрели друг на друга: неладно со стариком. Да и кому пойдет на ум песня после того, что тут только что рассказывалось?

Евдокия первая запела. Правда, не с начала, через рыданья, но запела:

Эх, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих…

Да, так всегда, всю жизнь: ругает, на все лады клянет мужа, а что ни скажет тот, все сделает, на край света пойдет за ним.

Петр, давясь слезами, тоже начал подтягивать, а потом переломил себя и Михаил.

Когда под потолком растаял последний звук песни и стало снова слышно, как за окошком всхлипывает дождь, он спросил:

– Хватит одного раза але еще спеть?

Ответа не было.

Он подошел к кровати.

Калина Иванович уже не дышал. Жизнь, может, сколько-то еще теплилась в широко раскрытых глазах – в них, показалось Михаилу, было еще что-то от света. Как знать, может, Калина Иванович, вслушиваясь в слова любимой песни, последний раз видел отблески того великого зарева, в пламени которого он входил в большую жизнь.

Михаил подождал, пока глаза старика совсем не потускнели, и закрыл ему веки.

Глава пятая

1

Таких похорон в Пекашине еще не бывало. Впервые гроб с телом покойного, весь заваленный цветами, венками еловыми, перевитыми красными лентами, венками жестяными, поролоновыми – всякими, – был выставлен посреди клубного зала.

Но и это не все. Приехала специальная воинская часть с медным, до жара начищенным оркестром, с новенькими поблескивающими автоматами (то-то было разглядев и разговоров у ребятишек и мужиков), приехали делегации, как это в газетах сообщают, когда хоронят знатного человека, – из области, из района, из леспромхозов. А уж сколько простого люда собралось, дак это и не сосчитать. Своя деревня, конечно, высыпала вся от мала до велика, но и соседние деревне пришли да приехали чуть ли не всем гуртом.

Местные, свои, чувствовали себя неуверенно – как и что делать на таких похоронах? Когда своего деревенского хоронят – мужика, старуху там или еще кого, – просто: вой, реви во всю глотку, и ладно.

А тут?

Солдаты, бравые, с иголочки одетые, брякают ружьями, музыка, какой многие сроду не видали, – все эти трубы серебряные, тарелки раззолоченные… И вот одни намертво заморозили себя, истуканам стояли, а другие молча, как затяжной дождь, обливались слезами.

Михаил – он с ног сбился в эти дни – и гроб с Петром Житовым колотил (тот впервые, наверно, за два года трезвый был), и пирамидку сооружал, тело обмывать да наряжать помогал, и еще могилу копал.

Сколько он этих могил на своем веку выкопал! Десятки, а может, даже сотни. С четырнадцати лет, с сорок второго года начал заниматься этим делом. В обычное время работа как работа, а были годы – страшно сказать, – когда даже рад ей был. Потому что в самый лютый голод в дом, где покойник, что-нибудь подкидывали из колхоза, из магазина, а значит, и сам худо-бедно подкормишься, да иногда еще какую-нибудь картошину, какую-нибудь хлебную кроху дом принесешь ребятам. Зато уж в мороз, в стужу крещенскую все проклянешь на свете: на полтора, на два метра земля промерзла, все ломом, все кайлом. Взмокнешь так, что пар идет.

В общем, привычно было для Михаила могильное дело, можно сказать, спец в этом деле был, а сегодня лопата в землю не лезла: трясутся руки, и все. Из-за этого, между прочим, да из-за пирамидки – красной краски, в последнюю минуту выяснилось, в сельпо нет – он и на траурный митинг опоздал, так что когда вошел в клуб, главные ораторы уже выговорились, пионерия свой голосишко пробовала.

Шумилов, новый председатель сельсовета, не успел он перевалить за порог, замахал рукой: сюда. А когда он, горбясь, приседая на носки, подгреб к изголовью – там табунилось все приезжее начальство да местная знать, сказал:

– Становись в почетный караул.

Суса-балалайка – она по старой памяти повязки красные с черной каймой крепила – пришла в ужас: как? в таком виде – в кирзовых, перепачканных землей сапожищах, в мятом-перемятом пиджачонке (не в параде же рыть могилу!)-и в почетный караул?

Но Михаил встал. Встал в голову, неподалеку от стула, который был специально поставлен для Евдокии. Но Евдокия отказалась сесть. Она будто бы сказала:

– Всю жизнь перед ним стояла, дак неуж у гроба буду сидеть? В последний прощальный час…

Вот тут Михаил впервые за последние два дня разглядел более или менее Калину Ивановича. Усох, нос выпер во все лицо, на верхней губе царапина (Петра подвела рука – он брил покойника), щеки и рот провалились (забыли вставить зубы, пока еще не закоченел совсем)… И Михаил, скошенным глазом водя по лицу старика (сам-то он стоял как вкопанный), подумал: да неужели это тот самый человек, который когда-то один монастырь с мятежниками взял?

Но со стороны Калина Иванович на своем красном помосте выглядел внушительно, и тут надо благодарить Петра Житова. Он, Петр Житов, забраковал первую домовину, которую начал было Михаил кроить у себя в сарае. Смерил хмурым взглядом длину уже заготовленных, распиленных досок, перевернул одну, другую и плюнул:

– Ты думаешь, кого хоронишь?

В общем, пошли на пилораму, выбрали из груды бревен толстенную лиственницу (очень устойчива к сырости), распилили и такую гробницу отгрохали – ахнешь!

Гроб попервости хотели везти на партизанское кладбище на грузовике, тоже обитом красным сатином, – тут, наготове, у крыльца клуба стоял, – но Михаил запротестовал:

– Да что вы, Господи? Неужели такого человека да на руках не снесем?

И вот подняли красный гроб на плечи, взмыл в последний раз Калина Иванович над толпой. И все было как положено, все на самом высоком уровне: венки, музыка, воины. Только вот когда Суса опять по старой привычке команду подала: "Ордена и медали вперед!" – вдруг обнаружилось, что ни орденов, ни медалей у Калины Ивановича нет.

Вышла заминка, всем стало как-то неловко, не по себе.

Шумилов, новый председатель, спасибо, нашелся:

– Вынести знамена вперед.

Суса – она все законы, все правила знала – строго замахала руками:

– Нельзя ведь. Не положено.

– А я говорю, вынести знамена вперед! – Шумилов не прокричал, в трубу протрубил. – Все! До единого! Какие есть в клубе и в деревне!

И молодежь наперебой бросилась исполнять его приказание. И лес красных знамен взметнулся впереди гроба, по сторонам, и Калина Иванович так в этом красном полыхании и поплыл на партизанское кладбище.

У могилы опять говорили речи. Но тут слушали уже вполуха – большое начальство отговорило, а от таких орателей, как Суса, и так давно с души воротит. А главное, все – и малые и большие – ждали, когда солдаты дадут залп.

И вот когда стали гроб опускать в могилу, двадцать пять автоматов разом разрядили.

Сверху, с сосен, зеленым дождем посыпалась хвоя, золотые гильзы полетели в разные стороны, и тут не обошлось без конфуза: старушонки (эти теперь везде первые – и на праздниках и на похоронах) подняли панику, заорали: "У-у, убьет!" – а потом вместе с ребятишками кинулись загребать гильзы.

Михаил (он опускал гроб на веревке в могилу) тоже накрыл одну гильзу сапогом: решил взять на память.

Напоследок, уже когда могила была зарыта и вся завалена венками, запели «Интернационал». Но запели как-то неумело, недружно, а когда над головой вдруг вынырнуло солнце, тогда и вовсе умолкли.

Да, три дня не было солнца, три дня все вокруг было затянуто непроглядным осенним обложником, а тут вышло – встало в караул.

2

На поминки из-за Евдокииной тесени позвали только начальство (и то не все, а приезжее) да тех, кто делал гроб да копал могилу (этих не позвать скандал), а все прочее народонаселение, пожелавшее почтить память Калины Ивановича на общественных началах, то есть в складчину, собралось у Петра Житова: у того просторно, кухня да передняя – как зал, на всех места хватит.

Начальство попервости чувствовало себя неловко. Никак не ожидали, что в такой скудости жил покойник, которого только что возносили до небес. Да и хозяйка на всех тоску черную

наводила.

Евдокия за эти три дня стала старухой – вот что значит из человека вынуть душу. А из нее вынули. Кляла, ругала всю жизнь мужа, а что без него? День без солнца, ночь без луны.

В общем, если бы не Раиса да не ее обходительность – хоть беги из Дунаевского дома. Потому что Евдокия как села к печи у рукомойника, так и сидела. Ничего не видела, ничего не слышала. Только время от времени вздрагивала всем телом да коротко вскрикивала: ой!

А Раиса (она подавала на стол) одному ласковое словцо сказала, другому (умеет, когда захочет) – смотришь, и поуютнее на душе стало (все люди), а потом, когда стопки две пропустили и вообще пришли в норму, кое-кто даже глазом за Раису цепляться стал. В черном, как положено, вся в черном, да разве бабью красу тряпкой укроешь?

Михаил – они с Филей-петухом, да с Ваней-трактористом, да с Ванечкой-механизатором (так называли Ивана Рогалева да Ивана Яковлева меж собой) сидели на озадках, почти у самых дверей – все ждал, когда начнутся разговоры. Большие мужики собрались, а поминки настраивают, – даже у ихнего брата, работяг, иной раз бывает, костры загораются, – но нет, ничего особенного не услышал. Не раскачались еще? Время не подошло?

А его товарищам и дела до всего этого не было. Начальство само по себе, по своим свычаям-обычаям поминает, а мы по своим. Опрокинули один стакан, опрокинули другой, и пошла беседа: какой в этом году будет осенний полаз у семги, удастся ли освежиться, удастся ли хоть раз пошарить в Пахиных владениях.

Михаил не пил. Он только пригубил, когда сказали: да будет покойному земля пухом. Не мог пить. Не такие сегодня поминки, когда вино само рот ищет. Все ему не по себе было. И то, что на поминках все люди, которых он ни разу у живого Калины Ивановича не видел, и то, что у Петра Житова за дорогой уже запели (черт знает что за порядки пошли – на похоронах петь!), и то, что Таборский опять выпередился.

В клубе да на кладбище на глаза не лез – сгинул, сквозь землю провалился. Не у дел. Калина Иванович не жаловал, а Евдокия, та и вовсе терпеть не могла, просто отворачивалась, просто крестилась, когда мимо проходил, – чего выставлять себя напоказ? А тут только кое-как у Дунаевых угнездились (человек двадцать пять набилось в маленькую горенку) – он.

Евдокия, как ни была убита, глаза вытаращила. Да что – не простой день: не дашь от ворот поворот. Вот так Таборский и попал за поминальный стол.

Сперва пристроился к ним, работягам, на самой Камчатке, у порога, а потом пропел слово вовремя – сразу царские врата распахнулись. Потому что начальство на сей раз попалось какое-то недотепистое, ни мычит, ни телится. Сидят за столом, поглядывают вокруг да вздыхают: да, вот большевистский стиль жизни, да, вот как покойник жил, – а где ихняя команда, кто возгласит: почтим минутой молчания?

Вот Таборский и дал запев. "Вечная память рыцарю революции… Пущай земля будет пухом… Сохраним и приумножим боевые традиции…"

Михаил тихонько встал из-за стола и потянул на выход – покурить, прополоскать дымком легкие да хватить свежего воздуху: духотища в избе была, хоть и окошки открыты. Ну и, конечно, отдохнуть от Та-борского – тот в раж вошел, опять за речь принялся, опять равнение на него.

У Петра Житова уже совсем с ума посходили – орали «Катюшу».

Михаил сел на скамейку под стеной двора за утлым крылечком, где они столько с Калиной Ивановичем сиживали, закурил. И не успел и пяток раз затянуться – Таборский.

Хохотнул, кивнул на скамейку:

– Давай посидим рядком да поговорим ладком. Раскурим напоследок трубку мира.

Пришлось подвинуться. А что? Куда денешься. Не побежишь же!

– Дан что, Пряслин, спихнул, говоришь, Табор-ского – и сразу повышение?

– Какое повышение?

– Ну как же! Маршал лошадиных сил всего Пе-кашина. – Таборский не захохотал. Подковыр при серьезной роже больше жалит.

Но и Михаил, в свою очередь, не вскипел, не взвился. Будет, попереживал из-за этой конюшни – не хочешь ли вот так, Антон Васильевич: плевок на твоего лошадиного маршала с высокой колокольни, ни слова в ответ? В общем, сделал Выдержку и только затем, да и то эдак спокойно, с усмешкой:

– Насчет того, что тебя Пряслин спихнул, это слишком большая честь для Пряслина. Не заслужил. Жизнь тебя спихнула, а не Пряслин.

– Пой, соловушка, пой! А у жизни-то чьи руки? Не твои?

– Виктора Нетесова недооцениваешь.

– Хо, Виктора Нетесова! А Виктора-то Нетесова кто завел? Все знаем, Пряслин. Разведка работает неплохо. Знаем даже, что ты комиссии пел.

– А я и не скрываю. То же самое и тебе в глаза говорил.

Таборский докурил «беломорину», закурил вторую: все-таки ходили нервишки.

– А жалко, черт возьми, что мы с тобой не сжились. Веселее, когда дерево упрямое гнешь.

– Не жалей.

– Это почему же?

Михаил рывком вскинул голову, врубил:

– А потому что мы с тобой не то что в одном совхозе – на одной земле не уживемся.

– Да? – Таборский только раз, и то чуть заметно, ворохнул глазами, а потом опять все нипочем. – Рано хоронишь Таборского. Только что начальником стройколонны назначен. Всем строительством в районе заправлять – неплохо, думаю?

Тут из окошка горницы кто-то высунул лохматую голову (кажется, секретарь райкома), позвал:

– Долго ты еще кворум нарушать будешь? Таборский живо ткнул Михаила в бок:

– Чуешь, начальство без меня заскучало. – И вдруг захохотал: – Никуда без Таборского. Подождите, еще и в Пекашине пожалеют Таборского.

Да уж жалеют, подумал Михаил, провожая глазами крепкую, высветленную солнцем красную шею, согнувшуюся под притолокой дверей, и тут же выругался про себя: ну что мы за люди? Что за древесина неокоренная? Когда поумнеем? Прохвост, жулик, все Пекашино разорил, а мы жалеем, мы убиваемся, чуть ли не плачем, что от нас уходит!

Да, такие разговоры уже идут по деревне, и при этом что больше всего удивляло Михаила? А то, что он и сам теперь, пожалуй, не очень радовался уходу Таборского. А придет время – он знал это, – когда он даже скучать будет по этому ловкачу, по этому говоруну.

Вот что вдруг открылось ему сейчас.

3

Сперва спустился под угор по делу – перевязать лошадей на лугу, – а потом вышел к реке, к складам и пошел, и пошел… Берегом вверх по Пинеге, через Синельгу, через Каменный остров, который отгораживает курью от реки… Куда? Зачем? А несите ноги. Куда вынесете, туда и ладно. Мутит, сосет что-то в груди – места не найдешь себе.

Под ногами гулко, по-вечернему хрустела дресва, рыбья мелочишка сыпала серебром по розовой глади реки, иногда из травянистых зарослей тяжело и нехотя взлетала утка, не иначе как устроившаяся уже на ночлег, а в общем-то, не рыбой, не уткой красна ныне Пинега. Лодками с подвесными моторами. Страшное дело, сколько развелось этой нечисти! Буровят, пашут Пинегу вдоль и поперек, вода кипит ключом, и что стелется поверх воды – туман вечерний или газы вонючие, не сразу и разберешь, и вот когда Михаил дошел до Ужвия, мелкого ручьишка с холодной водой, отвернул от реки в луга: сил больше не было терпеть железный гром.

Пошла густая, шелковая, как озимь, отава, в которую по щиколотку зарывался сапог, кое-где видны были еще белые коряги и щепа – остатки от костров, которые тут жгли косари и пастухи, – а потом все синее, синее стало вокруг, все гуще и гуще темень, а потом глядь – где ельник с поскотиной слева, из которого все время доносился неторопливый перезвон медного колокола на чьей-то загулявшей корове? Пропал ельник. Черная непроглядная стена, как в сказке. И корова больше ни гугу. Поняла, видно, дуреха, что затаиться надо, а то живо угодишь лесному хозяину на ужин – его теперь пора настала.

Некоторое время еще светлела вдали река, но затем и ее затопила темень. И если бы не гул и завывание последних лодок да не малиновые росчерки папиросок – где Пинега, в какой стороне?

Михаил нагреб возле старого кострища каких-то дровишек – щепы, жердяного лому, полешек березовых, – принес две охапки сена от ближайшего зарода, свалил все это в кучу.

Понимал: преступление делает, грех это великий – сено жечь, все равно что хлеб огню предать, да какой сегодня день-то? Кто умер?

Собрались, расселись за столом да давай водку хлопать – разве это поминки по такому человеку?

Огонь взлетел до небес, алыми полотнищами разметался по лугу, жарко высветил черный ельник.

Михаилу стало легче. Вот и он справил поминки по Калине Ивановичу. Свои, особые. Свой дал салют в честь старика.

Глава шестая

1

Сидит на крыльце старик, на старике шапка зимняя с отогнутыми ушами, валенки серые до колена, а глаза у старика в небе – рад, видно, что после двухдневного дождя выглянуло солнышко.

Егорша недоверчиво повел вокруг глазами – не ошибся ли он?

Нет, дом крайний, черемушка за домом растет, скворечница на высоком шесте – все так, как говорила встреченная на улице старуха.

– Дед, где тут Евдоким Поликарпович живет?

– Да ты откуда будешь-то? Разве не знаешь Евдокима-то Поликарповича?

Из сарая, что за самым крыльцом, вышла немолодая уже женщина, и Егорша сразу узнал Софью: все такая же крепкая, сбитая, хоть в сани запрягай. И тут уж сомнений больше не оставалось.

Он назвал себя, обнялся со всплакнувшей Софьей, затем на лицо улыбку радости – и не в таких переделках бывал! – и к Подрезову:

– Ну, принимай блудного сына, Евдоким Поликарпович!

Подошел, лихо щелкнул каблуками, руку к шляпчонке – Подрезов любил дисциплинку! – и только после этого протянул руку.

– Ты сам, сам руку-то у него возьми. Ему ведь не поднять, – подсказала Софья.

Егорша и это проделал не моргнув глазом – жамнул холодную, совком свесившуюся с колена, недвижную кисть руки с фиолетовым окрасом.

Подрезов улыбнулся.

– Узнал, узнал тебя! – обрадовалась Софья. – Ну приглашай, Евдоким Поликарпович, гостя в избу. Подрезов что-то промычал.

– Так, так мы ноне, – вздохнула Софья. – Не говорим. Да и не ходим. – И тут она подошла к мужу, поставила его на ноги, затем крепко обхватила рукой в поясе и, как куль, поволокла в сени.

Егорша сразу узнал подрезовские апартаменты по инструменту. Вся стена от порога до первого окошка, где обычно ставят кровать, была забита поблескивающими стамесками, долотами, напарьями, сверлами, и тут же стоял немудреный верстак. И еще из прежнего в избе были агитационные плакаты Великой Отечественной, расклеенные по всем стенам, уже выгоревшие, поблекшие, кое-где надорванные: разгневанная Родина-мать, "Идет война народная", "Что ты сделал сегодня для победы?"...

Меж тем Софья сняла с Подрезова ватник, шапку, посадила к столу на хозяйское место, а сама

стала накрывать – не по годам быстро, проворно и при этом еще ни на минуту не спуская глаз с мужа.

Эх, по-бывалошному какое бы это счастье – сидеть за одним столом с самим Подрезовым! Рассказов потом на полгода: "Подрезов сказал... Подрезов посмотрел... Подрезов дал прикурить..." А сам-то подрезовский бас, когда хозяин в настроении! Как майский гром раскатывается.

Сейчас Подрезов будто какой святой, давший обет молчания: ни слова не услышишь. Да и вообще Егорша никак не мог привыкнуть к его нынешнему виду: голова острижена, плешь на голове, голубенькие, небесные глазки как у блаженного, и все улыбается, все улыбается, как будто он решил задним числом отулыбаться за всю прошлую жизнь.

Но раз все-таки Подрезов показал свою прежнюю натуру – это когда Софья хотела взять у него рюмку. Вмиг полетела на пол чашка, сахарница и рык на всю избу.

– Ну-ну, не возьму, – перепугалась Софья. – Я ведь думаю, чтобы все ладно-то было.

А Егорша в эту минуту просто расцвел, в один миг двадцать лет с плеч долой – так и дохнуло теми счастливыми временами, когда он с Подрезовым на одной подушке сидел, когда перебрасывал его из одного конца района в другой. И если какую-то секунду спустя он вступился за Софью (она-де за тебя, Евдоким Поликарпович, переживает, ей-де положено как хозяйке останавливать нашего брата), то вступился скорее по обязанности, чем по зову сердца.

Подрезов ноль внимания на его слова. Он будто не слышал, даже головы не повернул в его сторону, и в этом, к радости Егорши, тоже угадывалась его прежняя натура: шептунов не слушаю, своя голова на плечах есть.

Время тянулось томительно.

Егорша опрокидывал рюмку за рюмкой (по знаку Подрезова Софья каждый раз подливала ему), посматривал в окошко (ничего видок, дыра, конечно, жуткая, но летом, кто любит природность, можно жить), а сам все ждал, ждал с трепетом, с пересохшим, заклекшим, как земля в засуху, горлом: когда же, когда же Подрезов подаст сигнал рассказывать про Сибирь, про дальние странствия? Ну говорить не может – свалилась беда непоправимая, что поделаешь. Но понимать-то ведь понимает – вон ведь как глазом-то водит, Софью поучает.

Подрезов сигнала не давал. И Егорша начал уже терять терпение, начал приходить в отчаяние. Да что же это такое? За каким он дьяволом всю Пинегу прошагал? Затем, чтобы рюмки эти хлопать?

Егорша только что не рыдал – про себя.

Ну как он не понимает, как не догадывается, зачем он к нему попадал? Да он к отцу родному, будь тот жив, к матери так не бежал бы, как к нему!..

А может, Евдоким Поликарпович не узнал его? – пришло ему вдруг в голову. Может, он его за кого другого принял?

Выяснить это так и не удалось, потому что Подрезов, на его беду, вдруг начал зевать, а потом даже глазами слепнуть, и Софья в конце концов потащила его отдыхать на другую половину.

2

Софья не выходила из дома долго – может, двадцать минут, может, полчаса, – и все это время Егорша, сидя на крыльце, лениво попыхивал сигареткой (в Пиляди и днем комары) и посматривал на затравеневшую улицу: пройдет ли хоть одна живая душа? Ну, взрослые на работе – в лесу, на поле, где еще, – а ребятишки-то где?

И он спрашивал себя: как всю эту глухоту и нелюдь переносит Подрезов? Зачем забрался сюда, на край света?

Самое простое объяснение, которое приходило в голову, – пенсионерская блажь. Развелось нынче стариков – хлебом не корми, а дай речку, лесок и все такое протчее, а тут этого добра навалом. Но ведь Подрезов-то из другой породы. Подрезов не будет, как тот ученый хмырь, с которым он, Егорша, один месяц в Сибири по тайге кантовался, целыми днями сидеть у муравейника да смотреть на него через лупу. Ему человечий муравейник дай, да чтобы в том муравейнике он на самом видном месте был, да чтобы самые тяжелые бревна таскал!

Наконец выползла из дома Софья. Задом, босиком и на цыпочках – вот как ее вымуштровал муженек. И двери в избу и в сени оставила открытыми – чтобы по первому зову быть под рукой у хозяина.

Присев рядом, облегченно перевела дух:

– Ну, слава Богу, утихомирился.

– Давно это с ним?

– Паралич-от? Десятый год.

– Десятый год?! И все это время без языка?

– Все.

Егорша вмиг вскипел:

– А медицина-то у нас есть? Медицина-то куда смотрит?

– Что медицина? Где взять такую медицину, чтобы Подрезова лечить? Разве не знаешь подрезовский норов? Зарубил чего – не своротишь. Сам, сам загубил себя. Речь да язык вернуть нельзя было, это с самого начала врачи сказали, а ногу-то можно было заставить ходить. Не захотел. Гордость. Как это Подрезов да на виду у всех людей будет волочить ногу?

– Да какие тут у вас люди? Я всю деревню прошагал, одну старуху встретил.

– Что ты, когда с ним все это вышло, со всей Пинеги народ повалил. Вспомнили – каждый день гости. Все лето. Вот он и упустил время-то. Надо бы ходить, надо бы ногу-то расхаживать, а он дальше крыльца ни на шаг. Лучше без ноги останусь, а Подрезова не увидите в слабости.

Тут Софья повела головой в сторону открытых в сени дверей, прислушалась. Ни единого звука не донеслось оттуда. И тогда она предложила:

– Пойдем сходим на стройку-то. Посмотрим, где нарушил себя Евдоким Поликарпович.

Егорша встал, пошел вслед за Софьей. А вообще-то обрыдли, до смерти надоели ему эти стройки. Потому что вся Пинега помешалась сегодня на домах. Куда, в какую деревню ни зайдешь, с кем ни встретишься: а мой-от дом видел? И потому, когда в Пекашине ему сказали,

что Подрезов на доме своем надорвался, он просто взвыл от тоски. Как – и Подрезов в том же стаде? и Подрезов на ногах не устоял?

Новый подрезовский дом был заложен по верхнюю сторону нынешнего жилого дома. Место красивое высокий чистый угор, речка подугором, – и работа на совесть: по линеечке выведен угол. Но что особенно поразило Егоршу, так это фундамент – валуны под углами. Просто скалы, просто столбы красноярские. Непонятно, кто их и ворочал. Не иначе как лешего в работники нанимали.

– Нет, не нанимали, – всерьез, без улыбки отвечала Софья. – Все сам. Воротом подымал. Вон оттуда, снизу, видишь?

И Егорша глядел на каменные глыбы, разбросанные по руслу искрящейся на солнце речки, пытался себе представить, как доставал их оттуда Подрезов, и нет, не понимал, зачем все это. Зачем рвать жилы из себя, когда казенных домов в наше время навалом? В том же райцентре – неужели такому человеку, как Подрезов, не нашлось бы какой-нибудь халупы?

Софья, когда он высказался в этом духе, никак не прореагировала. Потому что для Софьи разве существует что, кроме Подрезова? Не только ушами глазами вслушивалась, что там делается, в доме. И Егорша снова сорвался на крик:

– Я говорю, за каким дьяволом вас в эту дыру понесло? Нынче каждая сопля на столицу глаза навострила, а вы куда на старости лет забрались? В самое верховье района, в пинежский ад – разве не слыхали, как у нас Пилядь зовут?

– Мы попервости-то не здесь жили. На Выре, на лесопункте. Слыхал про родину-то Евдокима Поли-карповича? Начальству не понравилось.

– Че не понравилось?

– Да все. Он ведь кем на Выру-то приехал? Простым плотником. А нутро-то подрезовское. Не может тихо жить. Все не по ему, все не так. Начальнику лесопункта – распек, бригадиру колхоза – распек. Пошли жалобы: Подрезов народ поджигает, Подрезов работать и жить мешает. Ну Подрезов терпел-терпел да и пых: а-а, раз людям жить мешаю, поеду к елям! Вот так мы и попали на Пилядь.

– А дети у вас где? Ни одного не вижу.

– А дети известно: выросли и на крыло. Когда что от отца надо, заглянут, а когда все хорошо, и письма не дождешься.

– Ясно, – сказал Егорша, – современные детки.

– А уж не знаю, современные але несовременные, да на Пиляди жить не собираются. Я думаю, он и дом-то строить начал, чтобы домом детей к себе привязать. Да разве нынешних детей домом к себе привяжешь?

3

Софья ушла домой. Подошло время – Подрезов должен проснуться, и бесполезно было с ней толковать. Оглохла и ослепла баба.

Егорша остался на угоре один.

Он набрался терпенья – все обсмотрел, все проутюжил глазами: речку, пожни (серые от некошеной травы), черные мохнатые ельники, со всех сторон подступившие к деревушке, – вообразил, как все это годами мозолило глаза Подрезову, и ему стало не по себе.

Нет, нет, к хренам такую природность. К людям! На просторы жизни выгребать надо, покуда совсем не очумел.

И вот он обошел еще раз подрезовский сруб без крыши, без окон, уже основательно почерневший за эти десять лет, глянул на жилой дом своего бывшего кумира, за один погляд которого готов был жизнь отдать, и быстро в обход деревни пошагал на пинежский тракт.

Да, в обход, не заходя к Подрезовым, потому что хватит сопли на кулак мотать, хватит растравлять сердце. Потому что, сколько ни смотри, сколько ни вздыхай, все равно это не Подрезов. Не тот Подрезов, который в войну водил их в атаки, за которым они, молодняк, готовы были в огонь и в воду. Того Подрезова давно нет. О том Подрезове можно только сегодня вспоминать да рассказывать.

Глава седьмая

1

Вставало солнце, растопляло густые сентябрьские туманы, расчищало небо, и на земле сызнова начиналось лето. И так было не день, не два, а целую неделю.

Мимо с грохотом проносились жаркие пропыленные грузовики, лесовозы, останавливались: залезай! – а он только улыбался в ответ, приподымал слегка своего помощника, легкий черемуховый батожок, выломанный из старой заброшенной засеки, и шагал дальше сосняками, ельниками, лугами, рекой и мысленно не переставал благодарить бабку-странницу, Которая открыла ему этот полузабытый способ передвижения по родной земле.

На бабку-странницу они наткнулись с молодым парнишкой-шофером, который подхватил его на пинежском тракте вскоре после пилегодской росстани, нежданно-негаданно. Ехали, тряслись на корневищах старой, вдрызг разъезженной, размолотой дороги – и вдруг впереди картинка из времен царя Гороха: древняя бабка, вышагивающая с клюкой. Вмиг догнали, дали тормоза.

– Садись, старая!

– Спасибо, родимые. Своим ходом пойду.

– Садись, говорят. Кто теперь пешком ходит!

– Нет, нет, спасибо, христовые. Меня и свои могли подвезти. И у сына и у зятя железные лошадки есть. Да я по обвету.

– По обвету? – Шофер захлопал мальчишескими глазами: слыхом не слыхал ничего такого.

– По обвету. На могилке у Евсея Тихоновича положила побывать.

– Зачем?

– Зачем на могилке-то? А для души. Праведник большой был.

– Это тот-то старик большой праведник, который по пьянке в силосную яму залез? – Парнишка больше не пытал старуху. Ему сразу все ясно стало: чокнутая. Дал газ и покатил дальше.

А Егорша вдруг присмирел, притих, задумался, а потом и с машины слез. Вдруг все накатило-нахлынуло разом: смерть Евсея, встреча с Подрезовым, дом, Лиза, дед… – нечем стало дышать в кабине, петлей перехватило горло.

И вот началась какая-то небывалая, ни на что не похожая доселе жизнь…

Шел пехом, ничего не желая и никуда не спеша, весь настежь распахнутый и раскрытый, первый раз в жизни не стыдясь своей лысины. Да, шляпу с головы долой – и кали, жарь, солнце, смотрите, сосны и ели.

Первую ночь он провел у костра возле порожистой речонки, где чересчур загляделся на играющую на вечерней заре рыбешку, а потом ночлег под открытым небом, под звездами, у зарода, в лесной избушке вошел у него в привычку. И питался он тоже когда чем придется – когда размоченным в ручье сухарем, когда печеной картошкой, ягодой. Но удивительно – никогда еще он не чувствовал себя так легко, так бодро, как в эти дни, и никогда еще не доставляли ему столько радости, столько счастья такие пустяки, как запах дыма, шорох падающей с дерева сухой прошлогодней шишки, как полыхающая на солнце рябина. Ну а когда он по утрам слышал тоскливые, прощальные песни журавлей, у него на глазах выступали слезы.

Господи, как он, бывало, не издевался и не потешался над Михаилом, над Лизой, когда те заводили свои молитвы насчет всей этой природности! А что сам сейчас делает? Неужели нужно было двадцать лет побродяжить по Сибири, по Дальнему Востоку, пройти через смерть Евсея Мошкина, заживо потерять Подрезова, чтобы и у него защемило сердце, чтобы и у него глаза заново увидали мир?

2

На Усть-Сотюге он разжег огонь, полежал на зеленом лужку, зарывшись босыми разгоряченными ногами в прохладную шелковую отаву, посидел у речки нельзя было не посидеть у реки своей молодости, на которой держал фронт в Великую Отечественную, – а потом, свежий, передохнувший, пошел на свидание с Красным бором.

Да, на свидание. На свидание с красноборскими соснами. Потому что – что это такое? Прошел-прошагал добрую треть Пинеги – и ни одного стоящего соснового бора. Попадался кое-где жердяк, попадались в ручьях отдельные дерева, а чтобы сосновый лес верстами, километрами, да по обеим сторонам дороги, как это было в войну и после войны, да чтобы в том лесу птицы, зверя полно было – нет, такого леса не видел. Все вырублено, все пни и пни на десятки, на сотни верст. И вот наконец-то он, думал, отдохнет глазом в Красноборье да заодно отдохнет и душой, потому что тут у него под каждым деревом когда-то была жизнь. Жизнь с Михаилом, с Лизой, с Раечкой.

По новому, еще не потемневшему мосту он перешел за Сотюгу, поднялся в пригорок – и что такое? Где Красный бор? Налево вырубки, направо вырубки.

Нет, нет, не может быть. Это только по закрайку погулял чей-то шальной топор, а сам-то бор не тронут. В войну, в послевоенное лихолетье устоял старик, а нынче-то какая нужда сокрушать его?

Сокрушили.

Лесная пустошь, бесконечные, бескрайние заросли мелкого кустарника открылись ему, когда он перебежал темный еловый ручей, в который упирались вырубки.

Долго, несчитанно долго стоял он посреди песчаной дороги, тиская скользкую капроновую шляпчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памяти картину былого могучего бора, а потом сел на пень и впервые за многие-многие годы заплакал.

Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры, не он засевал берега сегодняшней Пинеги пнями. Но, Господи, разве вся его жизнь за последние двадцать лет не те же самые пни?

Да, двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы.

В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века, но баб и девок перебрал – жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел. И на месте не задерживался: взял, выкосил свое – и вперед, на новые рубежи. И что там оставалось позади – слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота – плевать.

Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предъявлять счет за пинежские леса?

В Водянах, на том берегу, было какое-то гулянье: из-за реки слышно, как в две гармошки наяривают, пьяные песни орут. Справляют, должно быть, какой-то праздник, а то и без всякого повода веселятся. Потому что у этих водянинцев всегда все наоборот. Бесперспективная деревня, смертный приговор вынесен – надо бы плакать, убиваться, слезы лить, а они не унывают, день прошел, и ладно.

А может, закатиться? Стряхнуть с себя дорожную пыль? Полдеревни старых дружков-приятелей – какой загул можно дать!

Не пошел. Шальное желание погасло, как только переехал за реку да поднялся в крутой бережок. Тут тропинка подхватила, понесла его вниз по Пинеге, по зеленым лугам.

Был разгар бабьего лета, было солнечно, тепло, была чаячья игра на реке, и отовсюду, со всех сторон смотрели на него зеленые Лизкины глаза. Да, да, да, Лизкины! Всю дорогу волновался, переживал, когда видел зеленую отаву на лугах, на обочинах, на полянах, а вот что это такое, понял только сейчас, когда стал подходить к Пекашину.

Муть, мура все эти бабы и девки! Никого не было, никого не любил, кроме Лизки. А то, что сбежал от нее, двадцать лет шатался черт те где… Да как было сразу-то узнать, разглядеть свое счастье, когда оно явилось к тебе какой-то пекашинской замухрыгой, разутой, раздетой, у которой вечно на уме только и было что кусок хлеба, да корова, да братья и сестры?

Решение пришло внезапно, как в былые годы: первым делом отвоевать у Пахи Баландина избу. Любой ценой сохранить дедовский дом. Ну а потом, потом посмотрим…

С этим решением он подошел к пекашинскому перевозу.

– Эхе-хей! – нетерпеливо кинул за реку. – Лодку давай!

А затем в ожидании перевозчика – тот уже шастал к Пинеге, по хрустящему галечнику слышно было – жадно, истосковавшимися глазами пробежался по красавице деревне, которая

горделиво поглядывала на мир со своей зеленой горы.

Глаз зацепился сразу же за дом Михаила – самая видная постройка в верхнем конце, – но разгоряченный, уязвленный ум не хотел мириться с превосходством старого друга-соперника, и он с вызовом подумал: врешь, Мишка! До деда ты все равно не дотянул.

Одним махом головы, совсем как бывало в молодости, он перекинул глаза на нижний конец пекашинской горы, к знакомой с детства развесистой лиственнице, туда, где стоит ставровский дом.

Дома не было. В синем небе торчала какая-то безобразная уродина со свежими белыми торцами на верхней стороне. И он понял, нельзя было не понять: дом разрубили.

Глава восьмая

1

О доме не говорили ни за обедом, ни за ужином. Вспоминали Федора, толковали про нового управляющего, про погоду, а о доме ни слова, хотя он гвоздем сидел у каждого в голове.

На Лизу в эти дни больно было смотреть. Она почернела, погасла глазами, потому что во всем винила себя. И как ей было помочь, чем утихомирить ее взбудораженную совесть?

Однажды утром Петр сказал:

– Ты не будешь возражать, сестра, если я на наши хоромы ставровского коня поставлю?

– Коня с татиного дома? На наш?

– А почему бы нет? Видел я вчера, валяется конь на земле – не увез Баландин.

У Лизы во все лицо разлились зеленые глаза, а потом она вдруг расплакалась;

– Ох, Петя, Петя, да я не знаю что бы дала, чтобы татин конь у нас на дому был! Все бы память о человеке на земле, верно?

– Будет конь! – сказал Петр и тотчас же пошел договариваться насчет машины.

"МАЗ" с прицепом в совхозе был на ходу – братья Яковлевы перевозили с верхнего конца в нижний свой дом, – и в полдень ставровский тяжеленный охлупень с конем ввезли к Пряслиным в заулок.

Лиза в это время была дома и босиком выбежала на улицу. Выбежала, подбежала к коню и давай его кропить слезами.

– Ну ты и дура же, Лизка! – покачал головой Иван Яковлев. – Сколько живу на свете, не видывал, чтобы дрова со слезами обнимали.

Но что понимал в этих дровах Иван Яковлев! Ведь не просто деревянного коня сейчас ввезли к ним в заулок. Степан Андреянович, вся прошлая жизнь въехала с конем на их подворье.

2

Что такое человек? Что мы за люди?

Убивалась, умирала все эти дни Лиза, ночами давилась от слез, а вот привезли коня – и вновь воскресла, вновь ожила. Как веточка, на которую брызнуло дождиком, зазеленела. И Петр, провожая ее глазами с высоты своей стройки, дивился тому, как она бежала по мосткам через болото. Бежала своим легким, бегучим шагом, как бы играючи, и головной платок белыми искрами вспыхивал на солнце. И он представил себе, с каким рвением, с каким неистовством она примется сейчас за работу. Все переделает, все зальет своей радостью: и телятник и телят.

А что же с ним происходит? Почему у него перестал в руках бегать топор?

По горизонту синими увалами растекались родные пинежские леса. И там, за этими лесами, была новая хмельная жизнь, о которой он так много мечтал: Григорий одумался, сам на днях сказал, что с сестрой остается. Так почему же он не радуется? Почему все эти дни он смотрит не туда, не в синие неоглядные дали, а вниз, на тесный заулок, где возле крыльца на желтом песочке играет с детишками Григорий?

Он был в полной растерянности. Он был подавлен.

Сколько лет назад наяву и во сне бредил он свободой, жизнью без брата, а вот пришел долгожданный час, сбросил с себя хомут – и тоскливо и муторно стало на сердце.

Бабье лето выложилось в этот день сполна. На дому было жарко от солнца, ребятишки на улице бегали босиком. А в навинах, на мызах что делалось? Красные осины, березы желтые, журавли трубят хором. И праздник был под горой, на зеленых лугах, на Пинеге, играющей на солнце.

Петр слез с дома. Через пять дней кончается отпуск – так неужели хоть раз за два месяца не пройтись без дела по деревне, не послушать Синельгу, не побывать у реки?

3

Приусадебные участки по задворью цвели платками и платьями – бабы копали картошку, – и сладким дымком, печеной картошкой тянуло оттуда. Совсем как в далекие годы детства.

И Петр, с удовольствием вдыхая этот дымок, прошел по деревне до самого верхнего конца, до обветшалого домика Варвары Иняхиной, с которой столько было связано у них, у Пряслиных, переживаний и передряг, затем спустился к Синелые, побывал на мызах, в поскотине, вышел к Пинеге. И вот какое у него прошлое – ни единого самостоятельного воспоминания. Все пополам с братом.

Нагнулся, стал пригоршней пить воду в Синельге – вспомнил, как они, бывало, с Григорием опивались этой водой, специально бегали сюда, потому что старший брат как-то пошутил: "Пейте больше воды в Синельге – силачами вырастете". А уж им ли не хотелось вырасти силачами! Вспомнил, как провожал по утрам Звездоню в поскотину, – брат рядом встал. Сорвал бурую запоздалую малинину в угоре на мызе – опять брат. И так везде, на каждом шагу, у каждой лесины, у каждой кочки. Даже когда ребятишки-удильщики попались на глаза у реки, не одного себя вспомнил, а вместе с Григорием.

Вдоль Пинеги, через густой задичавший ивняк, под которым чернела Лунина яма, мимо бывших леспромхозовских, а ныне сельповских складов Петр прошел под родное печище, спустился на берег, усыпанный цветной галькой, попробовал рукой воду.

Вода была теплая, летняя, но по-осеннему чистая и прозрачная, и, когда прошла рябь, он долго всматривался в свое бородатое лицо с морщинистым широким лбом.

Все началось с Тани, с веселой черноглазой медсестры, с которой он познакомился в те дни, когда Григорий лежал в больнице. И вот надо же так случиться! Григорий возвращается из больницы, к своему дому подходит, а навстречу Таня. Увидела Григория, всплеснула руками: "Что, что с тобой, Петя? На тебе лица нет". И со слезами бросилась на шею ошеломленному брату.

В эту самую минуту, на двадцать восьмом году жизни Петр понял, что он всего лишь двойник, тень своего брата. Понял и решил: отгородиться от брата, стену возвести между собой и братом.

Восемь лет возводил он стену. Восемь лет сушил, замораживал себя, восемь лет парился под бородой, вытравлял из себя бесхитростную открытость и простодушие, чтобы только не походить на брата. А чего достиг? Лучше, счастливее стал?

Нет, нет! Самые счастливые, самые богатые годы у него в жизни те, когда он душа в душу жил с братом, когда оба они составляли единое целое, когда на все смотрели одними глазами, одинаково думали и когда, как говаривала Лиза, им снились одни и те же сны.

Ошеломленный этим открытием, Петр поднялся в крутой, глиняный, сплошь источенный ласточками берег и долго лежал обессиленно на зеленом закрайке поля.

4

– Ну как поживаем, брат?

Он спросил это с таким участием, с такой заинтересованностью и задушевностью, словно давным-давно не видел Григория. Да это и на самом деле было так. Жили под одной крышей, сидели за одним столом, каждый день с утра до вечера мозолили друг другу глаза, но разве видел он брата?

Святые, непорочные глаза Григория не дрогнули от удивления – он знал, с чем пришел брат, – и все же счастливая улыбка, легкая краска разлилась по его льняному бескровному лицу.

У Петра перехватило дыхание. Он схватил на руки перепуганного, перепачканного в песке племянника, закричал:

– Дери дядю за бороду, пока не поздно!

Через полчаса борода пала.

Лицо стало непривычно голое, легкое, и память перенесла его к тем дням, когда старший брат, возвращаясь весной с лесозаготовок, в первый же день спускал с них, малоросии, отросшую за зиму волосню.

Улыбаясь какой-то новой, давно забытой улыбкой, Петр вышел на крыльцо и столкнулся с возвращающейся с телятника сестрой.

Лиза ахнула:

– Ну, Петя, Петя!.. Вот теперь и я нисколешенько тебя не боюсь.

– А раньше боялась?

– Да больно-то, может, и не боялась, а все не прежний, все какой-то не такой.

Да, он вернулся, к тому, от чего открещивался и отгораживался столько лет. Вернулся к брату, к жизни, к себе.

Глава девятая

1

Здравствуй, сестра!

Пишет тебе твой братец-бандит, отпетая голова, лагерник и тюремщик, который всех Пряслиных опозорил. А может, уже и не братец, может, отказались за это время от меня, потому как врать не стану: письма от вас еще в колонии не принимал, отказывался. В общем, двадцать лет ни перед кем головы не клонил, ни одного стона не дал, а сегодня плачу не плачу, реву не реву, а так к горлу подкатило, что сам первый за карандаш взялся.

Начну по порядку.

Утром вызывает к себе начальник, думаю: карцер – крепко ночью гульнули, много было звука; а начальник с порога: "Пришло помилование, Пряслин. Так что с завтрашнего дня имеешь свободу".

Ну не это сразило меня. Не амнистия. Я, покуда он эту бумагу мне не подал, и слушал-то вполуха – артист тот еще, все с шуточками и прибауточками, а сразило меня наповал то, что он сказал: "Не знаю, Пряслин, кто за тебя там хлопочет, кому ты нужен, а будь моя воля, я бы тебя не выпустил. Не верю, что человеком станешь. Ну да ладно, говорит, погуляй, снова встретимся".

И вот вышел я от начальника, солнышко, вся моя шушера: что и как? А что – как? Что я могу сказать, когда я и сам, как начальник, думаю: кому я это там, на воле, нужен, кто за меня так старается? Дружки-приятели? Да какой ход у шпаны в Президиум Верховного Совета РСФСР!

Всех перебрал, всех пересчитал, кого знал и встречал за свою жизнь, и вот, сестра: кроме тебя, некому. Потому что ежели и есть кто на свете, у кого еще болит обо мне сердце, дак это у тебя да у мамы. Ну а что за хлопотунья из нашей мамы, мы знаем, так что ты. Ты решила из ямы брата выволакивать – больше некому.

Двадцать лет я про дом не думал, мать даже родную не вспоминал, а тут все вспомнил, всех перебрал: тебя, маму, Пинегу, Михаила... Сказать это моей шалаве, о чем тут их пахан задумался, о чем помышляет, – не поверят. А ведь и у меня мама есть, есть сестра. Про братьев не говорю. Михаил на том свете меня встретит – отвернется, двойнята тоже чистенькие, от грязи всю жизнь рыло воротят, сестра Татьяна не в счет. Только на тебя да на маму и надежда вся.

А не испугаетесь, ежели нагряну? Страшный я стал. Волосы выпали плешь, зубы железные, весь разрисован – в баню с людьми зайти нельзя, и зовут Дедом. Да, в пятнадцать лет стал Дедом, когда меня в эту колонию прислали. На воспитание.

Эх, дураки, дуроломы! Они думают, там человека делают. Делают, да весь вопрос – кто. Мне днем один хмырь, тамошний воспитатель, начал мозги вправлять: "Работай честно, Пряслин, ежели хочешь на путь правильный встать", а вечером остались в бараке – другое воспитание началось. На всю жизнь. Один там падла захотел мне сразу рога обломать, потому как я самый сильный, в глазах у него бревном встал. "Эй ты, деревенщина! Подай-ко мне свою шапочку – покакать захотелось". Подал я ему свою шапочку, покакал не спеша, а потом: неси.

Ладно, наклоняюсь, беру это шапочку с его добром, да не успел никто опомниться – все это добро ему в харю. Три часа мы в ту ночь насмерть бились, и к утру я стал хозяином. Он стал подавать мне свою шапочку. Вот тебе, сука, запомни на всю жизнь, что такое деревенщина!

Вот так, сестра, я и подписал себе приговор на двадцать лет, потому что из колонии выхожу – меня только что на руках не несут. Гулял, не отрицаюсь. Все было. Ну только одного не было: никого не убил и над людями не изгилялся. Нету крови на мне, сестра, это я тебе точно говорю.

Приветы и поклоны никому не пишу. Кому нужны приветы да поклоны от бандита? Ну а ежели Михаил от меня не отвернется да братья да сестра руку подадут – спасибо. Но о них покуда не думаю. Мне бы на тебя да на маму только взглянуть, а там видно будет что и как.

Я бы и так поехал в Пекашино, без твоего спроса, сестра, да хватит, пострадала ты за меня, сызмальства заступницей была, и не хочу, чтобы ты сейчас шарахнулась, когда я как снег на голову паду или, хуже того, когда тебя из-за меня клевать начнут. Нет, это мне теперь не перенести, честно говорю. Вот и пишу все как есть. Начистоту, без утайки. Можно – приеду, а нельзя, дак нельзя: заслужил.

Остаюсь в скором ожидании ответа твой бывший брат или настоящий (сама решай!) Федор Пряслин.

За эти двадцать лет я Пряслиным только и был, когда на допросы вызывали, а так все по кличкам. Как пес.

2

Трудное это было лето для Пряслиных. Раздоры и неурядицы меж собой, вся эта дикая и несуразная история со ставровским домом, внезапное появление Егорши, принесшее столько бед и горя… Зато уж сейчас был праздник так праздник. Из всех праздников праздник.

Лиза первая сказала то, что было у каждого на сердце:

– Вернулся! Вот и Федор наш к нам вернулся. Петя, давай скорей телеграмму. Пущай ни минуты не медлит. Господи, "не испугаю ли, сестра?". Вот чего скажет. – И вдруг расплакалась, разрыдалась. – А того, что мамы-то в живых нету, и не знает… "Есть ведь и у меня мама родная"… Нету, нету, Федя, у тебя матери… Уж она-то из-за тебя попереживала, уж она-то бы обрадовалась…

Петр, не спуская глаз с Григория – тот накалился от радости до предела, – толкнул сестру в бок: дескать, попридержи себя.

– Не буду, не буду, ребята, плакать. Песни надо петь, а не плакать.

Было уже не рано, когда Петр с телеграммой побежал на почту. В заулке у Михаила Раиса развешивала выстиранное белье, и ему по-мальчишески, криком хотелось кричать про ихнюю радость – мол, передай брату (Михаил с новым управляющим был на Синельге): Федор скоро приедет, – но в эту минуту из-за угла житовского дома вывернулась Евдокия Дунаева, и он прикусил язык.

Евдокия прошла рядом с ним, едва не задела его рукой, но разве видела она теперь кого? Погас вулкан, как на днях сказал про нее подвыпивший Петр Житов. Пепел да одна мертвая, выжженная порода осталась от прежней Евдокии.

Петр вспомнил про Калину Ивановича, про папку с бумагами, которая осталась от него и которую просила на досуге посмотреть Евдокия, но вскоре его опять захватили семейные дела, которые неожиданно нынешним утром переплелись с делами Пекашина.

Нынешним утром он, как обычно, стучал топором на своем старом дому. И кого же вдруг он увидел? Кто поднимался к нему на верхотуру? Виктор Нетесов, новый управляющий. Поднялся, глянул на новую крестовину стропил, которую какой-то час назад они поставили с Филей-петухом и Аркадием Яковлевым, легонько и не без удовольствия погладил гладко отесанное дерево.

– В ладах с топором. Но можно бы и не тесать стропилину-то – кто увидит ее под крышей?

– Да так уж привелось, – ответил Петр и улыбнулся: понравилась похвала управляющего, потому что Виктор Нетесов – кто не знал этого в Пекашине – сам был мастак по плотницкой части.

– А вид с твоей вышки как в кино, – заговорил управляющий, кивая на бывшие поля за болотом: там желтым и красным пожаром полыхал кустарник. Через неделю эту красоту будем вырывать с корнем.

Петр, ничего не понимая, пожал плечами, и тогда Виктор уже перешел на свой обычный деловой язык:

– Мелиораторы через неделю приезжают.

– К нам в Пекашино?

– Да. А чего ты головой мотаешь? Сколько еще кустарники в навинах разводить? На тридцать га поле будем делать.

– На тридцать га! Это в наших-то навинах? – Петр опять замотал головой.

– Да ты от меня этим метаньем одним не отделаешься, – сказал Нетесов. Я ведь к тебе зачем пришел-то? А затем, что тебя в свою телегу запрячь хочу. Не понимаешь? Главный механик нам в Пекашине нужен, грамотный, толковый техник. Ну а раз ты гнездо отцовское отстраиваешь, вот я и подумал: кого же мне еще искать!

Нетесов не торопил его с ответом, не агитировал. Наоборот, сказал на прощанье: подумай хорошенько, легкой жизни не жди. И Петр на первых порах как-то не очень раздумывал над его предложением, а вскоре за работой и совсем забыл. Зато сейчас, едва всплыл в его памяти этот утренний разговор с управляющим, – как все его существо охватило лихорадочное и деятельное возбуждение. "Не жди легкой жизни… Легкой жизни не будет…" А почему у него должна быть легкая жизнь? Калина Иванович искал легкой жизни?

За все эти летние месяцы, что он бывал у старика, они почти никогда не говорили о «земном», о пекашинском, но Петр сейчас не сомневался: Калина Иванович одобрил бы его решение остаться в Пекашине, начать устраивать жизнь на родной земле вместе со старшим братом, с Виктором Нетесовым…

И еще какие бродили чувства, какое желание вызревало в нем в эти минуты? Запрячься в пряслинский воз, взять на себя все заботы о сестре и ее детях, о Григории, о Федоре…

Он не знал еще толком, не успел обдумать, представить себе, как все это решить практически,

а уже новый свет, свет далекого детства, хлынул ему в душу,

Трезветь он немного начал, когда вышел с почты да увидел пьяный трактор на дороге, который так и кидало из стороны в сторону (как потом выяснилось, Васька-тракторист и в самом деле был под сильными парами – на угол сельсоветского склада наскочил, сукин сын).

Да, подумал Петр, в Пекашине порядок наводить надо. Но не порет ли он горячку? С четырнадцати – пятнадцати лет в городе – не отрезанный ли он навсегда ломоть? Приживется ли снова в деревне? И уж вовсе показалась ему мальчишеством его недавняя мечта заменить Михаила в пряслинской упряжке, Михаила, который самой природой был создан для этой роли.

Петр, однако, недолго предавался унынию, потому что очень уж дорог ему был тот недавний порыв, который таким светом осветил его душу. И он сказал себе: чего раньше времени каркать? Поживем – увидим.

Глава десятая

Для него теперь не было дневной жизни. Днем он не мог взглянуть людям в глаза, беспечно, как прежде, пропахать из конца в конец Пекашино. Днем он отлеживался на подворье у Марфы Репишной, в тесном бревенчатом срубике, в котором окончил свои земные дни Евсей Мошкин.

Жизнь для него начиналась лишь вечером, когда осенняя темень накрывала землю. Вот тогда он выбирался из своего логова, жадно, полной грудью вдыхал свежий вечерний воздух, разминал затекшие ноги.

По деревне шел медленно, принюхивался к ее привычным вечерним запахам, вслушивался в знакомые голоса в заулках, с ненасытным любопытством вглядывался в ярко освещенные окошки домов, а если попадались навстречь люди, замирал, не шевелился, пока не проходили мимо.

Так доходил он до Анфисы Петровны и тут стоп: дальше дороги для него не было. Он даже посмотреть не решался в ту сторону, где стоял разоренный им дедовский дом…

Больше всего его тянули к себе два дома – дом Михаила и дом покойной Семеновны, в котором теперь жила с братьями Лиза.

К Михаилу на усадьбу не попадешь – собака, и он довольствовался тем, что подолгу, чуть ли не часами простаивал возле его бани. В непроглядной темени звонко, раскатисто играла стальным кольцом входная калитка, и он сразу узнавал своего бывшего дружка-приятеля – по поступи, тяжелой и основательной, как все, что делал Михаил, и, конечно же, по пряслинскому запаху: солнцем, хлебным духом, конем вдруг прорежет ночь.

На Лизу, на ее домашнюю жизнь с братьями и детьми он смотрел через окошко. Окна у Семеновны низкие – на аршин дом врос в землю, – и если глянуть поверх занавески, то вся изба у тебя как на ладони.

И вот каждый вечер одно и то же виделось ему: годовалые ребятишки, ползающие по просторному некрашеному полу, Петр и Григорий – то за столом за какой-нибудь домашней работой, то за книгой, за газетой – и она, Лиза, его бывшая жена…

Близко, совсем рядом была Лиза, одна рама, одно стекло разделяло их, и в то же время она

была невообразимо, недосягаемо далеко от него. Как звезда. Как другая планета…

В тот день, когда он решил навсегда исчезнуть из Пекашина (да и только ли из Пекашина?), он вышел из дому рано утром, подтянутый, чисто выбритый, с железной лопатой в руке.

Густой сентябрьский туман пеленал деревню, и никто, ни один человек не видел, как он прошел на кладбище.

Могила Евсея Мошкина, как он и думал, осела, осыпалась. Он подрыл с боков песок, придав холмику форму прямоугольника, а затем выстлал ее плитами беломошника, который неподалеку нарезал лопатой. Но и это не все. Сходил к болоту, отыскал там зеленую кочку с брусничником, на котором краснело несколько мокрых от росы ягодок, срезал ее, перенес на могилу.

– Ну вот, старик, – сказал Егорша вслух, – все что мог для тебя сделал. – И криво усмехнулся. – По твоей вере дак скоро увидимся, а я думаю, дак оба на корм червям пойдем. Здесь, на земле, жить нада.

Дальше он не таился. Открыто вышел на деревню, уже давно наполненную рабочим шумом и гамом, открыто вошел в магазин, взял на последние деньги поллитровку – и азимут на Дунину яму, туда, где когда-то из-за него хотела наложить на себя руки Лиза.

Он два раза прочесал мокрые ивняки и ольшаники над Дуниной ямой.

Задичал, как роща, разросся кустарник за двадцать лет, а самой ямы не было. Яму засыпало песком, и вонючая, зеленоватая лужа плесневела там, где когда-то ледяным холодом дышал черный омут.

Глава одиннадцатая

1

Дождь застал Михаила уже на Руси, то есть после того, как он из лесного сузема выбрался в поля. Ему не хотелось мокнуть близ дома, и он начал настегивать Миролюба. Но Миролюб только для виду замотал старой головой: выдохся. Они с новым управляющим за эти два дня объехали всю Синельгу – от устья до верховья. Везде побывали, каждый мысок, каждую поженку обнюхали. Виктор Нетесов решил с будущего года опять ставить сена на Синельге, и разве мог он, Михаил, не поддержать его в таком деле?

Расходившийся дождь как метлой вымел пекашин-ские задворки – ни единой души не попалось ему на глаза вплоть до самой конюшни. Зато уж тут Филя-петух его насмешил. Сукин сын – не иначе как с перепоя – вывел из стойла самую резвую кобылку, вороную Птаху, и давай заседлывать.

– Ты, Филипп, никак на новый способ отрезви ловки решил перейти?

– Я за тобой, Михаил, хотел ехать.

– За мной?

– Не знаю, как тебе и сказать, мужик. Несчастье у тебя дома большое…

Михаил слез с лошади, заставил себя выпрямиться: бей!

– Лизавету размяло…

– Лизку?

– Ну… Мы это стали на дом с Петром коня подымать ставровского, а веревка-то попадись старая… Ну и… – Филя виновато развел руками.

– Ну и что, что? – заорал Михаил. – Да говори ты, дьявол тебя задери! Он схватил обеими руками Филю за старый измочаленный свитеришко, но сразу же выпустил и побежал к старому дому.

В заулке он еще издали увидел сосновые слеги-бревна, приставленные к избе, а затем увидел и коня, лежавшего на земле посреди заулка.

– Вот здесе-ка она упала. – Запыхавшийся, ни на шаг не отстававший от Михаила Филя подвел его к крайней от дороги слеге, указал на мелкую, обмытую дождем щепу и вдруг ахнул: – Смотри-ко, тут что! Пуговица… Да это же Лизкина пуговица-то. От ейной кофты.

Михаил тоже узнал пуговицу. Два года назад он зашел в сельпо: что бы купить сестре на день рожденья? "А купи, ежели богатый, кофту, посоветовала продавщица. – Смотри-ко, какие на ней застежечки. Как у Лизки глаза".

Михаил поднял с земли зеленую пуговицу, досуха, до блеска отер ее на ладони, положил в карман намокшей парусиновой куртки.

Филя завсхлипывал:

– Я ведь ей еще говорил, когда они меня позвали. Говорю, не поднять нам с Петром такой охлупень. Больно тяжелый, говорю, брось. Давайте, говорю, еще кого позовем. А она еще со смехом: "Брось, брось, Филипп! А я-то на что?" Ну вот мы с Петром залезли на крышу, а она снизу с жердиной – то мой конец толкнет, то Петров. А потом веревка у Петра лопнула, ну и… – Филя махнул рукой и громко, по-ребячьи расплакался.

– Она… – Михаил с трудом протолкнул через пересохшее горло еще одно слово: – Жива?

– Жива была… В район… в больницу увезли…

2

Лыско встретил хозяина протяжным воем, и, хотя для Михаила это было не внове – давно у ихнего пса не все дома, – он похолодел от ужаса и минут пять стоял, ухватившись обеими руками за воротца. Затем кое-как заволок в избу ноги, сел на скамейку у печи.

Раиса молча собрала на стол.

– Поешь. Ведь уж сколько ни переживай, чего теперь сделаешь. Сама виновата. Михаил покачал головой:

– Я виноват.

– Ты?

– А то кто же? Бросил одних… Чего они понимают?

– А чего понимать-то? Дети они маленькие? Всяко, думаю, под бревно-то не надо лезть. А то вот как – жердинкой бревно на дом подымать!

– Ты не станешь.

– С ума я сошла! Да и вся эта игра в коников разве дело? За дом надо было стоять, а чего по волосам рыдать, раз голова снята? А она из дому пых, пущай по бревнышку разносят, а потом и спохватилась… Коником дорогого свекра буду вспоминать…

Михаил глухо спросил:

– Ребята где?

– Какие ребята? Наши?

– Племянники мои.

Раиса округлила глаза.

– Племянники у меня есть! Михаил и Надежда. Не слыхала?

– У Анфисы Петровны, наверно, – уже другим голосом ответила Раиса. – У кого же еще?

– А почему не у нас?

– Почему, почему… Сам знаешь, Анфиса Петровна первая подружка у ей…

– А я дядя им, дядя! Родной! Ты понимаешь это? Понимаешь? – Михаил поднялся на ноги. – Пойду…

Раиса со слезами припала к его раскисшей в избяном тепле парусиновой куртке, обеими руками обняла за шею.

Он хотел оттолкнуть ее от себя – разве это ему сейчас надо? – и вдруг судорожно прижал к себе: понял, что она за него испугалась, понял, что, несмотря на ее вечные попреки из-за Варвары, ревность, несмотря на всю ее руготню, она его жена – верная, преданная до гроба, до последнего вздоха.

– Не убивайся, не хорони человека раньше времени, – начала утешать его Раиса. – О прошлом годе Иван Яковлев час под тремя деревами лежал, а сейчас смотри-ко как бегает. Как заново родился.

Хотелось бы, ох как хотелось бы верить, что все обойдется благополучно, но Филя-петух, на глазах у которого все это произошло, ни единого словца не сказал в утешенье, а уж он ли не любит каждого утешить!

– Машина придет, скажи, чтобы ехала вдогонку, а я пойду. Сил моих больше нету ждать.

3

…Была осенняя кромешная темень, был нудный осенний дождь, и было еще отважное и отзывчивое сердце четырнадцатилетнего мальчишки. И он шагал впереди матери, чтобы проложить ей в темноте дорогу, чтобы всю сырость с сосновых лап принять на себя…

Так было в сорок втором году, когда он провожал мать в район по вызову военкомата.

А сейчас? Что стало с ним сейчас?

Отринул, отпихнул от себя родную сестру, самого близкого, самого дорогого человека, с которым всю войну, все самое страшное пережил вместе. Да как он мог сделать это? Ведь не злодей же он, не последний человек в своей деревне. Были времена – в пример ставили. А вот он, примерный человек, вот что натворил, наделал… И сейчас он уже не только перед сестрой своей, перед братьями вину чувствовал, но и перед Васей, перед покойным племянником.

Да, да, и перед Васей. Все думал, все уверял себя – ради Васи, ради его памяти старается. А разве Вася простил бы ему, как он мать его родную поносил, топтал? И уж, конечно, нет и не будет ему прощения от Степана Андреяновича. Тот ради Лизы, ради невестки своей любимой, всем, жизнью своей пожертвовал бы, а не то что домом…

Ослепительная, каленая молния прочертила черную просеку дороги впереди. Потом где-то в стороне тяжко грохнуло и покатилось, и покатилось в сузем…

Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: "Сынок, ты понял меня? Понял?"

Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял…

1973–1978